

# НОВЫЙ МИР

(8-й ГОД ИЗДАНИЯ)

Под редакцией:

И. М. ГРОНСКОГО,

А. Г. МАЛЫШКИНА,

В. И. СОЛОВЬЕВА.

В 1932 ГОДУ БУДУТ НАПЕЧАТАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:

М. ШОЛОХОВ

Поднятая целина  
роман

Ф. ГЛАДКОВ

Энергия  
роман

П. ПАВЛЕНКО

Баррикады  
роман

АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ

Россия, кровью умытая  
последние главы романа

И. БАБЕЛЬ

Рассказы

АЛ. ТОЛСТОЙ

I. Петр Первый. II. Ижорский завод  
роман, 2-я часть                      повесть

А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ

Цусима  
главы из романа

П. СЛЕТОВ

Широкая падь  
роман

С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

Свидание  
роман

К. ГОРБУНОВ

Камень  
повесть

Н. АСЕЕВ

Пятилетка  
повесть

ИВ. ВОЛЬНОВ

Комиссар временного правительства  
Отрывок из посмертной повести

ЮРИЙ ОЛЕША

I. Смерть Занда. II. Рассказы  
пьеса

В. СТАВСКИЙ

Путь Анки  
рассказ

К. ФИНН

Преображение  
повесть

## РАССКАЗЫ:

С. ГЕХТ, ИВ. ЕВДОКИМОВ, С. МАРКОВ.

## ВОСПОМИНАНИЯ:

Ф. РАСКОЛЬНИКОВ. В английском плену. АНДРЕЙ БЕЛЫЙ. Год зорь.

## ОЧЕРКИ:

И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ. „Путешествие на Малыгине“.

### и ряд новых произведений:

Э. БАГРИЦКОГО, К. БОЛЬШАКОВА, М. ЗЕНКЕВИЧА, Л. ЛЕОНОВА, ВЛ. ЛИДИНА, А. МАЛЫШКИНА, О. МАНДЕЛЬШТАМА, П. НИЗОВОГО, Н. НИКАНДРОВА, Л. НИКУЛИНА, Б. ПАСТЕРНАКА, Б. ПИЛЬНЯКА, АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА, М. ПРИШВИНА, В. САЯНОВА, М. СВЕТЛОВА, С. СПАССКОГО, Н. ТИХОНОВА, П. ШИРЯЕВА, А. ЯКОВЛЕВА И ДР.

## СТАТЬИ И ОЧЕРКИ:

А. АГРАНОВСКОГО, АДАЛИС, А. АЛЕШИНА, Л. АЛПАТОВА, Н. АШУКИНА, Н. БЕЛЬЧИКОВА, Д. БЛАГОГО, С. БОРИСОВА, П. ВОРОВЬЕВА, Г. ГАЙДОВСКОГО, С. ГАЛЬПЕРИНА, Д. ГАТУЕВА, АРК. ГЛАГОЛЕВА, Е. ГНЕДИНА, И. ГРОНСКОГО, М. ГРЮНЕР, Б. ГУБЕРА, С. ДАЛИНА, Ю. ДАНИЛИНА, А. ДЕРМАНА, А. ЕНУКИДЗЕ, Н. ЗАМОШКИНА, Н. ЗАРУДИНА, К. ЗЕЛИНСКОГО, М. ЗЕНКЕВИЧА, М. ЗИНГЕРА, ИБРАГИМА, А. ИВИНА, Н. ИЗГОВА, С. ИНГУЛОВА, ЕВГ. КНИПОВИЧ, М. И. КАЛИНИНА, В. КОЗИНА, Д. КРЕПТЮКОВА, Е. ЛАННА, ВС. ЛЕБЕДЕВА, К. ЛОКСА, ВЛ. ЛОСЬЕВА, А. ЛУНАЧАРСКОГО, В. Е. ЛЬВОВА, ИГ. МАЛЕЕВА, П. МАРКОВА, Н. МЕЩЕРЯКОВА, Х. М. МУГУЕВА, ИНН. ОКСЕНОВА, В. ОСИНСКОГО, П. ПАРФЕНОВА, АЛ. ПЛАТОНОВА, Н. ПИКСАНОВА, Н. В. ПИНЕГИНА, Н. А. ПОДКОПАЕВА, ВЯЧ. ПОЛОНСКОГО, И. ПОСТУПАЛЬСКОГО, Н. ПРЯНИШНИКОВА, К. РАДЕКА, А. РАКИТНИКОВА, А. РАШКОВСКОЙ, Ф. РИЗАДЕ, РОМЕН РОЛЛАНА, И. СЕРГИЕВСКОГО, НИК. СМИРНОВА, А. СМИРНОВА-КУТАЧЕСКОГО, В. И. СОЛОВЬЕВА, Д. СТОНОВА, И. ТАЙГИНА, Н. ТАРУССКОГО, К. ТИХОНОВОЙ, Д. ФИБИХА, Я. ФРИДА, И. ХВОЙНИКА, М. ЦЯВЛОВСКОГО, А. Н. ЧИЧЕРИНА, А. ЮДКЕВИЧА, В. ЮРЕЗАНСКОГО, М. ШАГИНЯН, М. ЭГАРТА и других.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ.

НАУКА И ЖИЗНЬ.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА «НОВЫЙ МИР» НА 1932 ГОД:

1 год — 10 р. 80 к.	9 мес. — 8 р. 10 к.	3 мес. — 2 р. 70 к.
	6 мес. — 5 р. 40 к.	1 мес. — 90 к.

ЦЕНА ОТДЕЛЬНОЙ КНИГИ В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ 1 р. 10 к.

Подписку сдавайте исключительно ПОЧТЕ, организатору подписки, потребкооперации, письмоносцу

ЕСЛИ ХОТИТЕ ПОЛУЧАТЬ ЖУРНАЛ АККУРАТНО С ЯНВАРЯ — СПЕШИТЕ ПОДПИСКОЙ

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

Д В Е Н А Д Ц А Т А Я

Д Е К А Б Р Ъ

---

М О С К В А

4 . 9 . 3 . 1

## СОДЕРЖАНИЕ:

1. АНАТОЛИЙ ВИНОГРАДОВ. — Повесть о братьях Тургеневых, отрывки и эпилог . . . . .	5
2. ВАСИЛИЙ РЯХОВСКИЙ. — Чужой век, рассказ . . . . .	29
3. С. ЛЕВМАН. — Закон жертвы, рассказ . . . . .	48
4. БОРИС ПАСТЕРНАК. — Кавказские стихи . . . . .	54
5. КОНСТАНТИН ФИНН. — Окраина, рассказ . . . . .	56
6. АРКАДИЙ СИТКОВСКИЙ. — Истина, стихотворение . . . . .	69
7. АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ. — Черное золото, роман, окончание . . . . .	71
8. СЕМЕН ОЛЕНДЕР. — Испанская песнь, стихотворение . . . . .	105

### ЛЮДИ И ФАКТЫ:

9. С. БОРИСОВ. — В горах Тянь-Шаня, очерк, с иллюстр. . . . .	106
10. А. Н. ЧИЧЕРИН. — Люди нашего Севера, очерк первый . . . . .	121
11. М. ГРЮНЕР. — Очерки советского приморья, с иллюстр. . . . .	130
12. П. ПАРФЕНОВ. — Бывшая Лупиловка, очерк . . . . .	141

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

13. КОРНЕЛИЙ ЗЕЛИНСКИЙ. — Творческий путь Ромэна Роллана, с портретом . . . . .	147
14. М. ЗЕНКЕВИЧ. — О новинках английской и американской литературы . . . . .	163
15. ИНН. ОКСЕНОВ. — О «Прологе» В. Каверина . . . . .	176
16. К. ЛОКС. — Книга о Стендале . . . . .	179
17. ГЛЕБ АЛЕКСЕЕВ. — Заметки о киргизской литературе . . . . .	181

### ИЗ ПРОШЛОГО:

18. НЕИЗВЕСТНОЕ ПИСЬМО В. Ф. ВЯЗЕМСКОЙ О СМЕРТИ А. С. ПУШКИНА . . . . .	188
---	-----

### НАУКА И ЖИЗНЬ:

19. В. Е. ЛЬВОВ. — Загадка электрона . . . . .	194
--	-----

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

Н. МАТВЕЕВ. — Борис Лапин «Набег на Гарм» . . . . .	201
И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ. — Павел Вячеславов «Уровень» . . . . .	201
БОРИС ГРОССМАН. — А. Коптелов «Форпосты социализма» . . . . .	202
Я. ФРИД. — Арагон «Красный фронт» . . . . .	202
И. СЕРГИЕВСКИЙ. — Т. П. Пассек «Из дальних лет» . . . . .	203

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1931 год . . . . .	204
--	-----

# Повесть о братьях Тургеневых

ОТРЫВКИ И ЭПИЛОГ

АНАТОЛИЙ ВИНОГРАДОВ

## Глава \*

Дни и месяцы, каждый по-своему полный пестрых и очень разнообразных впечатлений, слились для Николая Тургенева в какое-то тусклое, серое пятно, до такой степени они были похожи один на другой. Переменчивое счастье Бонапарта наконец совсем от него отвернулось. Медленно и упорно французские войска уходили на территорию Старой Франции, и штаб международной администрации медленно двигался за ними.

Тургенев начинал чувствовать скуку и уже имел возможность подвести первые итоги своей деятельности на широкой европейской арене. Они были неутешительны.

«Что же это? — думал он. — В чем состоит деятельность моего благородного патрона? — В том, что мы постепенно, шаг за шагом оттесняя французские войска, тщетно пытаемся уничтожить следы невольного якобинства, вносимого Наполеоном. Мы хотим повернуть назад колесо истории. Каждый день администрация Штейна получает разнообразные и часто друг друга исключающие требования, из которых я понимаю, что дворянство и купечество никак не могут помириться друг с другом и поделить остатки французского наследства. Невеселое дело! Оказывается, нет никаких идеалов, связывающих всех людей вместе. Есть корысть отдельных классов. А трудолюбцы, кормящие и купца, и дворянина, и фабриканта, и заводчика, никак даже не привлечены к решению вопроса об условиях своего бытия. Вместо благоустройства мы заняты уничтоже-

нием французских влияний. Однако опыт научил меня видеть в этих влияниях гораздо больше полезного, чем мог я видеть это сквозь петербургские туманы. Полезна ли моя деятельность сейчас? И даже могу спросить себя, есть ли в ней необходимая для дела честность?»

Размышления эти имели место в Труа, на французской территории; 10 февраля 1814 года Тургенев писал в дневнике:

«Вот уже несколько дней как беспрестанно видны по дорогам раненые. Французские деревни от Бар сюр Лоб до Труа оставлены. Дома пусты, но мебели и посуда целы, т.-е. предоставлены воле проходящих солдат. Поля устланы соломою, разломанными бочками; посудой, пухом. Следы бивуаков. Я ездил из Лангра в Женева — путешествие скучное. Теперь сказался больным, дабы не ехать в Брюссель. Не знаю, как это понравится Штейну. Но путешествовать или ездить курьером в теперешнее время во Францию, где на почтовых дворах нет ни лошадей, ни повозок, ни корма, — ужасно! Я сделал одну лишь станцию, но воротился».

«14 марта вечером Шомон опустел. Императоры и короли уехали. Вчера держали мы вольнокаменщицкую ложу. Старший Щербинин был принят. Гейне, Пропаратор, делая с ним начальные путешествия, говорил хорошо, т.-е. с чувством, напомнив ему два раза о недавно умершем брате. Вот масонство! Черные души только не могут любить или по крайней мере уважать его».

У Штейна обедал с Чарторижским и Радзивиллом. Умные они люди, но сожалею, что не понимают, как благо-

устройство государства или что сама Россия может созидать свое счастье на несправедливости. Штейн и Чарторижский—люди, не раздумывающие, что угнетение одного класса граждан другим может когда-либо быть залогом благосостояния великого и нравственно доброго государства».

«Долго смотрел я на карту Российской империи. Ужасное (почти) необъемлемое пространство! Какое отечество! Как тянут те, коих одна только природа призывает к их родине, а не вместе с нею образованность жителей, обработанность земли и климат!! Это я чувствую. Нельзя более любить своего отечества, как я люблю Россию; но всегда при мысли об отечестве мысль некоторой жалости, мрачная и печальная, побеждает все другие мысли. Прежде, например живя в Геттингене, при мысли об отечестве сердце билось от радости, от восхищения. Где-то время! Теперь напротив. В перемене сего чувства конечно люди гораздо более причиною, нежели природа.

Ужасное пространство России! Как управлять ею из Петербурга? Как управляют ею?

Настоящий переворот в Европе переменял весьма, весьма многое. Многие даже книги, в коих рассуждения были справедливы, сделались теперь негодными или ложными. Многие истины политические, даже финансовые, быв истинными до 1812 года, сим переворотом опровергнуты. Даже многие аксиомы, основанные на истории, ничего теперь не доказывают. Какой конец увенчает теперь такие важные происшествия! В течение сих двух годов сделано столь много хорошего и истреблено столь много дурного, что совершенно неудачной развязки даже и ожидать нельзя. Сия последняя может быть лучше или хуже; но всегда должна быть и останется хорошою, полезною».

\*\*\*

Раннее утро. У Николая Тургенева болит голова. Подходит к форточке и не находит ее на месте. Хочет взять золоченую стопку, подаренную Сергеем в детстве, — она еще вчера стояла на маленьком столике перед кроватью, — ее

нет. Начинается незнакомое беспокойство. Широко открыв глаза, осматривает комнату. Обои с огромными цветами вместо маленьких листьев душистого горошка на стенах. Огромные широкие простенки. Маленькие окна с невероятно широкими подоконниками вместо хорошо знакомых огромных итальянских окон в три ряда, сквозь которые виден собор и площадь Франкфурта.

Тургенев берет полотенце со стула. Выливает на него графин воды, мочит себе виски и обвязывает голову.

«Со мной что-то случилось, — говорит он громко. — Еще вчера было все на месте».

Шатаясь, оборачивается, чтобы лечь в постель.

— Ну, как вы себя чувствуете? — спрашивает человек в белом халате и подхватывает Тургенева, так как тот вместо ответа во весь рост падает на пол.

В коридоре слышатся голоса:

— Это началось по дороге на Вену. Бред и высокая температура. Во Флорисдорфе пришлось его снять.

— А как сейчас? — раздается голос.

— Сейчас просто крайняя славянская впечатлительность. Он уже вне опасности.

— Кто вне опасности? — кричит Тургенев через дверь.

Дверь отворяется. Входит Репнин, а через его широкое плечо саркастически улыбается Штейн.

— Ну что же, дорогой, надо поправляться к началу конгресса! Завтра — открытие. Съехались властители Европы. Вена веселится. Сейчас самый блестящий момент. Жаль, что первая сессия конгресса прошла без вас.

— Какая сессия? — спрашивает Тургенев с испугом. — Ради бога объясните мне, где я и что со мной.

— Выехали вы из Парижа месяц тому назад, и вот сегодня первый раз имею удовольствие разговаривать с вами. Вы, сударь мой, буянили, как бандит, разбили окно кареты, едва не утонули в озере. У вас была серьезнейшая лихорадка. Вы вероятно даже не знаете, какие дела сейчас сделались во Франции. Наполеон давно был низложен, был сделан губернатором Эльбы. Талейран, приехав на Венский конгресс, провозглашал принципы единственной беско-

рыстной страны — Франции, желающей Европе одного только мира, а неделю тому назад снова гремели пушки в двадцати километрах от Брюсселя снова под командой Наполеона. Сейчас все кончено.

— Боже мой, ведь это тысячи лет, — говорит Тургенев.

— Да, — снова заговорил Штейн. — Событий хватило бы на столетия...

\*\*\*

Уж на что легко гусиное перо, но даже от него рука дрожит, как от неимоверной тяжести. Однако 10 февраля 15-го года Николай Тургенев писал:

«Вот уже шестая неделя, как я не схожу почти совсем с постели. Сначала доктор ласкал меня скорым выздоровлением, но теперь срок моего заключения опять отдалился. При всем том однако же он уверяет своим честным словом, что через две недели я буду выходить».

После страницы дневника опять долгое беспмятство. 25 февраля писал:

«Вот уже два месяца, как я болен».

А 4 марта снова пишет:

«Вот уже три недели, как я не встаю с постели. Желая выздороветь не столько от скуки лежать, но для скорейшего окончания наших дел».

25 июня, уже выздоровев, во Франкфурте был на собрании масонской ложи св. Иоанна. Вернувшись вечером, перечитывал свой парижский дневник. Долго не узнавал своего почерка, и даже первой мыслью было, что в те, до дна забытые, времена не мог он сам так писать, что кто-нибудь, шутя над ним, вписал в дневник эти нешуточные строки. Буквально написано было следующее:

«Долго смотрел я на карту Российской империи. Ужасное, почти необъемлемое пространство. Как теряют те, коих одна только природа привязывает к их родине, а не вместе с нею образованность жителей, обработанность земли и климат! Прежде при мысли об отечестве сердце билось от радости. Где то время? Теперь напротив. В перемене сего чувства конечно люди гораздо более причиною, нежели природа».

И дальше уж совсем не тургеневские строки.

«Ужасное пространство России! Как управлять ею из Петербурга? Как управляют ею?»

Настоящий переворот в Европе переменял весьма, весьма многое. Многие даже книги, в коих рассуждения были справедливы, сделались теперь негодными или ложными. Многие истины политические, даже финансовые, быв истинными до 1812 года, сим переворотом опровергнуты. Даже многие аксиомы, основанные на истории, ничего теперь не доказывают. Какой конец увенчает теперь такие важные происшествия! В течение сих двух годов сделано столь много хорошего и истреблено столь много дурного, что совершенно неудачной развязки даже и ожидать нельзя. Сия последняя может быть лучше или хуже, но всегда должна быть и останется хорошою, полезною».

Первый приступ тоски почувствовал в часы ночного приезда в замок Полижи. Приехал верхом. Во дворе, окруженном стенами с бойницами, с огромными башнями, стояли довозки. Зажженные фонари и факелы бросали бегающий свет по стенам. Люди на тенях превращались в гигантов. Вот тут холодный ум не мог сдержать бешеной игры воображения. Вдруг ощутил тоны и звуки давно умершей феодальной Франции. От этого чувства столетий, отпадающих, как листья на осенних деревьях, закружилась голова. Вот когда началась болезнь.

«Быть может, — думал Тургенев, — болезнь вызвала эти размышления, а быть может, обратно».

Взглянул в окно. Спокойные воды Майны с большими речными судами у пристани блеснули при свете месяца. Тургенев посмотрел на тетрадку.

«Почерк несомненно мой, — сказал он. — Да и что за болезнь, что за расстроенность воображения предполагать чужую руку».

Читал дальше:

«После того, что русский народ сделал, что сделал государь, что случилось в Европе, освобождение крестьян мне кажется весьма легким, и я поручился бы за успех даже скорого переворота».

Вот венец, которым русский император может увенчать все свои дела. Если он теперь этого не сделает, то нельзя и надеяться на такую перемену».

— Да, конечно это я писал, — громко сказал Тургенев и читал дальше.

«29 апреля 1814 года. Утро. Что за французы! В то время, как другие народы пользуются нещастиями и внутренними переворотами и присвоят владычество (soverainité) себе, вручая королю исполнительную власть, французы тоже теперь кричат, но о чем? О том, кому они принадлежат! Одни кабалют себя Лудвигу, другие думают, что гораздо славнее быть рабом Наполеона. Вчера в Palais royal разговорился я с одним французом, который был сего последнего мнения и без пощады бранил Бурбонов. Но между тем французский народ не видал еще никакого полезного действия революции. Он остался без конституции и в деспотизме. Какое нещастие, какой стыд для целого народа! Драться, резаться, убить короля за свободу и потом, после жесточайших войн, притти на то же место, с которого пошли за 25 лет!

Пришедши вчера домой, нашел я приглашение в <> du Point parfait. Это приглашение обрадовало меня более обыкновенного.

Глаза Тургенева быстро бегали по строчкам. Описание масонских лож, шотландской ложи «Иерусалима», немецкой — «Железного креста», французской ложи «Восхититель мироздания» — — — —

— — — — все это призраки быстро тающего времени, все это безвозвратно исчезающие минуты волнения сердца, глубокие и странные, о которых тем не менее исчезает память.

— — — — Кончился Венский конгресс. Вот опять через несколько страниц странные, совсем не тургеньевские суждения о Петербурге.

«Решившись ехать в Петербург, я решился на многое. Все неприятности сносить с холодностью и презрением. Будет же меня иногда поддерживать идея об экспатрировании».

И дальше вдруг неожиданное заключение:

«2 сентября 1814 года. Повечеру был в редуте. Монархи и монархини пришли часу в одиннадцатом. Зала, сделанная из манежа, весьма хороша и освещена была чрезмерно светло, так, что трудно было смотреть на сие. Императрицы, как торбы, сидели в большой зале. Императоры и короли стояли, как ослы, в стой-

лах. Трудно было даже смотреть на вюртембергского короля, каково же было ему стоять: брюхо его ужасное. Что если б все эти владетели или по крайней мере трое из них были совершенно согласны и поклялись бы за стаканом вина удержать мир в Европе лет пятьдесят или более! — — — — Всем этим королям и императорам потому весьма трудно знать состояние народа, различных классов оного и так называемое общее мнение, что короли и императоры живут в совершенно другой сфере, нежели народ: они окружены новою придворною атмосферою, которая так густа, многосложна, что мешает им дышать обыкновенным воздухом. К тому же все окружающие их имеют свои выгоды стараться как можно более отделяться от массы народа и прилепиться к этому придворному миру. — — — —

— — — — Ах, республики! Люди, более похожие на ангелов, нежели на людей, изобрели республиканское правление — идеал всего человечества — — — —

— — — — думал о некоторых переворотях в России и о том, как бы я стал там действовать, если б у меня были средства. Я чувствую, что мне или духу моему в моем теле узко, и если б я начал действовать в теперешнем моем расположении, то дела мои, быть может, не имели бы последовательности, но все носили бы печать энергии».

«Странный конец дневника» — думал Тургенев.

«В течение всего времени сделал я печальную опытность, которая частью разрушила мои сладостные надежды о благополучии любезного отечества».

Тургенев вскочил и заходил по комнате. Теперь жизнь вставала перед ним настоящей, неприкрытой реальностью. Он ощущал себя в каждой строчке автором этого дневника. Месяцы болезни словно выпали из сознания. Он снова вернулся в себя.

До какой степени памятен этот день, когда с отчетом о делах комиссии он и Штейн говорили с Александром I.

Вдруг простая мысль о том, что после деловых экономических трактатов Венского конгресса русский царь перешел



к замыслам об истреблении самой идеи свободы. От прежних мечтаний не осталось и следа.

Тургенев читал в дневнике:

«О судьба, как играешь ты легко верностью людей, как жестоко смеешься над их слабыми, но справедливыми и честными замыслами! Давно мудрые говорят, что легче узнать глубину моря, нежели тайные изгибы сердца человеческого». — — — —

— — — — Ясно представилась картина. Маленький мозаичный стол. Бронзовая чернильница, скорее похожая на солонку. Громадное перо с позолоченным очинком. Песочница с золотистым точчайшим песком для подсушивания написанных строк, рука, тонкая, длинная, женственная, озлобленно и нервно барабанившая пальцами по отчету Штейна, в то время как глаза сидящего царя, улыбаясь и сияя аквамаринным блеском, смотрят на Тургенева, а губы, сложенные в пленительную улыбку, произносят обращенные к Штейну слова преувеличенных похвал, обещаний неслыханных милостей...

«Вот именно после таких высококомплиментных речей петербургские сановники немедленно подают в отставку» — подумал Тургенев, хорошо знавший эту манеру царя.

Подавляя в себе любопытство психолога, Тургенев стремился не слишком пытливно глядеть в лицо Александра, так как эта пытливость немедленно вызывала перед его глазами другое, поразительно схожее с лицом русского царя лицо: перед вечером, летом, на Итальянском бульваре в Париже эту же самую пленительную улыбку и это же самое холодное сияние аквамаринных глаз видел он у лоретки в голубом платье с розовым зонтиком. Белокурая бестия, наглое и алчное животное, французская кокотка и русский царь! Тургенев сам испугался этого сопоставления, а между тем было какое-то с ног сбивающее сходство, и пока мысль отчаянно искала, в чем оно, Тургенев напряженно думал, почти не слушая царя.

Александр был доволен его внешностью. Он глубоко оценил эту серьезную, напряженную внимательность своего комиссара. Русский царь, в этот день

сломавший карьеру Штейна, решил высоко вознести Николая Тургенева.

Кончая последнюю закругленную фразу, Александр кивнул головой. Докладчики откланялись. И вдруг Тургенев понял. Черта сходства — лживость.

Вот почему в дневнике от 23 декабря 1814 года стоит подчеркнутая фраза: «Наружность обманчива. Должно иметь столь невероятное и ужасное доказательство. Святая надежда, не обманя ожиданий чистейших и справедливейших, ожиданий блага отечества. Но с чем встречаются мои мечтания? — Дух безбожного невежества, грубых предрассудков, дикие крики исступленного самовластия встречают сии мечтания, но не заглушают стеной невинно угнетаемого человечества».

## Глава \*\*

Огромный стол, красная суконная скатерть с гербами, золотые кисти и золотая бахрома до самого паркета. Кресло близко придвинуто к столу. Чернильницы, карандаши, белые листы бумаги — все говорит о том, что заседание готовится, но еще не началось. Гоффурьер в белых атласных чулках и туфлях неслышными шагами, как мышь, шмыгнул из двери в дверь. Старый толстый дворцовый камердинер вошел в залу и положил огромный портфель из зеленой крокодиловой кожи с балтийским золотым гербом и с надписью латинскими буквами: «Барон Резенкампф — государственный совет». В двух шагах через комнату у дверей стояли часовые Преображенского полка. Это были какие-то каменные изваяния, священнодействующие фигуры, уставившие глаза в одну точку, держащие ружье у ноги, абсолютно неподвижные, щеголеватые, совершенно одинаковые друг с другом настолько, что их можно было принять за восковые фигуры, нарочно сделанные по одному образцу причудливым скульптором. За дверями был кабинет царя. Через комнату рядом красная скатерть и кресла ожидали заседание государственного совета. Через залу, гремя шпорами, прошел граф Уваров и скрылся в царском кабинете. Похожий на пятнадцатилетнего мальчишку, с оттопыренной верхней губой, щеками, как яблоки, он шел с ви-

димым беспокойством, — вид задорный и нахальный, всегда ему свойственный, на этот раз уступил место выражению неопределенной робости, даже на часовых посмотрел, словно по лицам хотел узнать, каково там настроение за дверями. Через минуту дверь отворилась, скрипя, вошли департаментские служаки с огромными портфелями и заняли столы протоколистов. Едва успели они расположить материалы, как в комнате появился светлейший князь Лопухин — председатель государственного совета. Описав носом полукружность в воздухе, презрительно скользнув по фигурам вставших при его появлении людей, Лопухин в нос пропел скорее чем проговорил коротенькую фразу:

— Пора бы начинать, а в комнате ни одного человека.

Повернулся на каблуках и вышел.

Вставшие при появлении светлейшего князя люди сочли замечание его светлости чрезвычайно справедливым. Они снова сели, взглянув на часы, и не обратили внимания на то, что восклицание светлейшего князя трактовало их не как людей. Вскоре появились люди. Прихрамывая, вошел Николай Тургенев, за ним его брат — Александр. Через минуту появился барон Розенкамф, хмуро посмотрел на Николая Тургенева:

— Я слышал, Николай Иванович, — сказал он, — что ваш «Опыт теории налогов» продается в пользу крестьян-бунтовщиков. Весьма сожалею.

— Не сожалейте, барон, — сказал Тургенев злобно, — доход от моей книги я могу тратить как угодно. Я трачу его на уплату недоимок, за которые беднейшие крестьяне сидят по тюрьмам, — вот и все.

Розенкамф осклабился.

— Жаль, что вы мало пишете, — едко отозвался он. — Ежели б было почаше, то, пожалуй, наше страдающее от злых недоимщиков дворянство почитало бы вас спасителем.

Камердинер подошел к Розенкамфу и сообщил ему, что его требует к себе Лопухин. Розенкамф вышел. Зала постепенно стала наполняться. Тургенев стоял у окна с братом Александром. Тот рассказывал Николаю о всех происках Розенкамфа, направленных

против тургеневской семьи. Оленин, М<sup>н</sup>. Лоратович, Данило Мороз, граф Кочубей жарко спорили между собой, постоянно переходя с русского языка на французский. Дверь отворилась, но вместо ожидаемого Розенкамфа все увидели Потоцкого. Потоцкий быстро подошел к Николаю Тургеневу и с волнением протянул ему синюю тетрадь со стихами. Это была поэма Байрона «Бронзовый век». Тургенев подвинул кресло, сел и начал читать вслух:

«Бронзовый век или Юбилейная песнь бесславной години». Эпиграф: *Imper Congressus Achilli.*

— Однако, — сказал Николай Тургенев, — Байрон играет словом «конгресс». Стадное скопище все же не равно одному Ахиллу.

Несколько человек сгруппировались вокруг читающего. Тургенев прозой переводил байроновские стихи<sup>1)</sup>.

За «добрым старым временем» вослед —  
[Вся была — добро!] дела текущих лет  
Пошли; в них всё зависит лишь от нас:  
Великое свершалось уж не раз,  
И большего возможно в мире ждать,  
Лишь стоит людям тверже пожелать.

Звучные строчки английского текста, отчеканенные, четко произносимые Тургеневым, привлекли еще ряд слушателей. Тургенев дочитал до места, где говорится о греческом восстании. Греки подняли революцию против стамбульского монарха. И вдруг кто-то неосторожно произнес, прерывая Николая Тургенева:

— Ходят слухи, что Сергей Тургенев в Константинополе написал проект освобождения Греции от власти султана. Уж не этот ли проект в стихах вы читаете?

Увы, это не была шутка. Старый генерал — член государственного совета — спрашивал совершенно искренно. Глупый генерал продолжал:

— Говорят, что в Константинополе вырезано четыреста тысяч христиан и что наша миссия пострадала.

Николай Тургенев слегка побледнел, но Александр Иванович перебил генерала.

<sup>1)</sup> Вместо английского текста мы приводим перевод Балтрушайтиса, позволяем себе такую вольность, зная, что читатель не посетует на это. Поэт Балтрушайтис, ныне литовский поэт-эмигрант в Москве, естественно современником Николая Тургенева быть не мог.

— Слухи не подтвердились, ваше превосходительство. Я сегодня читал все официальные депеши. Однако продолжай, — обратился Александр Иванович к брату.

Тургенев читал дальше.

И Греция в свой трудный час поймёт,  
Что лучше враг, чем друг, который  
лжет.

Пусть так: лишь греки—Греции своей  
Должны вернуть свободу прежних дней,  
Но варвар в маске мира—царь рабов  
Не сможет снять с народов гнёт оков!  
Не лучше ль иго гордых мусульман,  
Чем плеть царя, казачий караван!  
Не лучше ль труд свободный отдавать,  
Чем в хомуте у русской двери ждать,  
В стране рабов, где весь «простой народ»  
На рынках продается, словно скот,  
И где цари свой подъяремный люд  
По тысячам придворным раздают...

— Это про кого же он? — спросил  
все тот же генерал.

Потоцкий нервно протянул руку за книжкой. Тургенев отвел книжку, другой рукой опустил руку Потоцкого и читал дальше. Когда он дошел до строк:

Кто ж нынче призван в судьи дел чужих?  
«Святой союз», замкнувшийся в троиц!  
Но этой «тройце» чужд небесный лик,  
Как гений с обезьяной не двойник!  
«Святой союз», в котором здесь сложен  
Из трех ослов—один Наполеон!  
В Египте боги лучше: там быки,  
Там псы по-скотски смирны и кротки:  
На псарне, в стойле знают угол свой,  
Там ждёт их поило, сложен корм денной.  
Скотам в коронах мало корм жевать—  
Они хотя кусаться и бодать.

дверь отворилась, и вошел Розенкамф, хмурый и злой. Положив кипу бумаг на стол и видя, что Тургенев не прерывает чтения, подошел и стал слушать. Тургенев читал:

Царь Александр!—Вот щеголь-властелин,  
Войны и вальсов верный паладин!  
Его влекут: толпы подкупный крик,  
Военный кивер и любовниц лик.  
Умом—казак, с камыцкой красотой!  
Великодушный,—только не зимой!  
В тепле он мягок, полулиберал,—  
Он жесток, если в зимний вихрь попал.  
Ведь он «не прочь свободу уважать»!  
Там, где не нужно мир освобождать.  
Как он красно о мире говорит!  
Как он по-царски Греции сулит  
Свободу, если Греции народ  
Готов принять его державный гнёт.

Тут уже всем стало ясно и глупому генералу в том числе, что речь идет о русском самодержце. Прямо от переци-

сления трех «коронованных скотов», собравшихся на конгрессе в Вероне, Байрон перешел к сатирической характеристике царя Александра. Розенкамф закричал, кашлянул и сказал:

— Прошу занять места, господа! Стихи довольно дерзкие. Как Европу ни благовори, все равно она благодарности в сердце иметь не будет. Российский государь спас ее—и вот европейский ответ.

— Российский государь породил мысли о человеческой справедливости, он же мечтал об освобождении крестьян, барон, — ответил Тургенев.

— Прошу докладывать по очереди, — предложил Розенкамф.

В скором времени Тургенев не выдержал. Разбиралось скандальное воронцовское дело, в котором один из Воронцовых обманом завладел землею одноклассовцев и в ответ на их жалобы затеял огромную судебную волокиту. Мордвинов, прерывая чтение письмоводителя, закричал:

— Да ведь такие дела стыдно слушать в Совете, тем более, что они уже решены, — и дал справку о приказе, буквально вырванном у Александра I.

— Мне стыдно, — сказал Мордвинов, — что от самого низу до самого верху дело справедливое и ясное ничего не создало, кроме кривых толкований. Люди, промучившись по судам четыре года, могли бы умереть, не дождавшись справедливого решения. Поистине, несчастна страна, в которой возможен такой произвол в решениях одного класса по справедливым требованиям другого класса. Если бы не воля государя, сегодня и здесь бы правильного решения не получилось, ибо вижу, что нас меньшинство.

— К чему горячность? — возразил Розенкамф. — Если так, то слушать дальше нечего: воля императора—закон.

Николай Тургенев в негодовании разорвал сверху донизу лежавший перед ним лист бумаги.

— Ваше превосходительство, кажется, недовольны, — обратился к нему Розенкамф.

— Решением я доволен, — сказал Тургенев, — но способом сего решения человек, чтущий закон, доволен быть не может.

— Переходим к дальнейшему, — заявил Розенкамф.

Вечером, возвращаясь домой, братья взяли извозчика и молча ехали до Невского. При повороте от военного министерства Николай Тургенев спросил:

— Что это за дурак в мундире так неудачно предлагал вопросы по поводу байроновой поэмы?

— Разве ты его не знаешь? Это брат Аракчеева. Надо тебе сказать, что лучше было бы конечно эту поэму не читать. Посмотри, как Розенкамфа переделуло. Кстати, она с тобой?

— Со мной, — сказал Николай.

Проезжая мимо Михайловского замка, Александр Иванович Тургенев внимательно смотрел на покои Татариновой.

— Так поздно, — сказал он, — а в окнах всегда этот странный свет. Посмотри, не кажется ли тебе, что это свет семи восковых свечей. Что там, молитвы, что ли, какие-нибудь поют?

Николай Тургенев пропустил это замечание мимо ушей. Он с любопытством рассматривал извозчика, когда тот оборачивался и скалил зубы.

— Ты чей? — спросил он.

— Его сиятельства графа Разумовского.

— Откуда? — спросил Тургенев.

— Деревня наша в Рамбовском уезде.

— На оброке? — спросил Тургенев.

— Да, плотим по тридцать два рубля с ривидкой души, прежде меньше платили, да недавно граф увеличил оброк. Брату еще хуже приходится. Он на четыре месяца в Петербурге нанимает за себя работника и платит ему восемьдесят рублей, а восемь месяцев, воротившись, опять по три недельных дня на барщине, — это, чтобы старые долги за отца его сиятельству заплатить извозчицей выручкой.

— Как же вы живете? — спросил Николай Тургенев.

— Вот сына отняли да продали господину Альбрехту.

— Слышал о таком, — сказал Николай Тургенев.

— Как мы живем, как не помираем, одному богу известно, — продолжал крестьянин. Как продали моего парня — нет работника в доме, прибежит в праздник от господина Альбрехта — его де-

ревня в четырех верстах от графской усадьбы — и давай просить хлеба. Никогда у них своего хлеба нет.

Николай Тургенев обратился к брату по-французски.

— Как не противиться таким помещикам уничтожению рабства. Что такое Разумовский? Я часто вижу эту глупую и безобразную образину на набережной и на бульваре: гуляет, ходит, чтобы с большею жадностью есть и лучше спать. В других государствах эти тунеядцы копят небо без непосредственного вреда ближним, здесь они угнетают их, чтобы, чтобы... чорт знает на что и для чего и в особенности почему. А этот Альбрехт, с преобладающим пузом, играет ежедневно в карты в клобе, и фигура его цветет глупостию, скотским бесчувствием, эгоизмом!

Расплатились с извозчиком. Вошли к себе. Встретили Лунина и Чаадаева, расположившихся без хозяев. Лунин, молодой, только что приехавший из Парижа, Чаадаев с оголившимся черепом и живыми, необычайно блестящими глазами очевидно беседовали уже долго и на Тургеневых посмотрели, словно на какую-то помеху для разговора. Здоровались, приветствовали друг друга.

— Сенаторы, — кричал Лунин, — прямо сенаторы! А я слышал, что сенаторская порода вымирает. Друзья, не миновать вам завести сенаторский завод — pour perpetuer la race.

— Перестань, Лунин, — говорил Чаадаев. — Хотя к этим-то не приставай, они не нынче-завтра поскользнутся на дворцовом паркете. Сенаторами им не быть.

Раздался звонок. Старуха Егоровна доложила, что пришли господин Муравьев, господин Яков Николаевич Толстой, господа Всеволожский и Пестель.

— Как это вы сошлись у двери? — спросил Александр Иванович.

— Вопрос негостеприимный, — ответил Всеволожский.

— Почему негостеприимный? — возразил Александр Иванович. — Напротив, я страшно рад видеть Павла Ивановича и!..

— А нас он не рад видеть, — сказал Яков Толстой.

— Да нет, всех рад видеть. Придется иметь большой разговор о деле.

Яков Толстой подошел к Чаадаеву.

— Какие вести от Пушкина? — спросил он.

— Пишет редко, — ответил Чаадаев, — но написал кучу прелестей.

— Это вам он писал? — спросил Яков Толстой.

Товарищ, верь, взойдет она,  
Заря пленительного счастья:  
Россия вспрянет ото сна,  
И на обломках самовластья  
Напишет и аши имена.

— Да, мне, — ответил Чаадаев. — А что?

— Мне он написал другое, — ответил Яков Толстой:

Поверь мой друг, она придёт,  
Пора унылых сожалений,  
Холодной истины, забот,  
И бесполезных размышлений.

— Меня это не удивляет, — сказал Чаадаев.

Подошел Лунин.

— Что за случай в Семеновском полку? — спросил он.

— Да, я не кончил, — сказал Чаадаев. — Ведь командир полка — Шварц — это совершенная скотина. Из-за его самодурства самый грамотный, самый скромный и, сказал бы я, самый гражданственный полк сейчас раскассирован.

— Правда ли, что там была читка запрещенных книг с офицерами? — спросил Яков Толстой.

— Не думаю, — ответил Чаадаев. — В солдатской лавочке, правда, продавали книги. Дело конечно в том, что Аракчееву не нравился товарищеский дух полка, тесная дружба с офицерством; на фоне событий в Неаполе и Пьемонте полк показался ему неблагонадежным. Они нарочно провокатировали движение возмущения вместо внесения спокойствия. А когда первую роту посадили в крепость, то весь полк отказался выходить из казарм до полного воссоединения с первой ротой. Солдат голодных и измученных отвезли в Финляндию и заключили в Свеаборгскую крепость.

Лунин покачал головой.

— Это уже серьезно, друзья.

— Да, — сказал Николай Тургенев. — Дисциплина имеет свои пределы, так как права природы и рассудок имеют свое необходимое пространство. Хоть семеновское дело прошедшее, а все-таки не могу без содрогания вспомнить тот день, 18 октября 20-го года. По-

утру полк проходил по Фонтанке. Я еще не знал, в чем дело, и спрашивал: «Куда?» — «В крепость» — отвечали солдаты. «Зачем?» — «Под арест.» — «За что?» — «За Шварца». Тысячи людей, исполненных благородства, погибли за человека, которого человечество отвергло.

— И еще миллионы будут гибнуть, — сказал Лунин, — за человека, который является воплощением лжи.

— Что же делать будем? — спросил Пестель. — Вводить испанскую конституцию, ограничивающую самовластие? Но конечно выведение рабов из крепостного состояния не может быть первою мерою правительстве.

— Вот вы как смотрите, Павел Иванович, — сказал Николай Тургенев.

— Да, я так смотрю, — злобно возразил Пестель. — И вас мы заставим смотреть так же, если вы покоряетесь дисциплине общества.

— На будущее я смотрю иначе, — сказал Николай Тургенев. — Я изверился в самодержавии и не верю в конституционных монархов. Почитаю необходимым волею народа учреждение республики и высылку за границу всех представителей нынешней династии.

— Что, что, что!? — закричал Яков Толстой. — Это сильно, очень сильно. Но какой же вы молодец. Да, кстати, чтоб не забыть. Энгельгардт говаривал мне, что полицеймейстер начал против вас дело о подкидывании каких-то вырезанных листов в казармы.

Николай Тургенев пожал плечами.

— Что делать, — сказал он, — полицеймейстер подкидывает клеветнические листки против меня. Ну, здесь все только свои. Откинемте шутки в сторону и вспомните, что вы посылали меня в Москву для закрытия Союза Благоденствия, что вы согласились со мною при самом учреждении Союза выкинуть прусские параграфы о верности государю и династии. О чем тогда мы спорили? — О том, чтобы члены Союза Благоденствия, буде они помещики, обязывались содействовать освобождению крепостных. Вы этого не хотели. Вы настояли на своем. Этот пункт был выброшен. Неужели и теперь настаиваете на

своем заблуждении, даже когда мы здесь организовали общество более стойкое, более крепкое, более решительное. В свое время ехал я в Москву, тая надежду на революционное решение Союза Благоденствия. Я был председателем последнего собрания, и я уверился, сколь ненадежны были многие члены оно́го. Я поспешил с закрытием и роспуском Союза Благоденствия лишь для того, чтобы надежнейшие и вернейшие стали учредителями нового общества. Всем же остальным сказано было, что императору известно существование Союза Благоденствия и что гнев его может настичь каждого. Как тогда проклинали меня москвичи, как называли изменником дела свободы!

Чаадаев подошел к Николаю Тургеневу и шепнул ему, поведя глазами в сторону Якова Толстого:

— Прекрати, друг, остановись, пока не поздно.

— Ну что же, Александр Иванович, давайте угощать гостей, — закончил неожиданно Николай Тургенев.

### Глава \*\*\*

Наступил 1824 год. Казалось, какое-то омертвление овладело Россией. Учащались бунты в военных поселениях, но становились все короче и короче. Стояли часовые у подъездов дворцов. Проходили взводы и отделения войск по Петербургу. Шептались офицеры, собираясь в небольшие группы. Помещики — владельцы огромного числа душ — проигрывали крестьян в клубах оптом и в розницу. Всем казалось, что наступил какой-то длительный мир, который много хуже доброй ссоры, что повисло над Россией кладбищенское молчание, прерываемое только стоном военнопоселенцев и свистом шпицрутенгов. Александр I путешествовал из города в город, нигде не находя себе покоя. До его слуха уже донеслись нашептывания о военных заговорах. Он, как мертвец, пустыми глазами смотрел на любимое свое развлечение: воинские парады перед Зимним дворцом становились для солдат так же мучительны, как во времена Павла. Сам царь, казалось, приобретал черты все большего и большего сходства со своим убитым отцом.

К тому времени, когда обострилась болезнь Николая Ивановича Тургенева и выяснилась необходимость длительного лечения, в Петербург приехал Павел Иванович Пестель — председатель коренной думы Южного тайного общества. Северное общество зашевелилось. Пестель прямо предложил объединение работы. На квартире у Тургенева, в отсутствие Александра Ивановича, собрались двадцать четыре человека и долго спорили по вопросу о том, действительно ли у них есть общий путь или, быть может, северянам и южанам нужно идти разное.

Павел Иванович Пестель стальнойю холодностью движений, отчетливостью, быстротой и сухостью вызывал в каждом собеседнике невольное воспоминание о недавно умершем Бонапарте. Он начал с изложения своего мнения о тяжести предстоящего пути, он намеренно набросал картину возможной гибели Тайного общества и после каждой произносимой фразы оглядывал присутствующих, словно ожидая, что обявятся малодушные, сомневающиеся, неуверенные в себе. После этого опыта испытания членов Северного общества Пестель перешел к изложению порядка действий, и когда речь зашла о России, как стране рабовладельческой, когда Пестель заговорил об упразднении права собственности на землю, Николай Иванович Тургенев, резко перебивая его, выступил в качестве защитника земельной собственности. Пестель настаивал на полном перераспределении земельных имуществ. «Земля должна принадлежать тем, кто ее возделывает, — говорил он, — и только на тот срок, когда это возделывание продолжается». Николай Тургенев кричал:

— Вы хотите ввести закон английской королевы Елизаветы о содержании нетрудоспособных бедняков церковными приходами. Вы хотите ввести налог на состоятельных граждан в пользу несостоятельных.

— Да, — закричал Пестель, — хочу!

— Так вы хотите деспотически вторгаться в частные дела государственной силой?

— Да, хочу! — кричал Пестель. — Не думайте испугать меня словами, я —

сторонник диктатуры, государственная власть не есть карамзинская идиллия.

— Обратите ваши взоры в Америку, там нашелся чужак, который создал общину «Новая гармония», — это Роберт Оуэн, предоставьте ему государственной властью решать дела партикулярные.

— И это меня не пугает, — сказал Пестель.

Спорили долго. Наконец сошлись на единстве действий ради республиканского строя, изгнания династии даже при возможности царевбийства. Заговорщики разошлись. Пестель остался. Он словно застыл, сидя на углу стола и подперев голову руками. Николай Тургенев сидел за столом с бумагами в руках, перечитывал и записывал карандашом, совершенно забыв о госте. Наконец Пестель спросил:

— Верите вы в успех нашего дела? Я что-то сомневаюсь.

— И я не найду средств бороться с этими сомнениями, — ответил Тургенев.

Разговор стал совершенно дружеским. Пестель был жесток в суждениях о деле и мягок по отношению к друзьям. Эти черты сближали и отталкивали его и Тургенева. При полном расхождении Тургенев чувствовал потребность пожать руку этому человеку, при наибольшем совпадении взглядов он испытывал чувство досады, похожее на ненависть. Расстался, условившись встретиться на следующий день, но Пестель неожиданно уехал.

Наступил апрель. Состояние здоровья Николая Ивановича настолько ухудшилось, что пришлось ускоренно просить отпуск. Дела старшего брата не позволили ему выехать вместе с Николаем, и вот он отправился один по дороге на Карлсбад. Долгие перегоны в распутицу по литовским лесам, белорусским болотам и польским каменистым дорогам он провел, как во сне. Только сев в почтовую карету, почувствовал, как тяжело он болен. У него не сгибались колени, болели плечи, хрустели суставы. Наконец на заре пересадка из русской кареты в немецкий синий эйльваген. Опять знакомым воздухом Европы повеяло на него, и только русский пограничник у полосатого столба с двуглавым орлом

говорил ему о том, что двести—триста сажений он еще едет по «русской земле».

В Карлсбад приехал совсем больной. Слег и чувствовал себя настолько плохо, что не мог даже вести дневника. Медленно поправлялось здоровье. Письма приходили редко. Сергей сообщил, что скоро приедет, что в Дрездене есть человек, с которым он переписывается, и что от этого человека многое зависит в его судьбе. Потом наступили длительные, пустые дни без писем и без связи с внешним миром на больничной койке, куда однажды после ванны принесли толстый пакет из серой бумаги с сургучными печатями.

— Странная вещь, неожиданное письмо от Аракчеева!

Государь поручил мне передать вам, чтобы вы последовали его совету держаться осторожнее в чужих краях. Он преподает вам сей совет не как ваш государь, а как христианин. Вас вскоре окружают люди, помышляющие о переворотях, и они постараются привлечь вас к себе. Не верьте этим людям».

«Чем вызвано это письмо?» — думал Тургенев и распечатал второе письмо. Там было сообщение о страшном наводнении в Петербурге, о массовой высылке поляков в Россию по обвинению в принадлежности к тайным обществам и о приезде молодого польского поэта Мицкевича в Москву в жандармской кибитке. Это было письмо от Вяземского. Вяземский сообщал, что вышел манифест об устройстве гильдии и о торговых правах прочих сословий. В конце стояло короткое сообщение. Начальник штаба Волконский, более всего протестовавший против военных поселений, свален Аракчевым, при чем Аракчев заявил: «как государя можно оставлять без игрушек? Но сделал это очень хорошо, совсем не сорясь». Государь предложил Волконскому уменьшить смету военного министерства. Волконский сделал, списал со сметы восемьсот тысяч рублей. Аракчев на другой же день представил другой план, по которому скидывал со сметы восемнадцать миллионов. Видя такую разницу, государь объявил Волконскому негодование, и тот ушел в отставку. Через неделю обсуждение министерских смет показало невозможность аракчеевского плана, но дело

было сделано, и Волконского к должности не вернули. Далее корреспондент описывает историю наказания военно-селенческих бунтарей. Сквозь строй в тысячу человек, стоящих друг против друга, со шпицрутенами, провинившихся прогоняли двенадцать раз. Большинство из них не дожило и до одиннадцати тысяч ударов, тут же с кровотокащими и всплущшими спинами покойников вытаскивали из строя и зарывали в землю. Аракчеев хвастал ласковым письмом Александра I. Царь писал: «Искренно, от чистого сердца благодарю за понесенные тобою труды при столь тяжелых происшествиях. Мог я в надлежащей силе ценить все, что твоя чувствительная душа должна была терпеть в тех обстоятельствах, в которых ты находился». Это в ответ на письмо Аракчеева о том, что многие преступники, наказанные по силе закона, во время наказания померли.

Тургенев, прочтя это, содрогнулся. Россия с улыбающимся царем и «чувствительной душой» Аракчеева показалась ему таким ужасным призраком, что он содрогнулся при мысли о возвращении.

\*\*\*

В Мариенбаде лечился водами Николая Ивановича Тургенев уже неделю, когда утром на восьмой день, вернувшись к себе в отель, нашел там старшего брата. Обнялись и поцеловались. Начались расспросы.

— Ну, каков ты? Давно ни строчки от тебя не было. Жаль, что нескоро кончается срок твоего отпуска. Государь перед отъездом в Таганрог говорил: «Сперанский обленился. Некому заменить его, кроме Тургенева».

— Ох, лишь бы мне подальше от дел, — сказал Николай Иванович. — Ни в законные, ни в незаконные пути нашего отечества не верю.

— Вижу, что ты еще нездоров, ибо ответ желчный, — сказал Александр Тургенев, внимательно глядя на брата. — Но подожди. Мы с Сергеем тебя приведем в свою веру.

— Кто у Сергея в Дрездене? — спросил Николай.

— Это его секрет, — ответил Але-

ксандр Иванович. — Пусть сам, если захочет, скажет, а я не могу.

Пришло письмо от Канкринна Николаю Тургеневу. Министр финансов писал, что образуется новая министерская работа, фабрики растут. «Департамент мануфактур требует образованного представителя наук экономических. Не может ли Николай Иванович согласиться на должность директора департамента мануфактур».

Поспешно, пока не вернулся Александр Иванович, Николай Тургенев набросал официальный ответ, в котором не отказывался, но просто сообщал, что срок отпуска для него не кончился, здоровье еще слабо и потому, прежде чем дать ответ, надо подумать. К вечеру приехал неожиданно Сергей. Ужинали втроем в маленькой комнате гостиницы. Пили шампанское, Сергей с блестящими глазами бегал по комнате и говорил, что завтра же едет в Дрезден.

— Женюсь на Пушкиной, — кричал он брату. — Право же, Николенка, женюсь, она отличная девица — и красавица, и умница. Мы с ней давно переписываемся. Читает Шекспира. Мы с ней условились в один и тот же день, в один и тот же час прочитывать одни и те же строчки.

— Что ж ты мне раньше не написал? — говорил Николай.

— Я еще не имел разрешения старшего, — сказал Сергей, указывая на Александра Ивановича.

— Значит оба вы затаили свое решение? Что ж я среди вас лишний?

Потом все трое смеялись.

— Год перелома, — говорил Сергей. — Байрон умер — свободолюбец Европы. Лудовик Бурбонский недавно скончал свои дни, а граф д'Артуа короновался в Реймсе по образу старинных королей Франции, серебряные деньги сыпал по дороге и в день миропомазания исцелял золотушных наложением рук. Как сам не заразился?

Разговор перевели на константинопольские темы. Оба брата, говорили о своих тогдашних тревогах. Сергей поставил стакан с вином на стол и начал рассказывать о резне в Стамбуле.

— Одного англичанина настиг турок сзади и ударил ножом в шею, и, можете себе представить, пока меня кто-то



вталкивал в ближайший дворик, чтобы спасти, я смотрел, что сделали с англичанином. Нож остался в шее, а кровь фонтаном забила из уха и лилась, лилась, лилась, лилась...

Сергей качал головой и продолжал повторять одно и то же слово.

Братья переглянулись. Александр Иванович смотрел испуганно. У Николая морщина залегла между бровями. Сергей продолжал без смысла продолжать одно и то же.

— Сережа, что с тобой? — спросил Александр.

Легкая пена появилась на губах Сергея. Он упал на кресло. Николай Тургенев, быстро намочил салфетку, повязал ему голову, и оба брата уложили Сергея на диван.

— Бедный мальчик, — говорил Александр, — он страшно впечатлителен. Константинопольские дела не дались ему даром.

Утром Сергей проснулся как ни в чем не бывало. Он был весел и совершенно спокоен. Втроем съездили в Дрезден. Провели чудесные вечера. Сговорились о свадьбе. Через год решено было венчаться в Москве, потом съездить в Тургеневку и спокойно пожить год. Обсуждали, следует ли Николаю принять предложение Канкринна, что делать Александру Ивановичу в правительстве, и после обсуждения прямо из Дрездена, не сообщая никому своего маршрута, втроем решили ехать во Францию. На самой границе, пересаживаясь во французский мальпост, узнали обогнавшую их весть: 18 ноября на берегу Азовского моря в Таганроге умер Александр I.

\*\*\*

Держали совет, как быть и что принесет царствование Константина Павловича, польского наместника, — самого неудачного из сыновей Павла I.

Маленькая немецкая почтовая станция, аккуратная, чисто прибранная, цветочные горшки в плетеных корзинках на высокой скамье перед самым окном. На столе окорок и яичница, кружки недопитого, легкого пива; комната для знатных гостей. По этому тракту неоднократно, стремительно проносились маршалы Наполеона, в этой комнате не-

медкие князья принимали французских шпионов, тяжеловесные бюргеры с толстыми бумажниками приезжали сюда потолковать со своими французскими агентами.

Николай Тургенев говорил:

— Я думаю, что начнется совершенный ужас. Константин — сумасшедший, хотя есть конечно и добрые задатки в этом странном человеке.

— Все-таки он привык управлять страной конституционной, — сказал Сергей.

Александр Иванович насупился. Николай перебил младшего брата.

— Эти свои детские мечты оставь! Ты прожил в Царьграде и ничего не знаешь. Польская конституция есть Александрова ипокризия. Для Европы Польша — страна с конституционным королем Александром I, а для деспотической России она просто царство, как царство Астраханское, царство Казанское, — ни в чем нет отличия! Не знаю, чего ждать от России с Константином. Я не поеду, — сказал он с расстановкой, решительно. — А вам ехать надо.

— Да, я поеду, — сказал Александр Иванович. — Дела у нас запутаны, хозяйство из рук вон. Матушка стала стара и в дела не вникает. Не могу уезжать надолго. А Сергею, как опекун, приказываю ехать со мною.

Решили. Александр Иванович пошел в соседнюю комнату, вызвал начальника и спросил, когда обратная почта на Берлин. «Меньше, чем через полчаса? — Хорошо!»

Николай Тургенев, оставив Сергея в комнате, вышел к своему слуге дать распоряжение о разделении багажа. Возвращаясь, застал в комнате шум. Он видел ясно, как Сергей с блестящими, острыми глазами впился в цветочную банку и ударом кулака сошвырнул ее на пол, потом отошел к окну, как ни в чем не бывало. Николай остановился в дверях и стал смотреть. Сергей попрежнему стоял у окна, слегка насвистывая, и был совершенно спокоен. Прошло пять минут, не более. Александр и Николай вошли в комнату.

— Как это случилось? — спросил Александр Иванович.

— Что это? — спросил Сергей, и с совершенно искренним удивлением

смотрел на разбитый цветочный горшок.

Николай покачал головой и, словно отгоняя невязчивую мысль, сказал не глядя на Сергея:

— Это я уронил нечаянно.

Прощание было короткое. Николай обнял Сергея и молча протянул руку Александру Ивановичу.

— Разрешите мне, — сказал он, — в полном спокойствии провести остаток разрешенного мне отпуска. Мне очень не хочется заболеть снова.

Александр Иванович нахмурился и вышел из комнаты. Сергей последовал за ним, весело напевая: «Домой, домой, домой!»

\*\*\*

Вечером 14 декабря 1825 года в Петербурге опустели улицы после дневной стрельбы. У Зимнего дворца горели костры. На улицах было тихо и безлюдно. Извозчики показывались редко. Одинокие пешеходы крались, как тени, и прятались за углы домов. Страшный день миновал. Еще трудно было подсчитать потери, но одна потеря была ясна — 14 декабря оказалась потерянной лучшая часть петербургской военной молодежи. Вместо Константина — прямого наследника Александра I — на престоле был Николай Павлович, исполнительный командир бригады, бесталанный, тупоголовый офицер, совершенно растерявшийся в этот день и сбежавший с площади, занятой д е к а б р и с т а м и, так как рабочие со стройкой нового Исаакиевского собора из-за забора начали кидать в него поленьями. Начались жуткие розыскные дни. Николай I с Левашовым и Зимнем дворце вели допросы. Арестованных было множество.

\*\*\*

Через две недели Николай I писал отрекшемуся брату:

«В том состоянии, в каком теперь моя голова и ум, я должен раз навсегда просить, дорогой и бесценный Константин, заранее извинить меня за бесконечную забывчивость и за всю беспорядочность того, что я вам пишу. Пишу вам, когда урываю секунду свободного времени, и то, что у меня на сердце; поэтому прошу милости и снисхождения за всё; пожалейте бедного малого — вашего брата.

Ваш курьер 22 декабря (3 января) прибыл вчера утром; Михаил был у меня, и вы можете себе представить, что заставило нас обоих почувствовать чтение вашего письма. Только бы мне быть достойным вас! Вы знаете, я всегда этого просил у провидения. Можете себе представить, что происходит во мне в этот момент.

Здесь все, слава богу, благополучно, наше дело тоже подвигается, насколько то возможно, успешно. Я получил донесение Чернышова и Витгенштейна, что Пестель ими арестован, равно как и кое-кто из других вожаков; а так как после здешнего происшествия я уже дал приказ об аресте последних и о присылке первого, то я и жду их каждую минуту. В 4-м, 5-м и 2-м корпусах все благополучно; я не получал официального рапорта из 3-го корпуса и из второй армии, но меня уверяют, что там тоже все благополучно. Здесь я велел арестовать обер-прокурора сената Краснокутского, отставного семеновского полковника, а Михаил Орлов, который был по моему распоряжению арестован в Москве, только что привезен ко мне. Я приказал написать Меттерниху, чтоб он распорядился арестовать и прислать Николая Тургенева, секретаря государственного совета, путешествующего с двумя братьями в Италию. Остальные замешанные лица или уже взяты, или с часу на час будут арестованы.

Я счастлив, что предугадал ваше намерение дать возможно большую гласность делу; я думаю, что это и долг, и хорошая и мудрая политика. Счастлив я также, что оказался одного с вами мнения, что все арестованные в первый день, кроме Трубецкого, только застрельщики. Факты не выяснены, но подозрение падает на Мордвинова из совета, поведение которого в эти печальные дни было примечательно, а также на двух сенаторов — Баранова и Муравьева-Апостола; но это пока только подозрения, которые выясняются помощью и документов, и справок, которые каждую минуту собираются у меня в руках.

Посылаю вам показание полковника Комарова, который несомненно очень

правдив и, кажется, человек прямой и действительно почтенный; показание его даст вам ясное понятие о всем ходе заговора во 2-й армии.

Здесь все благополучно. Я очень недоволен здешней полицией, которая ничего не делает, ничего не знает и ничего не понимает. Шульгин начинает пить, и я не думаю, чтобы он мог оставаться с пользой на этом посту; еще не знаю, кем его заменить.

...Посылаю вам еще список масонской логи в Дубно, найденный у кого-то из умерших тут; быть может, эти бумаги и не имеют значения, но, пожалуй, лучше, чтобы вы знали имена этих личностей в настоящий момент. Посылаю также и польский перевод манифеста по поводу событий 14-го; думаю, что он у вас уже есть, но на всякий случай посылаю. Там вы найдете выражение чувств, которые одушевляют меня, и официальное провозглашение того образа действий, какого я предполагаю держаться в этом важном деле.

Я был очень счастлив, что мог сам исполнить поручение, касающееся Накаина и Мещерского; это поручения, которыми позволено гордиться и которые неохотно уступаются другим. Они приняли это со слезами благодарности и счастья.

По известиям, дошедшим до меня сегодня, оказывается, что во вчерашней почте есть сообщение о приезде 84 иностранцев — французов, швейцарцев и немцев. Так как у нас достаточно нашей собственной сволочи, я полагаю, было бы полезно и сообразно с условиями настоящего времени отменить эту легкость въезда в страну; я думаю предложить совету министров восстановить тот порядок вещей, который существовал до последнего разрешения свободного въезда».

Новый царь, не довольствуясь этим, дополнительно извещал своего брата Константина в Варшаве о том, что он послал письмо «к старику, королю Саксонскому, с просьбой о выдаче всех троих Тургеновых».

\*\*\*

Моросил дождь. Дилижанс опрокинулся. В разбитые окна кареты засекали холодные струи. Очоченные руки и поси-

невшие лица пассажиров говорили о ненасти. Николай Тургенев подъезжал к Парижу. Сырое и туманное, как никогда, утро встретило его там. С почтового двора «Восточного мессажера» он пересел на извозчика и велел везти себя в Луврскую гостиницу. В коляску, стоявшую неподалеку, грузили вещи и усаживали двух детей. Черноглазые, остролицые, смуглые дети напомнили Тургеневу Восток. И вдруг показались родители. Человек в высокой барашковой шапке, пестром халате, с длинной, иссиня черной бородой, стрельнул в него глазами. Две женщины, совершенно закутанные в пестрые шали, сели на передние места коляски, после того как чернобородый пассажир водворился первым. Это впечатление Азии в Париже кольнуло сердце Тургенева. Он сам не мог понять почему, но чувство смутной тревоги не дало ему ни минуты покоя. Расставание с братьями было странно коротким, и хотя он приучал себя к сдержанности и внезапным обрывам готового разрастись чувства, но в этот раз покоя в себе не находил.

Через день он явился к друзьям масонской логи, провел с ними несколько часов в обычной беседе, в пении гимнов, а потом отправился к Лагарпу. Высокий старик с горбатым носом, в длинном, черном сюртуке встретил его словами соболезнования.

— Умер мой ученик, — сказал он. — Я не знаю его преемника, меня и без того тревожит судьба вашей страны.

Тургенев, молча, пожал ему руку.

— Что делается в Париже? — спросил он.

— Прежде чем ответить на этот вопрос, — сказал Лагарп, — чтобы не забыть, я попрошу вас — верните мне письма покойного Александра, взятые десять лет тому назад. Сейчас мне они особенно дороги. Ни один король Франции не мог написать бы теперь так, как писал тогда мой воспитанник.

— Приму меры к тому, чтобы это исполнить, — сказал Тургенев, — но скажите же мне все-таки, что же делается в Париже.

— В Париже? — переспросил его Лагарп: — Карл X поднимает руку на права третьего сословия, забывая, что, под-

няв руку, он может потерять голову. Я живу в Париже последний месяц и скоро уезжаю в Швейцарию. Там, среди вольных кантонов, на озерах, я позабуду обратительное впечатление Парижа, я буду вспоминать письма покойного Александра, перечитывать их, как мысли и замыслы благороднейшего монарха Европы.

Николай Тургенев увидел невозможность продолжения беседы.

Лагарп продолжал однако, не обращая внимания на молчание Тургенева:

— Кажется, Константин является его наследником. Сумеет ли он хоть сколько-нибудь продвинуть вашу страну по пути эмансипации?

\*\*\*

В Берлине, в русском посольстве, Александр Иванович сидел у секретаря. Белый, как полотно, и руки его тряслись. Страшные вести пришли из Петербурга. Пакет секретный. «Но это секрет всему свету, — говорил секретарь. — Будьте уверены, что через неделю это шило вылезет из мешка. Император Константин отказался от престола. Бригадный генерал, великий князь Николай Павлович уже 4 дня как император, но благодаря тому, что отречение Константина Павловича не было никому известно, произошла заминка в присяге, и было несколько залпов по войскам на Сенатской площади. Все это благополучно обошлось, но советую вам немедленно возвращаться в Россию».

«Великий князь Николай, — думал Александр Тургенев, — ведь это же тупица, совершенно неподготовленный к управлению огромной страной. Простой фронтовик, от которого ничего ждать не можем, кроме новых петличек и застёжек на военных мундирах. Однако ехать надо».

— Но что же произошло на Сенатской площади? — спросил он.

— Да ничего особенного, — ответил секретарь, — часть полков требовала Константина, а другая часть провозгласила императрицей его жену — «конституцию».

— Ах вот как? — спросил Александр Иванович. — Были, значит, политические требования?

— Да, очевидно кто-то внушил солда-

там этот крик под видом защиты прав Константина.

— Тревожно! — сказал Тургенев.

— Тревожиться нечего, — ответил секретарь. — Поезжайте-ка, батюшка, поезжайте-ка в Петербург.

С очень тяжелым чувством Александр Иванович выходил из посольства. Дорогой, в мгновение ока, решил твердо и бесповоротно оставить Сергея в Германии, не сообщать ему никаких новостей.

Дальнейший путь держали на Мариенбад, где, несмотря на протесты, Сергей остался ждать. Ослушаться старшего брата было невозможно. Оставив Сергея в счастливом неведении, Александр Иванович доехал до русской границы и, пересев в русскую коляску, двигался по Ковенскому шоссе. Его поражала молчаливость начальников станций, его удивляли хмурые лица. Офицер в маленьком местечке, к северу от Ковны, швырнув на стол подорожную, сел против него и уставился безумными глазами. Кивер съехал набок. Пятнистая барсова шкура, украшавшая ворот, была разорвана в нескольких местах. Тургенев с тревогой смотрел на своего нежданного соседа. Офицер спросил себе обед, но, почти не притронувшись к пище, огромными глотками пил из стакана водку, потом, сошвырнув кивер на пол, лег локтями на стол и положил голову на руки. Все это молча, без единого слова. Тургенев встал, расплатился, сунул в карман подорожную и хотел сесть в экипаж. Пистолетный выстрел раздался в комнате. Офицер с раздробленным черепом распластался на полу.

— Что это, что делается, — закричал начальник станции. — Батюшки, что делается которую неделю с господами офицерами?!!

— Что делается? — спросил Тургенев тихо, в то время как пассажиры и кучер суетились вокруг самоубийцы.

— Эх, батюшка, — сказал смотритель, — не могу вашему превосходительству словами передать. Помните 20-й год, у меня ведь сын в Семеновском полку, пропал без вести, сказывали, что из-за зверства полковника Шварца. Так и не знаю, где он. Бабу его с ребенком выселили в тот же день из Петербурга, как его из Петербурга гнали. В холод и в стужу одеться не дали. Выгнали с ребен-

ком за город: иди, куда хочешь. Так и пришла в двадцать лет седая баба с обмерзшими ногами на восьмую неделю ко мне в домишко. И тут какой-нибудь генерал виноват в смерти господина офицера. Смотрите, ведь какой молодой, а не выдержал жизни!

— Да ты мудрец, — сказал Тургенев, — давай скорее лошадей.

Большими железными щипцами стискивала виски.

### ГЛАВА \*\*\*\*\*

Генерал Лафайет, неудачный герой Великой революции, герой американской войны за независимость, седой, голубоглазый, живой, диктовал своему секретарю Лавассеру письма, в то же время осторожно рассматривал тонкие листки папиросной бумаги, на которых Базар и Манюэль сообщали ему сведения о деятельности южно-французской карбонады. Лафайет входил в состав секретного комитета вместе с Манюэлем, Базаром и четырьмя другими представителями неугасшего, но глеющего европейского карбонаризма. Манюэль сообщал Лафайету: «Наши друзья потерпели поражение в Петербурге. Дымящаяся кровь русских героев поднимается к небу».

Раздался стук в дверь.

— Разве никого нет в вестибюле? — спросил Лафайет.

— Кажется, я забыл запереть входную дверь, — сказал Лавассер и распахнул кабинет Лафайета.

У входа стоял человек с желтым лицом, измученный, с воспаленными глазами, с кольцами седых волос на висках. В руках был синий лист бумаги, только что вышедший «Монитэр юниверсаль».

— Что вам угодно? — спросил Лавассер.

Вошедший смотрел мимо него. Он видел перед собой только Лафайета и по глазам стремился определить, узнает он его или нет. Наконец он переступил порог и, в полном изнеможении бросившись на ближайшее кресло, прохрипел:

— Генерал, я—Николай Тургенев.

Лафайет быстро встал, бросил взгляд, мгновенно понятый Лавассером, и подошел к Тургеневу. Подошел близко, близко, положил ладонь на подлокотник кресла и взял Тургенева за руку.

Лавассер удалился, плотно закрыв дверь.

— Ну, ваши друзья погибли, — сказал Лафайет. — И едва ли скоро можно будет начать снова.

Тургенев дышал с трудом. Лафайет отшвырнул его руку и сказал:

— Ну, успокойтесь, и поговорим о деле.

— Мне нельзя оставаться в Париже, — сказал Тургенев.

— Конечно нельзя, — ответил Лафайет. — Вы должны уехать сегодня. Знает ли русский посланник о вашем прибытии?

— Нигде по пути я не оставил никаких адресов. Никто мною не интересовался.

— Посмотрим, — сказал Лафайет и развернул трубку из папиросной бумаги. — Вас ищут в Италии по распоряжению австрийского канцлера—князя Меттерниха, от Неаполя до Белинцоны подняты на ноги все жандармы и вся полиция. Вашим братьям угрожает смерть.

Этого Тургенев не мог вынести. Он закрыл глаза и впал в беспамятство. Лафайет, молча, ходил по комнате, потом сел за стол и стал писать. Он писал быстро на больших листах почтовой бумаги один и тот же текст. Он просил принять Тургенева, оказать ему гостеприимство, «как человеку, заслуживающему всяческого внимания». Четырнадцать писем стопкой лежали на столе. Написав адреса, Лафайет вышел в другую комнату и пригласил Лавассера.

— Будьте добры, друг мой, запечатайте эти письма. Я не решаюсь звать врача. Никто не должен знать об этом визите. Предоставим природе северного гражданина самой притти себе на помощь.

Цветной сургуч запечатал четырнадцать писем. Семь писем — масонским друзьям в Америке и семь — мастерам ордена вольных каменщиков в Лондоне. Вынув из галстука золотую иглу, Лафайет поднял левую руку Тургенева и без церемонии вонзил ему иглу в ладонь. Тургенев поднял глаза с выражением боли.

— Простите, друг, — сказал Лафайет, — не время дремать. Вы должны сегодня же выехать из Парижа. Вот вам

письма. Вы поедете в Лондон, предъявите вот эти семь, но начнете действовать не раньше, чем вами будет вручено седьмое письмо. Если положение ваше на Британских островах будет безнадежным, друзья переправят вас в Америку, и там вы предъявите вот эти семь писем. Уверяю вас, вы в безопасности, если сами не захотите себе зла.

Тургенев провел рукою по лбу. Лафайет его обнял.

— Доброго пути! Ничего мне не пишете. Мне напишут другие. Я буду знать о каждом вашем шаге.

\*\*\*

Дилижанс Лафита и Кальяра приехал в Калэ, когда было уже поздно. Дождь хлестал как из ведра. Протянутые по берегу канаты и проволоки, державшие вывески на кровлях, бешено выли под ветром. Был дикий свист, гудение и жуткое завывание бури. Ночь на взморье, казалось, стонала. Остервеневший прибой налезал на берег и в те часы. Когда утомленный, измученный тревогой Тургенев в бессоннице или в бреду ворочался в грязной гостинице, ожидая утренней отправки пароходом в Англию, другая воля привела другую разбушевавшуюся стихию в действие. Закрытая карета стояла у дверей Луврской гостиницы в Париже. Человек в серых очках с беспокойством смотрел на подъезд. Другой, от угла здания доходя до вестибюля, подходил к нему и успокоительно говорил:

— Скоро выйдет, скоро выйдет. Ты прямо его хватай и швыряй в карету. Постарайся, чтоб не закричал.

Но проходил час. В гостиницу входили и выходили. И вот наконец желанная минута настала. Портье вежливо отворил дверь человеку в низком цилиндре, и когда тот зашагал по тротуару, портье быстро махнул рукой человеку в серых очках. Через секунду двое схватили вышедшего за руки. Вышедший оказался силачом. Он сбил с ног одного и ударил ногою в живот другого. Портье быстро запер входную дверь. На улице продолжалась драка. И вдруг человек в серых очках заговорил:

— Лучше сдайтесь, господин Тургенев.

Богатырь оцепенел от удивления, от

русской речи в Париже, и самой отборной русской руганью ответил нападавшим.

— Что вы, каналы, сукины дети, какой я Тургенев? Моя фамилия Туркин.

Похитители мнимого Тургенева остолбенели:

— Есть ли при вас документы?

— Да, конечно есть. Пойдемте в гостиницу. Я — нижегородский купец 4-й гильдии Никита Туркин.

Портье не сразу согласился отпирать. Наконец по книге посетителей установили, что Николай Тургенев выехал полтора суток тому назад. Портье краснел.

— Извините, господа: русские фамилии такие трудные, что боишься сломать себе зубы, когда говоришь.

— Куда же выехал настоящей господин Тургенев?

— Выехал в дилижансе господина Лафита и Кальяра на Север.

\*\*\*

Стояло засушливое лето. В Петербурге ночью было не темнее, чем днем. В вестибюле верховного уголовного суда, несмотря на жару, не мог согреться Александр Иванович Тургенев. Он то выходил на улицу, плотно надев шляпу и куртаясь, то опять входил в помещение и ждал. Вот наконец раздался звонок. Часовые, стуча прикладами, стали у дверей. Где-то по лестнице слышались десятки шагов, и звенели шпоры. Боковая дверь открылась. Вышел тот, с чьим именем были связаны лучшие надежды, кого Александр Иванович ждал восемь часов подряд, — редактор верховного уголовного суда, старый друг тургеневской семьи Блудов.

Тургенев бросился к нему. На лице Блудова он прочел усталость и безразличие.

— Ну что же, что? — спрашивал Тургенев.

— Ах, как я устал, — говорил Блудов. — Ты представить себе не можешь, как устал.

Ординарец великого князя Михаила быстрыми шагами подошел к Блудову и вручил ему пакет. Блудов сломал печать и читал долго, словно нарочно стараясь не смотреть на Тургенева. Швейцар накинул ему на плечи одежду и вру-

чил трость. Блудов, словно не замечая Тургенева, пошел по лестнице вниз. Ноги подкашивались у Александра Ивановича. Он делал над собою страшные усилия, чтобы не закричать. Ему хотелось схватить Блудова за плечи. Он боялся, что еще одно движение — и он потеряет власть над собою. Блудов торопливо шел по Невскому проспекту, задыхаясь и глотая воздух, как утка, Тургенев бежал за ним. Наконец, напрыгавшись до последней степени, он сказал со спокойным видом:

— Ты так бежишь, что мне... — тут он остановился, просунул руку под руку Блудова и, стараясь попасть с ним в ногу, добавил. — ... что мне не хватает воздуха.

— Ах, это ты, — сказал Блудов, будто видя его в первый раз. — Прости, братец, ничего не поделаешь — смертная казнь...

— Ну подумай, — закричал Тургенев, — ведь это же безумие. Казнить неповинного человека! Как у тебя повернулся язык, как ты не закричал на всю залу суда?

Блудов повторил:

— ...через отсечение головы.

— И ты можешь это спокойно проносить. Ты, знающий брата?

— Да, что ж, братец, — сказал Блудов, — такова служба. По долгу и по присяге поступил.

— Да ведь ты же знаешь, что он никакого отношения не имел к делу на Сенатской площади. Если бы он был в Петербурге, то ничего бы этого и не было.

Держа друг друга под руку, оба шли пешком и жестикулировали. На фоне лиловатых ночных облаков белела Адмиралтейская игла. Ленивая извозничья лошадь цокала по камням Невского проспекта. Ровный, мягкий свет царил над ночным Петербургом, разливая кругом необычайный мир, спокойствие и тишину прекраснейшей петербургской ночи. А эти двое ничего не замечали. Блудову не казался его поступок ужасным. Эгоистический чиновник царской России, мечтавший о большой карьере, был готов любой продажностью и жестокостью купить себе восхождение на новую ступень бюрократической лестницы. Его спокойствие и законченная

бессердечность, его чёрствость, были до такой степени непроходимы, что Александр Иванович окончательно потерял чувство действительности. Глядя в это спокойное и сытое лицо, говоря с товарищем, от которого никак не мог ожидать ничего плохого, Тургенев считал, что это не более как недоразумение, которое вот-вот рассеется. Смертный приговор через отсечение головы казался ему такой ужасающей нелепостью, что он ни минуты не сомневался в его невыполнимости. И только простившись с Блудовым на углу Фонтанки, он вдруг понял всю чрезвычайную серьезность положения. Его давило удушье. Ставши у фонаря, он обеими руками схватился за ворот. Машинально, почти не сознавая, что делает, резким и сильным движением рванул воротник. Затрещали пуговицы. Разорвалась рубашка, жабо и жилет. Тургенев тяжело рухнул на гранитную набережную Фонтанки в том самом месте, где когда-то полковник Базень, защищаясь, убил арачьевского шпиона.

Очнулся Александр Иванович на лестнице у собственной двери. Стряпуха Варвара с корзинкой в руках поддерживала его под руку и, всхлипывая, говорила:

— Батюшка, Александр Иванович, да что же это с вами? У вас волосы-то седые!

\*\*\*

Василий Андреевич Жуковский просыпался рано. Он стоял в маленьком садике в светлосером рединготе, без шляпы. Томик «Ундины» Ламонт-Фуке в кожаном переплете с золотым тиснением торчал у него из кармана. В левой руке он держал тарелку. Правой он брал с тарелки пригоршни крупы и бросал белым голубям, воркующим у его ног.

Александр Иванович Тургенев вошел в сад и, не говоря ни слова, сел на скамейку. Жуковский подошел к нему, положил ему руки на голову и сказал:

— Приговор еще не корфирмован. Уверяю тебя, что Николаю будет дарована жизнь. Однако на тебе лица нет. Ты вряд ли пил кофе, пойдем ко мне.

Тургенев хотел что-то сказать и не мог. Рука после бессильного жеста упа-

ла, как мертвая, и разбилась о скамейку.

— Я должен выехать, — сказал он наконец.

— Это тебе разрешат, — сказал Жуковский. — Знаешь, что самое трудное то, что Пестель и Рылеев показали против Николая. Они прямо назвали его диктатором, республиканцем и истребителем царской фамилии.

Александр Иванович всплеснул руками.

— Когда хочешь ехать? — спросил Жуковский.

— Как можно скорее.

Прошло три дня. Николай I возился над проектом 3-го отделения в собственной его величества канцелярии. Бенкендорф сделался его правой рукой.

Жуковский с большим трудом добился разрешения говорить о Тургеневе. Николай I посмотрел на него в упор и сказал:

— Непричастность Александра Тургенева установлена. Мальчишка Сергей, к радости моей, тоже невинен. Но если Николай Тургенев действительно чувствует себя невинным, то передай ему через брата, чтобы он явился на суд, как человек честный. Может рассчитывать на царскую справедливость.

Александр Ивановичу был разрешен выезд за границу.

На кронверке, близ крепостного вала Петропавловской крепости, против небольшой и ветхой церкви Троицы, в 2 часа ночи 13 июля 1826 г. из отдельных деревянных частей собрали виселицу. Двенадцать солдат Павловского полка с заряженными ружьями и со штыками стали вокруг эшафота. Пять человек со связанными руками и ногами, перетянутыми выше колен, едва переступая, вошли на помост. Сто двадцать человек, приговоренных к Сибири и каторге, были поставлены вокруг эшафота как свидетели поучительного царского зрелища. Рылеев, Каховский, Пестель, Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин в последний раз вскинули глаза на небо. Десять полицейских и два палача накинули на них мешки. В мешках они еще двигались. Потом намыленные петли были надеты им на головы. Бесформенные и страшные фигу-

ры под одной перекладиной вдруг повисли, потому что эшафот, двинутый рычагом палача, быстро опустился. Но страшный произошел случай. Меньше чем через минуту трое оборвались. Раздался стон. Два мешка — один с кожаной нашивкой, на которой было написано «Пестель», и другой с такой же нашивкой и меловой надписью «Каховский» — судорожно извивались под перекладиной. Трое других стонали. На мешке с надписью «Рылеев» показалась кровь.

— Подлецы, даже не умеете делать своего дела, — закричал Рылеев.

Петербургский генерал-губернатор Кутузов подбежал к виселице, ударил кулаком в зубы полицейскому и выхватил у него веревку. Матерно ругаясь, генерал собственноручно надел всем троим веревки. Отбежал и махнул рукой. Помост снова опустился, и через минуту все было кончено.

\*\*\*

На берегу Темзы, озираясь, ходит человек, не находя себе пристанища. Он ел и пил в матросском трактире, несколько раз подходил к дверям неизвестного ему человека, вынимал письмо, брался за молоток и каждый раз не мог ударить, — рука коченела, не было сил ее разогнуть. Осталось последнее письмо, которое еще не вручил Николай Тургенев. Но бродя, словно в бреду, по берегам туманной реки, вдыхая тяжелые испарения от гниющей рыбы, от дыма, от несвежей речной воды в затоне, он никак не мог справиться с собою. Он ловил себя на мысли, что боится каждого прохожего, что город с кишашими улицами, с беспорядочным огромным движением ему страшен. Тауэр, Вестминстер казались ему грозными призраками. Башенные часы его пугали, и однако он больше всего боялся пустынных и маленьких переулков. Не потому ли рука бросала молоток без стука, что эта маленькая дверь вела в низенький дом в глухом переулке, выходящем к берегу Темзы. Он выбегал из этого переулка, чтобы снова попасть на людные улицы, чтобы чувствовать вокруг себя толпу, чтобы затеряться среди людей. В третий раз выбежав из этого переулка, он дрожал, как в ознобе, слыша цокание копыт по мостовой.



Это был бред наяву. Тургенев бредил преследованиями. В полном изнеможении в два часа дня он сел в карету, едущую на север, и почти безостановочно, без еды и без питья, не щадя сил ехал до самой шотландской границы. В лесах, горах и долинах Шотландии он вдруг почувствовал отдых. Он вдруг яснее стал смотреть на вещи. Незнакомые, великолепные картины, связанные с лучшими романами Вальтер-Скотта, вдруг напомнили ему беспечные, почти счастливые дни, когда он, отдыхая от работ, мог с наслаждением перечитывать старинные были этой чудесной страны.

Наконец еще один переезд, и он сможет отдохнуть в Эдинбурге. Заняв комнату в придорожной таверне, Тургенев в первый раз ел и пил, не оглядываясь и не чувствуя испуга. Кружка вина оказалась для него роковой. Вытянувшись на скамье и положив под голову баул, он вдруг заснул крепким и глубоким сном. Проснулся от того, что его растакивали чьи-то сильные руки.

— Два дня вы спите, господин!—говорил силач, встряхивая Тургенева за плечи.—Ни отец, ни я не можем вас растолкать.

Перед Тургеневым вдруг встала действительность, позабытая во сне. Безумно захотелось жить. Твердая решимость во что бы то ни стало избежать опасности им овладела после отдыха и сна. Расплатившись и взяв носильщика из трактирной прислуги, Тургенев пошел пешком на почтовую станцию.

Путь до Эдинбурга не был ничем примечателен. В городе он остановился в гостинице «Цветок и корона». Ему отвели маленькую комнату во втором этаже. Из окон открывался чудесный вид на горы, на дымчатые леса, на серые, быстро бегущие облака. Вздыхая полной грудью, Тургенев не мог оторваться от этого зрелища. Раздался осторожный стук в дверь. Тургенев сказал по-английски «войдите». И вдруг отступил с широко раскрытыми глазами в самый угол комнаты. Перед ним с холодным спокойствием стоял секретарь русского посольства в Лондоне — князь Горчаков.

«Все погибло» — думал Тургенев.

Горчаков спокойно подошел к нему и спросил:

— Как это случилось, Николай Иванович, что я, выехав на день позже вас из Лондона, оказался на день раньше вас в Эдинбурге?

— Чего вы хотите? — спросил Тургенев.—Каким ужасом хотите вы овевать мою душу?

— Правительство его величества предлагает вам явиться в Петербург для того, чтобы предстать перед судом.

— Да, но я нездоров, и мой отпуск еще не кончился, — слабо заговорил Тургенев.

— Я буду говорить, как друг, — сказал Горчаков. — Император вас просит. Только не делайте европейского скандала. Вернитесь добровольно, иначе придется прибегнуть к дипломатической переписке. Это для вас хуже, а для нас невыгодно. Я лично убежден в вашей невинности. Вам так легко будет доказать ее на суде.

— Говорите ли вы это лично от себя, или посланник—граф Ливен—уполномочил вас дать мне гарантию моей безопасности?

— Поверьте моей дружбе. Я вас очень люблю, и ваш государственный ум необходим России. Неужели вы думаете, что император без вас обойдется? Уверяю вас, что даже если бы вы были виновны, он так к вам расположен, что будет искать смягчающие обстоятельства, дабы восстановить ваши нарушенные права.

— Был ли уже суд над несчастными, выступавшими на Сенатской площади?

— Честью клянусь, что нет, — сказал Горчаков.—Нет смысла раздувать эту маленькую историю. Послушайтесь моего совета. Мой экипаж к вашим услугам. Мы приедем в Лондон. Граф вас облакает. Поживете у нас, а потом мы вместе поедем на родину.

Тургенев молчал. Вдруг бешенство исказило его лицо. Он подошел к Горчакову со сжатыми кулаками и сказал:

— Во избежание несчастья, в целях вашей собственной безопасности, чтобы я вас не оскорбил, — и, закидывая руки назад, подходя почти вплотную к испуганному Горчакову, продолжал, — чтобы я не спустил вас, как негодяя, с лестницы, немедленно выйдите вон. Я не вернусь!

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### Эпизод

Прошло девятнадцать лет. Давно по железным дорогам Европы дважды проехал седой, хромающий старик, допущенный снова к себе на родину, Николай Тургенев. С оглядкой давали ему лошадей от Варшавы до Твери. Люди неопределенных профессий ласково заговаривали с ним, когда он завтракал на почтовых станциях. В паспорте Николая Тургенева значилось, что «высочайшим повелением императора Александра II допущен ко въезду в империю Российскую, но без права появления в обеих столицах». Это было уже давно. Пребывание в России было коротко и вспоминается, словно какой-то безотрадный сон. До чего чужая эта страна, до чего чужими стали все страны старику, вступившему в девятый десяток жизни.

Теперь была парижская осень. По бульварам крутились листья. По улицам поднималась пыль. Серые облака, разорванные и туманистые, отражались в Сене. Ее вода стального цвета подергивалась зыбкой рябью. Набережные были полны странной и непривычной для Парижа тишиной. Эту тишину прерывали изредка гулкие, ухающие выстрелы германских пушек. Париж был в осаде.

Клара Тургенева с молодым сыном сидела на улице Риволи, в комнате, и заботливо посматривала в дверь. Сквозь створки она видела закутанного пледом человека у камина. Он был в полудремоте.

Дверной молоток стукнул три раза. Клара Тургенева поспешно подошла к двери, открыла. Вошли двое. Один — высокий старик, голубоглазый, с лицом, обрамленным седой бородой, крепкий, сильный, как старый дуб, другой — худощавый, знакомый, сосед по деревенскому дому, крестьянин Планшон из Вербуа. Оба поздоровались. Оба вошли в комнату. Планшон потирал руки, заочиненные от холода, и говорил:

— Плохие времена, плохие вести! Пруссаки вчера заняли ваш дом в Вербуа и бушевали страшно до поздней ночи.

Клара Тургенева приложила палец к губам.

— Не будите господина Тургенева, — сказала она. — Не говорите ему ничего.

Затем, обращаясь быстрым движением к другому посетителю, сказала:

— Раздевайтесь, дорогой господин Гюго. Муж скоро проснется. Он всю ночь не спал, делал вид, что работает, забыв волнения, но мне кажется, что он волновался, забыв работу.

Гюгосел молча. Планшон вышел из комнаты вместе с молодым Петром Тургеневым.

— Я давно у вас не был, — сказал Гюго. — Но с тех пор, как я вернулся в Париж, после захвата пруссаками коронованного авантюриста, мне столько приходится проводить времени не дома, что вы меня простите.

— Помилуйте, господин Гюго, — ответила Тургенева, — разве мы с мужем можем быть требовательными. Кто первый посетил русского изгнанника после возврата во Францию? Изгнанник Гюго. Кто первый теплыми словами напомнил Николаю об умершем Александре Тургеневе? Господин Гюго.

Старик у камина зашевелился. Проснувшись, он раскутал ноги и, опираясь на палку, вошел в комнату, увидел Гюго, и глаза вспыхнули молодым огнем.

— Говорите, говорите все парижские новости, дорогой Гюго, — начал Николай Тургенев.

— Извольте, — ответил Гюго. — Вчера наша старуха, простояв два часа в хвосте, купила трех прекрасных фазанов, они еще недавно каркали на монастырском заборе. Их сбили выстрелами бургундские мобили. Сегодня мы ели рагу из картофеля и по горсточке сушеного винограда. Но Париж веселится. Республика вскружила всем головы. Разоблаченный Бонапарт в прусском плену. Пруссаки осаждают Париж. Гамбетта пал. Тьер ведет переговоры, и не нынче-завтра вспыхнут огнями баррикады. Единая Франция сейчас представила в Париже все оттенки своих национальностей. Взгляните, вот проходят бретонские мобили, у них длинные волосы, большие круглые шляпы, удивленные лица; свежесть лесов, воздух диких холмов наполняют их легкие под проливным дождем осеннего Парижа. Эти французы не умеют говорить по-французски. Смотрите, как, получив кви-

танцию на занятии квартиры, группа бретонских мобилей идет по незнакомым мостовым и странным улицам, не похожим на село их родных, вечно шумящих лесов. Смотрите, сечет проливной дождь, косой, безумный ливень, а они проходят с ружьями, опущенными дулом в землю, с таким видом, как будто на небе светит солнце. А вот смотрите, беришонцы, шампанцы, пикардийцы, оверньяки, — какая пестрота этот Париж! Как не похожи друг на друга! Сравните бретонца, задумчивого, сосредоточенного, с неистощимым запасом девственной энергии, сравните с бургундцем. Леса и граниты, песчаные дюны, и думы, явевянные постоянным видом морской беспредельности. Что это за люди, что могут они сделать?..

— Много хорошего и очень много разрушения,—ответил Николай Тургенев.

Гюго его не слышал. Все трое—Николай Тургенев, Клара Тургенева и Виктор Гюго — смотрели в окна на проходящих под дождем людей.

— А вот узнаете бургундцев? Смотрите: яркий румянец, веселое лицо, звонкая речь и гордая поступь, широкие жесты, открытый характер и безумное воображение. Неистощимо веселые люди! Крестьяне с поступью принцев и с горячим вином в сердце и крови. Вот идет сомюрский батальон. Стоит услышать его историю. Его оставили дома в родных деревнях Бургундии. Они достали прошлогодние бочки, выбили донья под гром барабанов и ружейных затворов, потом, напившись, пришли в Дижон, на вокзал, вызвали начальника станции и потребовали поезд.

— Никакого поезда нет, — ответил тот: — прусаки отрезали все пути.

— Тогда мы тебя расстреляем,—сказали бургундцы.

И поезд появился. Пыхтящий локомотив с одним кочегаром покрыл дымом перрон.

— Нет машиниста,—с ужасом закричал начальник станции.

— Тогда лезь сам на эту проклятую машину,—закричали бургундцы: — или мы пристрелим тебя, как перепела в винограднике.

И вот начальник станции сам повел последний поезд из Дижона. Эти бургундцы, опьяненные солнцем, вином и

радостью, бушевали, как море, они стреляли из окон в проходивших коров, в стада баранов, они шумели, пили, пели, заставляли локомотив свистеть на каждом шагу. Красное вино их родины бурно клокотало в молодых жилах; когда они с пением прикатили на Северный вокзал, их песен не понимали парижане, их странный, нежный язык, совсем не похожий на татарскую речь бретонцев, был так же дик и непонятен парижанам, как и их бурная веселость в тоскливом, угнетенном Париже... Вот вам единство нации! Вот вам тот французский народ, который хотел обуздать железной уздой деспотизма и биржевых спекуляций авантюриста, похитившего свободу Франции! Не пора ли всем нам понять, что нет единства нации, что каждая деревня дышит своим воздухом и что истинная родина человека есть человечество! Священные идеи человечества попирает прусский сапог. Все, кто борется сейчас за Францию, борется за человеческую свободу! Я пришел это сказать вам, Тургенев, только потому, что вы, имея все возможности, не покинули Францию в трудную минуту. Вы—старый борец за свободу! Приветствую вас!

— Благодарю вас,—сказал слабеющим голосом Тургенев.—Меня интересует вопрос о том, что думает обо всех этих делах князь Бисмарк.

Гюго нахмурился. Огромные брови, как крылья седой птицы, сдвинулись и загнулись, как стальная проволока. Голубые глаза мгновенно загорелись бешенством.

«Вот оно,—подумал Тургенев,—недаром Мериме говорил, что это—бешеный человек». И, словно продолжая свою мысль, Тургенев без всякой осторожности спросил:

— А что думает обо всем этом господин Проспер Мериме?

— Господин Проспер Мериме!—закричал Гюго.—Да разве он жив? Я думаю, что он умер двадцать лет тому назад. Я помню в роковые дни измены французской республике президента Бонапарта, когда я пробирался на конспиративную квартиру десятого округа с воззваниями против узурпатора, мне встретился этот шелкопёр Мериме — автор повести о цыганке Кармеи и о мяо-

гих других, столь же восхитительных героинях. Он сказал мне: «Я вас ищу». Я ответил: «Кажется, вы меня не найдете» и повернулся к нему спиной. Так вел я себя в отношении ко всем из шайки Бонапарта.

— Я слышал, что Мериме жив. Я получил от него письмо из Ниццы. Он уезжает в Канны, он рассчитывает на то, что министр Тьер спасет династию во имя мальчика Луи.

— Никаких Луи!—закричал Гюго.— Этот мальчик Луи недавно подобрал прусскую пулю, упавшую на форпосте. С тех пор парижане прозвали его «ребенок с пулей». Какое счастье, что он пулей вылетел из Парижа в Лондон со своей мамашей, распутной испанской танцовщицей!

Клара Тургенева рассмеялась.

— Я думаю, Евгения Монтихо переживет нас с вами, господин Гюго. Она может прожить дольше, чем новая французская республика.

— Однако мне пора,—сказал Гюго.— Желаю вам здоровья, дорогой единомышленник!

Живой, совершенно не старческой, походкой Гюго вышел из дому, а Николай Тургенев сел завтракать с Планшоном и слушал его рассказы о том, что делали пруссаки в его кабинете в Вербуа.

#### ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Миновала тяжелая зима. Наступила весна, несшая людям надежды. Был март. Над парижскими домами, в синем воздухе реяли красные знамена. Ветер трепал флаги, развевал волосы, срывал шляпы. Новый ветер небывалой человеческой весны! И, врываясь диссонансом в эту красную пляску знамен и флагов, шелкавших и свистевших над домами в синем небе, черные люди в цилиндрах с серебряным галуном вели под уздцы черных коней. За гробом на катафалке идет седой старик, волосы, поднявшиеся вверх, овеивает ветер, обжигает старое французское солнце. Виктор Гюго хоронит своего сына. Рабочие в синих блузах с коммунаскими значками попадают ему навстречу. Кепки взлетают на воздух, толпы присоединяются к шествию. Старый Гюго с красным бантом в петлице протягивает им руки и говорит:

— Вы правы, товарищи! Закон Ком-

муны, закон Парижа... станет законом всего мира.

На улице Риволи полк национальных гвардейцев с оркестром играет марсельезу. Смешанный батальон, пересекающий дорогу похоронной процессии, поет марсельезу. Бургундцы узнают старика и с оркестром становятся за катафалком. Тысячные толпы наполняют улицу Риволи, когда восьмидесятилетний старик Тургенев подходит к окну. Он смотрит, узнает Гюго. Клара Тургенева говорит мужу:

— У него умер сын.

Николай Тургенев смотрит на нее поглубже глазами и говорит:

— Я ничего, ничего не понимаю. Я все позабыл. Скажи, Клара, вернулся ли Кюстин из России?

— О, давно вернулся. Он уехал в путешествие, из которого не возвращаются. Его книгу о России проклял царь Николай.

К вечеру Клара Тургенева послала сына к своей сестре. Прислуга осторожно ввела человека в котелке с небольшим саквояжем. Николай Иванович лежал на постели без подушки. Глаза были закрыты. Седые волосы стальной щеткой вышли на подбородке. Желтые руки тихо собирали и отпускали одеяло. Ему снились многоводная Волга, крепостной Вася с тенётами, и смертельная жалость сжимала сердце при виде пойманных птиц. Дым у костра и бурлаки на берегу. Потом Галерная гавань и Каховский с безумными глазами, который просит: «Николай Иванович, войди ты в мешок вместо меня». Потом в глазах стало темнеть, и вдруг яркое солнце осветило каменную тумбу на повороте около Sacré-Coeur de Montmartre, и маленькая золотая пчёлка села на белый камень. В ушах звучали слова: «Жизнь дается только раз, каждая минута—счастье». Вот смотреть на эту пчелу на белой уличной тумбе, впивать всем телом лучи горячего солнца — вот его настоящее счастье. Сознание этого счастья было настолько велико, что сердце не выдержало и остановилось.

Доктор отнял зеркало от губ Николая Ивановича и, молча, разведя руками, показал: поверхность была совершенно гладкая, сухие губы не затуманили ее никаким дуновением.

# Чужой век

Рассказ

ВАСИЛИЙ РЯХОВСКИЙ

1

Дверь скрипела длинно, с противным присвистом. От этого звука пустело в груди, ныли челюсти и хотелось сплунуть.

Когда выходил из избы сам Лука Григорьев, скрип сзади наводил на тошную мысль о том, что оставшиеся в избе смеются ему вслед, а если дверь закрывалась за широкой спиной сына, ржавые петли, казалось, продолжали торжествующий смешок Гаврюшки.

Однажды Лука Григорьев, истощив терпенье, снял дверь с крючков и смазал рыжие от многолетней ржавчины петли керосином и свиным салом. В избу набрался сковывающий мартовский холод, ребятишки залезли на печь, а старуха, молча следившая за работой мужа, укоризненно сказала:

— Тебя, мужик, не взбесило? Ты бы еще все окна выставил.

Лука Григорьев обожженно вскинулся и выкрикнул, сам не зная причины заставшего взгляд бешенства:

— Отойди к дьяволовой матери! Тебя не спросился, учительша какая!

Старуха смолчала, а Луке Григорьеву стало не по себе. Он почувствовал, что Павлина права, но чтоб не показать свою слабость, проворчал с сердитым оттенком:

— Из избы, дьявол, выживает. Стонет, стонет!

— Тебе-то не все равно?

— Не всем равно, кое-кому и побольше требуется. В том все и дело.

После смазки дверь перестала петь, но тоска не ушла.

И по мере того, как сдавала зима, тлели жухлые, погрязневшие снега и теплые ветры обсушали верхи крыш, Лука Григорьев с увеличивающейся томительностью чувствовал, что эта весна не похожа на прежние, она ломает вековой распорядок жизни, и противиться тому у него нехватит сил.

Солнце звало из избы. Покончив с утренней уборкой скотины, Лука Григорьев не уходил со двора, принимался за ребячью забаву: прочищал от сараев к воротам пути для робких, но уже сутливых ручейков. Потом с лопатой за плечами выходил за двор и петливой зимней стежкой, вдруг обнаружившей, какая уйма сена, колоса за зиму пущена на ветер, шел до риги. Солнечный скат риги был сух, от него тянуло скопленным теплом, и только около пелены солома сыро темнела, и с нее сбегали редкие капли на пожелтый, похожий на клобья замшелых старческих седин снег.

На теневой стороне крыши нетронутый снег голубел холодом, но о близком тепле напоминали облезшие огорды с обозначившимися протоками борозд, дымившиеся кучи обтаявшего навоза. Поле резали коричневые от тали завитушки дорог, узкая лента леса синела тепло и позывно. И, как талый дымок, были сладки вековечные мысли о черной густоте велиней пашни, о близкой пахоте, о сухих и текущих семенах. Лука Григорьев смыкал ресницы, и казалось ему, он уже слы-

шал горячий запах первой борозды, веселого лошадиного пота, а в ушах вспыхивали и гасли густые вскрики солдатски шагающих грачей.

С огорода он шел тяжелым шагом, часто вздыхал и все глубже нахлобучивал на лоб шапку. По давней привычке заворачивал в сарайчик, где исстари стояли сохи, бороны, оглядывал пустые углы, и на смену недавнему хмелю ожидаемых радостей приходило зло: сарайчик был с осени пуст, на гладких колышках (еще покойный отец прилаживал) висели лишь истлевшие веревочные концы да изъеденная мышами хомутина.

И, словно поддразнивая его, с пелены вперегонку сбегала капель, в ее дремном говоре он слышал утверждение того, что все в мире идет так же, как было в прошлом году, десять, двадцать лет тому назад, закон жизни не изменился ни на иоту, только в нем, Луке Григорьеве, по чьему-то велению все перепуталось, пошло шиворот-навыворот.

Когда старуха позвала его обедать, он сидел на пеньке, на котором уж лет двадцать отбивал косы, и, подставив лицо солнцу, глядел на грачей, густо усевшихся на старой липе. В ночь грачи вернулись из теплых краев, усталые, распушившиеся, они сидели недвижно, поводили умными головами на стороны и ворчали глухо, будто жаловались на тяжесть пути и делились мыслями о переменах, произошедших за зиму в родных местах. И Луке Григорьеву хотелось сказать грачам просто, как давним друзьям, что зима в самом деле прошла нескладно и, что будет дальше, он и сам не знает.

С тех пор, как расклеился семейный лад, обеды проходили в молчаньи. Лука Григорьев голодно мрачнел, плохо замечал съдаемое. Не поднимая от ложки глаз, он видел каждое движение Гаврюшки: сочный чавк большегубых челюстей, взмах руки, чуть придерживающей концами несгибающихся пальцев черенок ложки. Наедаясь, Гаврюшка чавкал все сильнее, с присвистом высасывал из зубов застрявшие крошки и громко отрывивал. Лука Григорьев изо всех сил старался не слушать, но эти противные жевательные звуки про-

сачивались в ухо, порождали тонкую тошноту. На этот раз он не сдержался, через великую силу взметнул посверх ложки глазом и еле выговорил отвердевшими губами:

— Свињи, и те... едят степеннее...

Гаврюшка круто повернулся в его сторону, оглядел круглыми, со смешком в уголках, глазами бороду отца и опять принялся за еду. Луке Григорьеву показалось, что теперь Гаврюшка нарочно раскрывал рот шире, чавкал изо всей мочи и отрывивал безо всякого желания. Он с силой надавил на ложку, она сухо хряпнула, и запальчиво прошипел:

— Ты что же отца дражнить?

И опять Гаврюшка спокойно повернулся к нему — на этот раз усмешка в его глазах распустилась шире — и невозмутимо спросил:

— Тебе что, есть с нами, не нравится? Так ты бы, мать, собирала ему отдельно.

Лука Григорьев растерянно вытер усы, и, почти радуясь тому, что часть спершейся в груди злости получает выход, вызывающе отрезал:

— Меня-то отдельно сажать погоди! Понял? А сам хоть сейчас отделяйся, слова не скажу.

Гаврюшка проглотил готовое слово и смущенно выдал:

— Кому-нибудь придется.

— И придется. Испугал дуже! Ты думай! Не то видали, будь покоен!

— Я и не пугаю никого.

Он отвернулся от отца, затаив раздражение в тугой связке желтых бровей. А Лука Григорьев, торжествуя победу, злорадно продолжал, желая до конца выговориться:

— Я, брат, не из робких. Меня вашим колхозом не запугаешь. Это вы перед дураками можете расширяться-то, речами им головы морочить, а меня не уговоришь.

И то, что Гаврюшка не принял вызова, делал вид, что не слушает его, заговорил о чем-то с женой, было особенно обидно, позывало сделать такое, что сразу бы убедило сына в его правоте и силе. Лука Григорьев, не закончив обеда, вышел из-за стола и сразу начал одеваться.

В сенную дверь со двора стучала рогом корова. В ее трудных вздохах, в мирном сапе, обрывающем вечную жвачку, было столько величавого спокойствия, что недавняя вспашка, злобное решение сделать что-либо наперекор сыну показались ненужными, лишеными всякого смысла. В груди стало еще мутнее. Лука Григорьев распахнул дверь и со всего размаха ударил корову кулаком по лбу.

— Ишь, чорт, оголодала! У-уды лезешь, глаза-то выпулила! Гостья!

Корова глянула на него большим водянистым глазом, мотнула головой и повернулась, тяжело заноса зад.

Кулак заныл, но злость не была растрачена.

Лука окаменело стоял на порожке, накапывая решимость. Доносило отголоски изыяного говора. Казалось, Гаврюшка в чем-то оправдывается перед матерью: «Нагрубят, а потом каяться». И хотелось, чтоб Гаврюшка сейчас позвал его в избу и попросил прощенья. Вот, слышно, он хохотнул и вышел в сени. Лука Григорьев приготовился обернуться на зов сына, но Гаврюшка не заметил его, ушел через крыльцо на улицу, стукнув дверью так, словно отрекался от отца.

«Ах, мырдастый враг!»

Схваченные предвечерним морозцем крыши все ленивее роняли капель, трепыхал крыльями, собирая кур, петух, и сиротливо кричали бродившие по раскинутой сторновке и давившиеся колосом овцы.

Решимость пришла сразу. Лука Григорьев тряхнул головой и сдвинулся с места.

## 2

На улице было мокро и безлюдно. По наводопевшему около изб снегу подбористо перебежали куры и гнездились на пригретых завальнях, от которых седыми завитками срывался тонкий парок. Над потемневшими полями, из-за бурых верхушек леса, бежали тонкие, совсем белые облака, бежали торопливо, будто их гнал кто с теплой стороны на север. «За дождями бегут» — подумал Лука Григорьев и сейчас же взялся за шапку: хозяйственную мысль пресекла другая и будто обожгла голову: «А тебя куда, родимец, несёт?» И

то, о чем складно подумалось на порожке сений, вдруг показалось нелепым. Если б он находился не среди улицы, не между двумя рядами окон чужих изб, он, не раздумывая, повернул бы обратно, показать же свою слабость перед всеми соседями (думалось, что всем уже ведомо его намерение и изо всех окон следят за ним) было не в его натуре. Он туже натянул на кофточку подпояску и зашлепал лаптями по лужам, не разбирая дороги.

На выходе к церковной площади Лука Григорьев остановился: задохнулся совсем, как обруч, давила вспотевший лоб шапка. За церковью с обезглавленной колокольней, на которой мотался красный выгоревший лоскут, виднелся кооператив. У разверстых дверей пестрой толпой грудилась бабы. А рядом из темной пасти кузницы огненно глазело непотухающее горно. Избегая встреч, Лука Григорьев стороной, обтаявшими боровками, придерживаясь за теплые колышки плетней, обогнул площадь и свернул в переулок, густо усаженный железно-черными кучами сырого назола. Глянув в короткий пролет переулка, Лука Григорьев сразу увидел голову своего мерина. Выгибая шею и шлепая волосатой губой, мерин хватал высокую, обкусанную пелену. Достигнуть цели ему мешала чья-то шустрая соловая кобыленка. Мерин отмахивался от нее хвостом, озирался, угрожая укусом. Кобыленка отбегала. Но как только морда мерина достигала пелены, кобыленка кусала его за бок и плечом сталкивала с места.

— Эк, какая ненавистная, стерва! — Лука Григорьев цыкнул на озорную кобыленку и потрепал мерина по морде шапкой. — Что, скучаешь? Ишь, губы-то развесил! Дурашка...

Услышав знакомый голос, мерин перегнулся через плетень и оскалил желтые зубы. Лука Григорьев испытующе оглядел его и с тайным злорадством отметил, что мерин похудел, шерсть на нем обвисла клоками, а обрезанный по самую репицу хвост, казалось, испорчен был в насмешку над старой, серьезной лошадью. «Скоро, черти, уши будут обрезать! Ума-то мало!»

В избе конюха играли в карты. На лавках, на полу лежала перебитая со-

лома, овчинные клоки, в просаленных наволочках подушки. И дух в избе стоял нехороший, пресыщенный запахом неснимаемого платья, табачного отстоя и кислой капусты. «Как в волостном клоповнике» — подумал Лука Григорьев и снял шапку.

— Ну, здорово, молодцы, живете!

На него глянули, но ничего не ответили. Конюха были молодые ребята, опухшие от безделья и сна безо времени. Играли они с усердием, стремительно выхватывали из рук карты и хлопали ими по столу изо всех сил. Самый большой из конюхов, белобрысый бобыль Степка Васютин, видимо, к приходу Луки Григорьева успел проиграться. Он с остервенением глянул на неожиданного гостя и вдруг гаркнул охрипло, со спекшейся злобой:

— Не жуль, а то в зубы! Хожу на всю!

Лука Григорьев закусил ус и тонко усмехнулся:

— Отсочал голосок-то. Тебе бы в дякона податься.

— А тебе чего надо? — Степка прижал к груди карты и выпрямился, заслонив оконный свет. Во всей его вытянутой фигуре, в лице, побуревшем от неожиданной помехи, было столько нетерпения и зла, что Лука Григорьев решил поскорее кончить свое дело и не мешать игре. Не обратив внимания на злобный запал Степки, он спокойно и строго спросил:

— Кто у вас тут за старшего? Я лошадь свою беру.

— Какую лошадь? — непонимающе спросил Степка.

— Слепую! Свою, какую же еще.

Ребята бросили карты и повернулись в его сторону. Степка, засунув карты в карман, выбрался из-за стола.

— Старший я, а правов раздавать лошадей у меня нет. Без записки не получишь.

Степку поддержали остальные. Лука Григорьев оглядел ребят и сказал тверже:

— Мне за записками волочиться некогда. Свою лошадь я завсегда имею право. Не дадите, я и спрашиваюсь не стану!

И он так решительно шагнул к две-

ри, что Степка сразу сдался, стал хмур и распорядителен. Одного из конюхов он направил «живой ногой» в правление колхоза, а Луку Григорьева заставил подписать расписку в том, что «собственную лошадь, буланого мерина, он получил в целости и исправности». Когда все формальности были закончены, Лука Григорьев, не дожидаясь возвращения посланного за разрешением конюха, пошел на двор. Обращаясь буланого, он опасливо озирался на прясло в сторону переулка, ему чудился голос Гаврюшки, чьи-то шаги, и, чтоб успокоить себя, он степенно говорил ожидавшему Степке:

— В вашей пелене сласти немного. Как ты думаешь-то? В общем котле и лошади, брат ты мой, не сладко. Много ли на таком табуне перепадет? А в своей колоде моя лошадь сама себе бурмистр.

После он разыскал в ворохе сбруи свой хомут, седелку и дугу. Обряжая мерина, он и тут преисполнился жалости: сбруя была смята, унавожена, шлея местах в трех разорвалась, а на дугу и глядеть не хотелось. — до того ее за зиму ободрали. С тяжелым сердцем он вывел мерина на улицу. Степка глядел ему вслед растерянно и хмуро. За углом Лука Григорьев с проснувшейся живостью вскочил мерину на спину, закинул ногу и с места погнал рысью. От тряски заныло в животе, и в ушах родился шум. Сзади кто-то свистел. Краем глаза Лука Григорьев увидел между изб шапку Гаврюшки, шедшего ему наперерез. Но скоро все осталось позади: мерин, учув дорогу домой, прят ушами и все ускорял бег.

Встретила Луку Григорьева старуха. Она стояла за двором, прислонившись к верее и поджав под фартук руки. Подъехав к воротам, Лука Григорьев мешком свалился с лошади и еле устоял на затекших ногах. Старуха понимающими глазами перехватила его вопрошающий взгляд и раздумчиво сказала:

— Навзред пошел? Ах, мужик, мужик!

— Чего мужик? Думаешь, испугаюсь? — Лука Григорьев опять удивился обилию в голосе зла. Старуха



посмотрела на него и сказала еще тише и протяжнее:

— Скандал-то какой! На все село... И сына...

— Чего сына? — Лука Григорьев пустил лошадь во двор и, громыхнув дугой о полотнище ворот, сказал раздельно: — А сын подумал об отце, спросился? То-то! Жисть-то мою ломать у него смелости хватило? Но у меня тоже не свернешься!

И, угадывая мысли старухи, ему стало ее жаль, он затруднительно сморкнулся и еле слышно проговорил:

— А тебе и голову ломать нечего. Еще неизвестно, кто заплачет наперед, — он или я.

Луке Григорьеву уже верилось, что теперь Гаврюшка сдастся, значит он применил свою решительность правильно, теперь он опять может в доме держаться хозяином, и тупые сзади шаги всегда покорной ему старухи теперь веселили.

### 3

Тридцать пять лет Лука Григорьев держал в руках дом и хозяйство. Дом был в селе старинный, кондовой, слышший достатком и хорошими работниками. Отец, передавая Луке Григорьеву главенство в доме, говорил истово, взглядывая на старинную божницу:

— Дом этот наши отцы зубами сколачивали. Сроду ни за чем в люди не ходили. Помни это, Лукашка! Не рушь корень. Бог, он видит. Родная кровь из земли проклянет, ежели что...

И Лука Григорьев пошел в свою кровь. Вернувшись из солдат, он крепко взялся за хозяйство, отстранил старика от дел, предоставив ему полную свободу ходить на сходки и в церковь. Заботы скоро потушили румянец его щек, пролегли по лицу частыми бороздками морщин, замкнули тугими раздумьями рот. Он не помнил ни одной ночи, когда бы спал спокойно и досыта, не было ни одного дня, проведенного без дела, за праздным разговором. Зато сколько радости было в том, что все домовитые в селе хозяева ломали перед ним шапку, старики ставили его в пример нерадивым сынам, при встречах пространно, с грубой лестью говорили о достатке в его доме, о справной

скотине, о хороших, во-время посеянных хлебах. Слушая такие речи, Лука Григорьев крутил в бороде колечки и многозначительно улыбался. Но лесть не преисполняла его гордыни. Он с еще большей жадностью искал руками работы, все увеличивал посевы, выматывая силы своих семейных. Исстари держался дом его завилка: от чужого работника не ждал толку, а готовь ему увагу.

Померли старики. Начали подрастать дети: два сына и дочь.

Японская война разладила было хозяйство. Но Лука Григорьев отделался счастливо: в Сибирь не попал, пропутавшись с год в губернском городе, и после замирения немедленно приехал домой. В его отсутствие Павлина убавила посевы, прожила телку, зато ребята без него вытянулись, выглядели подростками. «Чорт с ней, и с телушкой, — решил Лука Григорьев, — а с такими ребятами мы теперь гору своротим».

Ребята радовали отеческое сердце, были горячи в работе, не отговорчивы на посыл и не падки до ребячьих забав. Особенно старший, Ванька, высокий, — в материну породу, — голубоглазый, ловкий. Рядом с ним младший Гаврюшка выглядел увальнем, был медлителен на соображение, но упрям и силен.

— Совсем малый ничего, — говорил Лука Григорьев Павлине в минуту раздумий, — чуть бы ему только пошароваристой быть и рот не держать нараспашку.

— Выбьется, — успокаивала мужа Павлина, тая свое недовольство меньшим сыном, не отличавшимся лаской и приветливостью к матери.

— Выбьется-то, может, и выбьется. сейчас-то только какой-то курдюк, и сопит все, сопит, будто что обдумывает.

И так уж сложилось: Ванька готовился родителями занять их место, на него возлагались все надежды, а Гаврюшка был в стороне, держался в семье особняком. И от того ли или по другой какой причине Гаврюшка рано привязался к книжкам, завел дружбу с учителем, а на семнадцатом году неожиданно сказал отцу:

— Отпусти меня, батя, на сторону, в Москву. Авось дома вдвоем управятся.

Лука Григорьев сначала опешил, в руках у него появился зуд и желание привести малого в ум, но тотчас же мысли приняли другой оборот: в доме полная управка, лишняя копейка со стороны не повредит. И неожиданно для Павлины он сказал миролюбиво:

— Что ж, хорошее дело. Поезжай. Но помни одно: чуть что, на глаза не показывайся.

Было это перед самой войной, когда Луке Григорьеву начинало казаться, что дом его приближается к богатству, и сам он достиг той высоты человеческого века, сорока пяти лет, когда голову затягивает паутина мудрости, а тело еще молодо, полно неистощимых сил. В этом году он наметил покупку двух душ земли, подпаивал безродного бобыля, тратил на него копейку в надежде вернуть ее рублем. На осень была назначена и Ванькина свадьба (брали из хорошего дома, с приданым и с десятиной земли). Слагалось все очень складно, как всегда бывает перед неожиданной бедой. Даже не помнилось о Гаврюшке, который не слал ни денег, ни писем.

— С отбившейся скотины не жди шерсти, — махнул рукой Лука Григорьев и загадочно усмехнулся Павлине: уж очень большие удачи ожидали впереди.

Но так всегда бывает: ты на гору, а чорт тебя под гору. Лето разрушило заманчивые планы. Грянула война. Взятии двух лошадей. А к осени вместо свадьбы гулял Ванька где-то на юге, шагал в серой массе солдат, распевая деревянным голосом: «канареечка жалобно поет».

И наконец, когда рану в сердце начало затгивать рубцом примирения с неизбежным, последовал самый тяжелый удар: Ваньку убили на Карпатах.

Обвисший, помутневший, Лука Григорьев за два дня из черного мужика превратился совсем в серого, стал тих, возымел слабость подолгу в ночи говорить со старухой и, заботливо жуя губами избяную тьму, не раз жаловался:

— Блаже б меня уходили вместо

Ваньки. Ах, малый, малый! Весь мой упор в ём был. Хороших берет бог, а дрянь всякая...

Он не упоминал имени Гаврюшки, хотя оно и вертелось на языке: была еще в опустошенном сердце надежда встать на ноги и опереться на второго сына.

Павлина, проплакавшая по Ваньке глаза, отвечала покорно:

— Знать, так вышнему угодно. Роптать грех. А Гаврюшка, может, еще справится, вернется. Он малый ничего...

Гаврюшка приехал домой совсем неожиданно. За всю войну он прислал всего два письма и теми принес огорчение. В одном извещал о том, что и его призвали в армию, а во втором делился радостью по поводу появления у него первого сына.

— Спасибо, сынок, — со слезовой укоризной сказала Павлина на второе письмо. — Женился без нашего согласия, а детей рожать и вовсе спрашиваться нечего.

Лука Григорьев смолчал, только сухо скрипнул челюстями.

Приехал Гаврюшка в самую развалюху, когда деревенские старухи начали ждать конца света. «Хлеб на вес стали есть, самое время архангелу в трубу трубит». Привез с собой Гаврюшка жену, двоих детей и три корзинки. В избу он вошел так, словно только вчера из нее вышел, с родителями говорил открыто и во весь голос. Ту же манеру переняла и жена его Настасья, красивая, белая баба, улыбающаяся сахарно, но зло.

Жизнь скоро наладилась. Сноха-московка была сильна, работала весело и споро, Гаврюшка, пообтершийся на стороне, выглядел расторопнее, стал разговорчив. Луке Григорьеву полегчало. Из революционной передраги хозяйство его вышло здорово потрепаным, но не настолько, чтоб отказать от его расширения. Опять зароились в голове планы, опять появилась забытая радость от прибытков, и в веселую минуту Лука Григорьев довольно гладил бороду, упирая взглядом в землю:

— Мы еще постоим. Кто работать не любит, тому, верно, ложе подходит, а мы от работы не бежим.

Он мало обращал внимания на то, что Гаврюшка часто ходил в совет, зимние вечера проводил в читальне, — его это не касалось, главное, сын не делал ущерба работе, был послушен, не пил и блюл домашнюю копейку. И успокоенному сердцу Луки Григорьева рисовалась в будущем счастливая старость, почетная, величаявая старость хозяина.

По осени они с Гаврюшкой разбили новый сад. Дедовский исчахвел весь от старости, и яблоко с него было мелкое, изъеденное паршей. Прививки брали в совхозовском питомнике. Лука Григорьев выбирал исключительно озимые сорта («яровые ребятишки обобьют до времени»). Сад раздвинули до самой риги, и в дальнем углу, где тесной семейкой стояли молодые липки, Лука Григорьев облюбывал место для пасеки. «Не пасека выйдет, а прямо скит, от грехов спасться».

Яблони сажали под вечер. За рдяными шапками липок горел закат. Небо, очистившееся от дневной наволочи, стало бирюзово-синим, далеким. Голоса отдавались четко, и смех Настасьи, помогавшей мужу засыпать ямы землей, звучал хрустально. После посадки был необычайно сладостен ужин. Ели поджаристую картошку с твердыми, последнего сбора, малосольными огурчиками. Все ели с аппетитным хрустом, от картошки шел пар, и будто от него потели окна, загоняя в избу теплоту вечернего уюта.

Лука Григорьев всегда любил предзимье, когда дом, набитый запасами, сыто кряхтел утепленными дверями, пропитывался запахом капустных листьев, вялой моркови и свежей находавшей соломы, принесенной на ночь в избу. В это время хорошо по вечеру вить веревку, слышать при этом веселый гул прялок, хруст на зубах у детей капустных кочерыжек, — тогда, казалось, не нужен весь белый свет, и наскоки, свист за стеной ветра только подчеркивают уютность и теплоту береженого гнезда.

И в этот вечер после ужина посетила осенняя тихость. Старуха разбирала у печурки волну, отделяя черные клоки на валенки, Гаврюшка выстругивал ножом Митьке ящичек для каранда-

шей, сопел, кривил губы, и на лицо ему спадали со лба косицы отросших волос. А Настасья — Лука Григорьев давно уж примирился с говорливой московкой: хорошая, доделистая баба! — чинила какое-то тряпье и вполголоса напевала:

Позарастали стежки-дорожки...

Голос ее ударялся о печной угол и будто жаловался кому-то на то, что прошлое скрылось и никогда не повторится.

Разглядывая под лампой свое мастерство, Гаврюшка тыльной стороной ладони смахивал со лба волосы и раздумчиво тянул вслед за женой:

где проходили милого ножки...

Ах, мать вашу хватать! Лука Григорьев жевал прядку моченца, подавляя спирающуюся в груди радость: все это породил он — и тишину теплого, достаточного дома, и Гаврюшку. И эти ребятишки, липнувшие к матери, и самая песня будто придуманы для того, чтоб скрасить этот вечер и возвеличить спокойствие его отеческих дум.

#### 4

От мирских дел Лука Григорьев сторонился всегда, и революция не приучила его к собраниям.

— Прокалганись там полдня, а толку нисколько. Все равно возьмут, сколько полагается, за сиденье не почтут.

И он очень был доволен, когда Гаврюшка изъявил охоту ходить на собрания.

Стороной он слышал, что Гаврюшка «ворочает делами», дружит с коммунистами, держит речи и пользуется в селе почетом. Но это не меняло его отношения к сыну.

— На людях он будь хоть прокурор, а у меня в дому я над ним всегда выше, — говорил он старухе, но та видела, что почет, оказываемый сыну, старику приятен.

С собраний Гаврюшка приносил слухи о пятилетке, о колхозах, он пробовал убеждать жену и мать в том, что по-старому жить нельзя, что наступают новые времена и пора ломать дедовскую деревню. Лука Григорьев чув-

ствовал, что Гаврюшка обращается к матери и жене для отвода глаз, что речи эти направлены в его сторону, но он доводам сына внимал мало.

— Кому надо, пусть тот и ломает отцовскую, дедовскую, какую угодно. Нам пока и в дедовской хорошо. Кусок изо рта не валится.

— Да ведь за всеми и нам придется итти!—Гаврюшка настороженно взглядывал на отца, и в глазах его появлялась муть сдерживаемого недовольства.

Лука Григорьев выдерживал взгляд сына и невозмутимо чесал подмышкой.

— Ну, мы, пожалуй, и за всеми не дюже пойдем. Эти разговоры хороши для собраний. Соберутся, надо же о чем-нибудь языком молоть. А для жизни это не годится.

Гаврюшка поджимал заросшие рыжей щетиной губы и как-то по-особенному, будто решившись на что-то, откидывал со лба прямые волосы. Лука Григорьев, чувствуя, что его речи не совсем сыну понятны, один раз объяснил свою мысль длиннее:

— Был у нас один такой, — ты его не помнишь, — Борис Долбенецкий. Звали его просто Долбушкин. Во-о какой здоровяк был, головой в потолок упирал, пузень, как у брюхатой бабы. Жрал он, что хорошая корова. Так этот самый Долбушкин каждый год какую-нибудь новость выкидывал. То сарай на другое место передвинет, то дверь в избе прорубит с другого бока. А крыльцо у него прямо летало с одного места на другое. Потом доломал в отделку, без крыльца жил. Все он новые фокусы придумывал, а в дому все равно ничего не прибавлялось. Не понимал он того, что от перестановы в доме прибыли не будет, только рукам работа, а голове туман. То же и у вас получается. Кому есть нечего, вот он и придумывает да разные манеры и наворачивает, а еды все не прибавляется. Как меру ржи не пересыпай, хоть горстями, хоть наперстком или сразу гребком, — все будет мера. Понял? И мое соображение такое, что надо наперед заставить всех работать, а тогда уж колхозы и всякие «озы» придумывать.

Гаврюшка выслушал его, наклонив побуревшее лицо. К их разговору прислушивалась Настасья. Она перекиды-

вала убыстрившийся взгляд с мужа на свекра, и, чувствуя слабость Гаврюшки, вступила в беседу. Она заговорила горячо, и с каждым словом щеки ее рдели, становились почти бордовыми.

— Да уж конечно так больше нельзя оставаться. За эти семь лет я на вашу деревню нагледелась. Отнеси лихая болезнь от вашей сытости! Сколько грязи! А работа! Ведь это каторга живая! Потом какой же тут порядок, когда один ест в три горла, а другой в кулак дует?

Лука Григорьев довольно разгладил бороду. Он понимал, что Настасья мелет чепуху не из своей головы, а просто обирает слышанное со стороны, желая поддержать мужа. Он настолько верил в свою правоту, что наскоки снохи, хоршевшей в споре, его тешили.

— Так, так, так. Про то же и я. И грязи много, и работы с остатком. А кто силу забрал, не прочесал во-время зад, у того и работы немного и в избе чистота. Вот и выходит то ж на то ж: работать надо, а не колхозы придумывать.

Гаврюшка ничего не сказал и после о колхозах речей не заводил. Только в его манере держаться появилось что-то новое, и это новое было весьма не по душе Луке Григорьеву. Сын начал говорить с отцом недомолвками, с усмешечкой, скалил зубы и все время переглядывался с женой. Он стал звать отца «купцом», подсмеивался над его скупостью, над сундучком, в котором Лука Григорьев держал деньги и хозяйственные документы.

Один раз Лука Григорьев не стерпел и, оторвавшись от сундучка, в котором искал квитанции на сельхозналог, спросил строго, еле сдерживая дрожь пальцев:

— Чему ты оскалешься, скажи на милость? Весело, иди на улицу, там и гогочи. Я тебе не насмешный. Понял?

Гаврюшка неловко повернулся на каблуках и, смущенно хохотнув, вышел из избы.

## 5

По первозимку их слободу созывали на собрание. Сельский исполнитель Ярыга, большой, до глаз заросший серым, жестким волосом мужик, раза три

стучал в окно осиновою клюшкой и громко выговаривал:

— Слышится? Все идить! Кто не придет, штрах!

— А пропади ты пропадом, как привязался!

Лука Григорьев вопросительно посмотрел на старуху и стал одеваться.

— Придется сходить... Вот колыбан народ стал. Так бы и собирался, так бы и калганил. Какую сладость разликали!

Он все ждал, что старуха его отговорит, но та, давно заметившая нелады в дому, на этот раз заботливо сказала:

— Зовут, сходи. А то набормочут на тебя чего, тогда и расхлебывайся. Теперь недолго и до греха.

День был ветреный, холодный. Недавно выпавший снег содрало с земли ветром, набило в застрехи, в колеи взвороченной дороги, смешало с пылью. Землю крепко схватило морозом, и сапоги гремели по ней, как по железу. Белесый рог луны висел над темными верхушками обтрепанного ветрами леса, висел вверх рожками, обещая ясную погоду. «Зеленя тронет, если не потеплеет» — подумал Лука Григорьев и тяжелым шагом пошел вдоль изб к месту собрания.

К началу он опоздал. Через головы баб он краем глаза увидел докладчика: кожаный верх шапки, темные брови и упрямый взгляд серых, водянисто-волглых глаз. Докладчик говорил растановисто, обрубая концы слов.

— Об чем речь-то тут? — спросил Лука Григорьев стоявшую перед ним бабу.

Та, не обернувшись, скороговоркой ответила:

— А чума его разберет! Кого-то кулачить, в колхоз всех упрашивает. Да ты слухай сам, авось не оглох!

— Вот пьвалка! — пробурчал Лука Григорьев и подставил ухо в сторону докладчика. Слушал он внимательно, но понял мало. В ушах остался только отзвук сильного голоса и отдельные выкрики. Он растерянно оглядел ближайшие лица и с удовлетворением отметил, что и другие тоже не вот сколько поняли.

И вдруг заговорил Гаврюшка. Лука Григорьев в первый раз слушал речь

сына, в нем появилась робость, он с трепетом ждал, что вот-вот Гаврюшка сорвется и кругом засмеются. В волнении он не поднимал глаз от земли и изо всех сил сжимал в карманах кулаки.

— Нам всем ясно, товарищи, — говорил Гаврюшка, — ясно, что теперь перед нами один путь. Надо строить колхозную деревню. Только через общий труд мы придем к социализму, только сообща мы сможем жизнь свою сделать культурной и социалистической. Всех, кто нам будет мешать, — а таких среди нас довольно много, — всех таких мы вырвем с корнем, мы укажем им отдаленные места, как говорил докладчик.

Когда Гаврюшка закончил речь, Лука Григорьев вздохнул с большой легкостью. Пожалуй, в эту минуту ему неважным были слова Гаврюшки, — их смысл был от него далек, — главное было то, что он кончил и ни разу не запнулся. И, не сдерживая довольства, Лука Григорьев глянул в лицо стоявшему рядом рябому Климке и подкинул головой на сторону.

— Вот, брат, как набастрычились! Кроют, как по-печатному.

Климка поглядел ему в глаза и сдвинул челюсти так, что под рябой кожей набухли сухие желваки.

— Им, суженым детям, припечатать как следовано! Иль языки повыврять!

Лука Григорьев огороченно попятился и растерянно потянул:

— Уж и вырвать. Больно ты зёл, Климка.

— А зёл, так отвязьись! Чего льнешь? Сына твоего послухать? Как же, держи! Я б ему нагадил в поганую рожу!

Выкрик Климки потонул в общем гаме. Кричали все, вытягиваясь на носках, тянулись к столу, и многие сучили кулаки. Потом в толпе произошла сортировка. Посамостоятельней мужики, те отошли в сторонку, за ними отхлынули бабы, а те, что победнее и погорластее, теснее придвинулись к столу. Лука Григорьевич хотел было тоже податься к сторонке, но в нем еще не погасло довольство Гаврюшкиной речью, он ждал от него еще какого-нибудь проявления ума и догадливости, чтоб сделать

полной свою отеческую гордость, потому удержался на месте. Шум его тревожил мало. Он даже не старался вникнуть в суть поднявшейся сумятицы: «Для того и собрались, чтоб пошуметь. Пошумят, пошумят, на том и кончат».

У стола, столкнувшись головами, несколько человек негромко вели совет. Вот они согласно распрямились и отошли в стороны. Гаврюшка, увидев отца, встал почти рядом с ним. А приезжий докладчик опять начал говорить. На этот раз он сказал мало:

— Чтoб не терять времени, мы, товарищи, давайте сделаем запись тех, кто согласен войти в колхоз. Этим мы сразу определим, кто за нас и кто против нас. Согласны?

Гаврюшка с силой мотнул головой:

— Согласны!

— Ну, начинаем! Подходите и записывайтесь!

Докладчик взялся за карандаш и пытливо посмотрел в лицо Луке Григорьеву. «Вот теперь самое время податься от греха взад — подумал Лука Григорьев и отставил одну ногу. Но в эту минуту Гаврюшка первый нарушил общее молчание:

— Еще не обсмелели. Ну, мы почнем. Пишите нас, Панфилов!

Лука Григорьев только теперь понял, в чем дело. В коленках у него появилась трясь, и глубоко-глубоко ухнуло сердце. Он схватился за бороду и оборванно спросил:

— Это как же так?

Гаврюшка оглянулся на него. В его взгляде была незнакомая жесткость и как будто приказание. Лука Григорьев потупился, закряхтел и почувствовал себя разбитым, как после недельной мольбы. Не поднимая глаз, он протискался сквозь тесноту армяков, полушубков и прямо пошел домой.

Первая уступка сыну не прошла даром. С того дня почувствовал Лука Григорьев за плечами шесть прожитых десятков лет, понял, что Гаврюшка вступает в свои права молодого хозяина, а его записывает в старики. И этот поворот на стариковское положение был настолько неожиданным, что Лука Григорьев не сказал ничего Гаврюшке ни после собрания, ни тогда, когда тот по зиме отвел на колхозный двор лошадей,

потом вывез из дома плуг, бороны и всю сбрую. Он только вздыхал и часами глядел в окно. Один только раз Гаврюшка, как бы опасаясь вмешательства отца, сказал предостерегающе, ни к кому не обращаясь:

— Ломаем до конца. Теперь ни с чем считаться не будем. А разные, которые, хотя бы и старики, чуть что, для них Нарыма хватит.

Лука Григорьев, поняв намек, ответил Гаврюшке с напускным базразличием:

— Ваяйте, ваяйте, раз ваша взяла. Сколь надолго только.

— Навсегда! — И Гаврюшка внушительно поставил на угол стола увесистый, мослатый кулак.

— Ну, дай бог час.

Зима прошла тускло. В селе творилось несуразное, в людях появилось отчаянное безразличие и несусветное зло. Десятка два домов, наиболее почитаемых в прежнее время, разорили до тла, а самих хозяев со всеми потрохами — женами, детьми и стариками — отправили неизвестно куда.

Гаврюшка совсем не жил дома, его запрягли и в совете, и в колхозе, и то, что он не торчал перед глазами, Луку Григорьева тешило. Он целыми днями сидел на лавке у печки, думал и одиноко жевал придуманные слова.

До того зимние дни были полны дел. Он чинил хомуты, плел плетушки, готовил к лету бабам лапти. Да и в доме всегда есть изьяны: прибить гвоздь, укрепить подпорку. Но теперь дел не было. Кинуть корм овцам, замесить корове, — много ли это для скучного зимнего дня от темна до темна?

Перед масляницей Лука Григорьев совсем помутнел. Появился кашель, отогнало сон, и днями он ходил, словно вареный, еле переставляя ноги. Зима была не люта, к сретенью потеплело, побурели верхушки леса, и к вечеру у порогов натаивали навозные лужицы. Обрубая у подвала порог, Лука Григорьев часто делал передышки, взглядывал в небо: в синеве его появилась робкая предвесенняя ясность, и облака, освещенные низким солнцем, были пухлы и легки. И вот эта лебединая легкость облаков будто толкнула в грудь. Вся жизнь вдруг встала перед глазами: лет-

ние зори, полевые ночи с томительным тюрюканьем сонных перепелок, праздники, троицкие гулянки. Он вдруг почувствовал себя попрежнему молодым, сидьным, голосистым. И, как тучка на ясном небе, стояло в памяти воспоминание о Гаврюшке, преждевременной старости, о нескладно прожитой зиме.

— Нет, видно побаловались и будет!

Он торопливо откидал от порога ледяные оскрётки, посморкался и твердой поступью прошел к крыльцу.

Вечером он мылся в жаркой баньке и говорил простоволосой, исходившей потом старухе:

— Пора эту грязь с себя сшвырнуть. Источила в отделку. Верно я говорю аль нет?

Павлина, соглашаясь с ним, переводила разговор на другое:

— Так-то оно так, только отощал ты дуже. Ишь, хряшки-то высохли как, кости считай.

— От такой жизни все пересчитаешь.

Вымывшись, они, легкие, будто снявшие с себя пудовую тяжесть, шли садовой дорожкой. Над ними узкой полосой висело вызвездившееся небо, снег под ногами сахарно похрустывал, и в голову Луке Григорьеву забредали веселые мысли. Он не сдержал в себе довольства и скрипнул смехом:

— Мы с тобой как молодые. Никто не мешает.

И голос старухи, шедшей сзади, отдал молодыми, волнующими нотками:

— И пра, мужик, молодые. Кругом два, больше нет никого.

С того дня началась молчаливая война с Гаврюшкой. Тот скоро смекнул, что старик к чему-то готовится, опять возобновил свои насмешки, делая вид, что пересмеивается с женой. Но Лука Григорьев понимал, куда метит сын, только теперь эти насмешки его трогали мало, он знал, что за все отплатит сыну за раз, огулом.

Опять возобновились разговоры о колхозе. Гаврюшка длинно толковал о том, что колхоз не только принесет всем сытость, но что он также в корне перестроит всю жизнь, люди сменят курные избы на светлые помещения, будут иметь чистое белье, постель и дети будут воспитываться по-человечески. Чаще всего говорили об этом за

едой. Тяжело схлебывая с ложки, Гаврюшка шлепал губами, роняя с них крошки.

— К примеру ребята. Вот нас воспитывали. Толчком, криком. В училище уходили со скандалом. Чуть подросли, запрягли в работу. А разве так можно? Надо ребенка вперед выучить, дать ему войти в силу, тогда и к работе привлекать. А мы не понимали того, и теперь все тянем за прежнее, будь оно проклято!

Лука Григорьев тяжело взглядывал на сына и с ледяным спокойствием отвечал:

— Вот за то, что тебя плохо выхаживали, ты отца по шее, мать по морде, Гаврюшка обиженно вскидывался:

— Чего молоть зря? Тебе о деле, а ты...

— И я о деле. Нам об емназиях-то некогда было думать, надо было сперва жрать приготовить. А то без тебя-то не знаем мы, что хорошо, что плохо.

— А теперь и сыты будут все, и дети по культурной дороге пойдут.

— И уж пошли! Гляди, как зашагали!

— И уж пошли! — вступала в разговор Настасья. — Вон уж и ясли, и детские комнаты отстраиваются. А когда это сроду было в деревне? Ну!

— Поглядим, поглядим, все увидим.

Лука Григорьев брал кусок хлеба и стукал ложкой по краю миски.

— Таскайте совсем!

Вот тогда и стал заметен скрип двери. Он словно напоминал о том, что Лука Григорьев медлит, оттягивает осуществление своего тайного решения, поддразнивал, уличая в трусости.

## 6

Гаврюшка пришел домой по-темну, когда мерин был уж водворен в конюшню и стоял около колоды, набитой мучнистой еще теплой резкой.

По тому, как глянула навстречу мужу Настасья, Лука Григорьев понял, что баба упомянула все, о чем говорили в избе старики, и передаст мужу со всеми подробностями. Но он не придавал тому большого значения и, как будто ничего не случилось, слез с припечка, сел на свое место, на коник, и кивнул старухе:

— Собери-ка пожевать чего-нибудь.

Ели молча. Гаврюшка то-и-дело клал на стол ложку, проводил ладонью по лбу и взглядывал на синее в легких морозных стрелках окно. Вылезли из-за стола, легли спать, — он так и не раскрыл рта. «Нечего сказать, вот и примолк» — решил Лука Григорьев и, поворочавшись на сбитой соломе, выискал боком потеплее кирпичик и завел глаза. Всю ночь ему снились хомуты, карты и лошадиный жесткий хвост. Потом он будто стоял на выськом помосте и укорял Гаврюшку, казавшегося сверху очень маленьким.

— Мое! — кричал он. — Понял? Мое! И я всему хозяин! Тебе хочется меня ото всего отшить, но еще рано. Я еще поработаю, да не как-нибудь, а приходи, кума, любоваться! Ты не имеешь...

Он не мог подыскать последнего слова, чтоб окончательно убедить хмурого Гаврюшку, да и говорить было очень трудно: в рот лезла жесткая щетина, она колола губы, он отсовывал ее, но она лънула опять.

Проснулся он неожиданно и увидел, что во сне он сполз с подушки и в рот ему набилась солома.

— А, стори ты на ясном огне!

Он выбрал из бороды, из усов солону и поглядел на окна: совсем обутрело. Старуха передвигала у печки тяжелые чугуны и звенела заслонкой. По избе двигалась Настасья. Постель ее давно была убрана.

И недовольный тем, что проспал, Лука Григорьев молча слез с печки, сердито прохнул об пол просохшими в печурке лаптями.

— Встал? — высунулась из чулана Павлина. — Что это ты нынче долго тянулся? Я уж будить собиралась.

Он ничего не ответил. Обулся, плеснул в лицо водой, в которой плавали звонкие ледяшки, и вышел в сени.

Опять в дверь рогом стучала корова, и опять потянуло долбануть ее чем-нибудь по лбу. Но в эту минуту из избы вывернулась старуха и подозрительно тронула его за рукав.

— Что тебе?

Старуха косила глаза и кивала головой на избяную дверь. И когда она увидела, что он не понимает знаков,

толкнула его к выходу на двор, вышла следом за ним и, оглянувшись на стороны, прошептала:

— Увел уж.

У Луки Григорьева отнялись ноги, но для себя неожиданно он спокойно переспросил:

— Увел?

— До светочка встал и увел. Глянула я в окно, а он уж сел верхом и погнал.

— Да, было дело! С добрым утром, папаша! Что, мама, сплетничаешь?

И старики окаменело стояли на месте, не смели поднять глаз на Гаврюшку, который победно озираал их и скалил белые зубы. Лука Григорьев чувствовал себя так, будто его поймали с краденым. Неподвижность тяжело легла на плечи, а стронуться с места нехватало сил. Наконец Гаврюшка, еще раз оглядев родителей, прошел мимо матери в сени и хлопнул избяной дверью. Лука Григорьев поднял лицо вверх и, отвернувшись от старухи, нескладно протянул:

— Да... дела... тово...

Разошлись они, словно побитые, и Лука Григорьеву жаль было не себя, а старуху.

Днем в избу неожиданно вошли чужие люди: председатель колхоза Грунюшкин и молодой незнакомый парень в черной кожаной фуражке с висящими наушниками. Лука Григорьев со сдержанным радушием подал гостям руку и пригласил сесть. Гости закурили, в незнакомый парень весело заговорил, улыбаясь в сторону Гаврюшки, прислонившегося к печке спиной:

— Ну, как же, папаша, буянишь?

— Как это буянишь?

Лука Григорьев тяжело взглянул на гостя, но тот выдержал взгляд и усмехнулся.

— Как же не буянишь, когда не хочешь в колхоз входить и лошадку жelaешь домой взять? Это что же получается?

— Да, так делать — модель плохая. Все общественное мнение гадишь, — подтвердил Грунюшкин и похлопал ладонью по картонной папке, поставленной на колено.

— Это что же, суд мне или как? — Лука Григорьев поднялся с лавки и испытующе оглядел гостей.



Грунюшкин опустил голову и смущенно разгладил коротко подстриженные усы.

— Какой там суд? Очень уж громко...

А молодой парень вдруг сдернул с головы шапку и хлопнул ею по столу.

— Дядя, не валяй дурочку! Понял? Сиротой не притворяйся! Мы с тобой по душам говорим, как с человеком, так и ты на нас не каурься. А то ведь у нас и другой напев есть в запасе.

— Ну так и запевайте! — Лука Григорьев опять сел на лавку и закинул ногу на ногу. — Я своим добром всегда могу распорядиться. Мне никто не указ.

— Это ты, отец, жестоко заблуждаешься. — Молодой парень вдруг придвинулся к Луке Григорьеву и положил ему на колено горячую пухлую руку. — Мы с тобой скандалить пока не собираемся. Зашли к тебе, почитай, познакомиться. А кстати и сын твой нам рассказал про этот спектакль с лошастью. Мы и решили навестить тебя, завести дружбу.

— Это просим милости. Мы от знакомства непрочь, и хороших людей никогда не обездоливали.

— Вот! И мы точно так же! А теперь слушай!

Парень говорил толково, сочно, речь его с чужестранным выговором была приятна. И сам он — широкий, складный, с упрямо посаженной светлой головой, голубоглазый и сытый — был приятен и будто давно знаком. Лука Григорьев подивовался, до чего молодой народ стал разговорчив и смел. Он отходчиво глянул на Гаврюшку, жевавшего задумчивую усмешку, и понял, что с лошастью он, пожалуй, в самом деле поступил необдуманно.

И по словам приятного парня вышло на то же:

— Что тебе теперь надо? Ты свое пожил, надо и сыну строить свою жизнь. Так и не мешай ему.

— Чужой век заедать нечего! — Это сказала, оторвавшись от шитья, Настасья.

«Куда иголка, туда и нитка» — неприязненно подумал Лука Григорьев. Слова Настасьи перебили поднявшееся в нем теплое чувство, запросившееся на-

ружу. Многие мог бы сказать он этому душевному человеку, ибо многое передумалось за долгую жизнь и отстоялось за бесконечные раздумья в эту нескладную зиму. И, ах, как хорошо бы было услышать проникновенный понимающий ответ чужого человека! Настасья своим жестоким словом напомнила о том, что не поймут его ни Гаврюшка, ни Настасья, ни даже старуха, — разве знает кто, что передумал он в темные ночи, вглядываясь в чернильную духоту печки?

Неведомо с чего зачесались глаза, и тугая связка перехватила горло. Он сжал челюсти и тяжело привстал с лавки.

— Это... — и махнул рукой. — Это жизнь моя лопается на части... Вот что!

И обернулся к молодому парню.

— Не знаю, как величать тебя... Миколай Миколаич? Так вот, свет ты мой Миколай Миколаич, ты мне золотое слово сказал. И за то тебе спасибо. Чужой век мне заедать не с руки. Я отступлюсь. Только мне это — во!

Он черкнул по горлу ребром ладони и как был, без шапки, в накинутах на плечи полушубке, вышел в сени.

С обеда пал туман. Он укладывался на обтаявшие крыши сараев тяжелыми клубами, и было похоже, что это тлеет солома и вот-вот из князька пробьется пламя. Воздух стал густ, и крики петухов были глухи и печальны. Только невидимые воды звенели певуче и радостно.

Садовая дорожка осела, налилась чистой водой. Молодые прививки покрылись потом, около них совсем обтаяло, и на бурой зелени прошлогодней травы, как кусочки папиросного табака, лежали заячьи следы.

Лука Григорьев вошел в ригу и сел на покосившуюся соломорезку. Подумалось: «Надо бы починить ножи, поточить косу, да зачем теперь?» В остатках овсяной соломы возлились и вспискивали мыши. И это родило хозяйскую мысль: «Перетряхнуть надо, выбросить мышиные гнезда, а то эта пакость до того измочит солому, что и овцы есть не будут. До стоит ли? Теперь в этом доме новый хозяин».

И вдруг Луке Григорьеву отчетливо вспомнилось, как вот в этой самой ри-

ге он в голубое весеннее утро наваливал в телегу семена. Пегий мерин не стоял на месте, кусал конец оглобли, а он, Лука, окрикивал мерина, мешая неглубокое раздражение со скрытым довольством от того, что у него такая справная лошадь. Роса была густа, апрельский холодок зябко вязал щеки и заползал в потные подмышки. Мешки тяжело давили плечи, но если бы они были тяжелее вдвое, и тогда он носил бы их так же легко и больше потому, чтоб показать свою силу отцу, стоявшему в воротах и следившему за ним. Вот на этом месте стоял тогда отец. Серый, погнутый годами, без шапки, в просторных валенках. Синие портки болтались на сухих коленках, сквозь полущубок выпирали острые кости лопаток. Отец крихтел и взглядывал на него большими мутными глазами, и ему тогда казалось, что отец сейчас заплачет. То была первая весна, когда отец остался дома, не вышел в поле рассеять. Остался по его настойчивому совету и все никак не мог примириться с мыслью, что первая пашня будет посеяна не им.

— А то, может, и я съезжу? А, малый?

— Куда тебе уж? Без тебя управлюсь. Лошади тут лучше замеси без меня да погляди за всем.

И старик все грустнее взглядывал на него, в глазах его появилась неведомая робость, он скрывал ее, вертелся около лошади: одергивал шлею, оглядывал колеса, трогал зачем-то борону. Это вмешательство старика тогда раздражало, и он торопился уехать.

Как сейчас, помнится, отец протрусил вслед за телегой до угла риги и тут остановился, схватившись за грудь. «А ты на лошадь-то позевывай! Слышишь? Она ленивая, идол!» — «Аль я не знаю?» — тогда крикнул он старику и еле сдержал в себе ругательство. Пока он ехал огородом, отец все стесял за углом риги, взмахивал рукой, кричал что-то, и легкий ветерок трепал на его голове серые вихры. Тогда не хотелось думать над тем, что без него будет делагь старик, чем заполнит пустоту длинного вешнего дня, но теперь отчетливо виделось: вот он, понурившись, еле передвигая ноги, вернулся в

ригу, сел вот так же на соломорезку, обнял ладонями серую голову и начал скучно думать о том, что жизнь его кончилась, что его место заступают другие, предоставив ему доживать век.

«Ах, батюшки мои, как нехорошо все творится!» — Лука Григорьев покрутил головой, но образ отца не исчез, даже стал явственнее. Если б вернуться назад эти тридцать пять лет! Бросил бы он пегого мерина, телегу, вернулся бы в ригу, обнял бы сухие колени скучающего отца и... В горле затеснило, и сами собой дернулись углы губ. «Есть старик в доме — убил бы, а нет — купил бы» — вспомнилась старинная пословица, и с ней как-то трудно увязывалась мысль о том, что он теперь сам на положении старика, и эта безжалостная пословица может относиться к нему. «Неужели и я стал старик?» Лука Григорьев поглядел на свои большие разработанные кисти рук, все в шрамах, с толстыми пятками несходящих мозолей. Пальцы со сшибленными ногтями толсты и уродливы. Узловатый переплет вен, похожих на концы толстой бечевы, был мертвенно лилов, напомнил отцовские руки, скрещенные на груди сверх погребального покрова. Но почему же мысленно он еще молод, будто вчера еще он ходил с отцом по этой риге, взглядывал ее углы после трехлетней солдатчины? Тогда он вертко оборачивался на каблуках, сдвигал на затылок фуражку: его радовало и то, что в доме все идет чередом, и то, что отец, охмелевший, слегка болтливый, докладывал ему обо всем, как вернувшемуся в дом хозяину. На выходе из ворот он тогда споткнулся в подворотню, ловко подпрыгнул, а отец, поддержав его за локоть, сказал ласково: «Так и надо. Падать не годится».

В четырехугольник ворот виден мокрый сад, будто затянутый в голубую кисею. По току, покрытому жидким снегом, щеголевато ходили грачи и, блестя черными бусинками глаз, на каждом шагу тукали под ноги ногами, недовольно вскидывали вверх головы и, будто жалуясь кому-то на голод, коротко кричали.

Плечи стянуло сыростью, и волосы на голове стали, как моченая шерсть.

— Ну, видно, думай не думай, а сто рублей денежки, — сказал вслух Лука Григорьев и вышел из ворот, вспугнув грачей. Шел он ко двору медленно, и сам чувствовал, что походка у него стариковская.

## 7

Для постороннего человека всякая вещь в доме имеет цену только в том случае, если в ней есть надобность. Но когда эти вещи сделаны своими руками, они, как листки ненаписанной книги, таят в себе всю повесть прожитой жизни, и потерять какую-либо вещь так же тяжело, как хоронить родителей.

Лука Григорьев почувствовал это впервые, когда увидел, что вещи, сделанные им, береженные, в руках Гаврюшки обесценились, он распорядился ими, не замечая их. И он долгие дни тупо думал над тем, почему сын получает права на вещи отца, почему сыну дано право отнимать у отца последнюю утеху — воспоминание о прожитом, горькую печаль об ушедшем? И он чувствовал вековую силу вещи: владеешь ею — ты хозяин, ты полноправный человек, а отняли у тебя ее — и сразу тебе начинает думаться о смерти, ибо нечем заполнить дни. Не потому ли и дети с таким рвением хватаются за хозяйничанье домашней обиходностью? Потерявший власть над вещью старик мгновенно теряет право приказа, делается в доме лишним, которого, по народной пословице, не грех и убить.

Не мог забыть Лука Григорьев того, как небрежно выкидывал Гаврюшка из амбара хомуты, дугу, приготавливаясь свезти все на колхозный двор. Не знал он того, что выкидывал не хомуты, а перетряхивал его душу, ибо хомуты, седелки, уздечки, сани, телега, не говоря уж о сохах и бороне, все это было сделано его руками, он помнил каждый стежок на коже, каждую зарубинку на деревянных частях. Не знал Гаврюшка того, что клещи пахотного хомута он делал в ту пору, когда Павлина мучилась в баньке Дашкой. Он тогда сидел в избе. Коптила лампа. По лавке бегали Ванька с Гаврюшкой, оба в красных белым горошком рубашках,

босые, распоясанные. Они ели черствый хлеб и звонко смеялись, пугаясь своих на стенах теней. А он у стола строгал ножом клещи. Дерево попало с прожилками, крепкое. От костяного черенка ножа ломило ладонь, но он, забывая про боль, все обстругивал, мысленно бродя по стежке от двора к баньке. В ушах стоял истошный вопль жены, сердце схватывала щемящая боязнь лишиться хозяйки, и пугливо думалось о том, что на этот раз бог не помилует Павлину, он останется один с ребятишками. В волнении он бросал работу и подходил к лавке. Ванька толкал его в бороду, не слушая его жалобных слов: «Сынок, тебе мамку жалко?» В глазах детей сквозили немощная радость и святое неведение. Он опять строгал, оставляя на блестящем дереве слезовые следы своих взглядов, в которых была и жалость, и боязнь, и тихая любовь к ребятишкам.

Вот что значит этот хомут!

И разве знает Гаврюшка, что глубокий, теперь уже поистерший след на левой клеще он сделал в тот момент, когда в сенях стукнула дверь и по земляному полу тяжело протопала бабка. Что она несла? Радость отцу нового человека или скорбную весть? Он тогда не подал виду, что трепещет, изо всех сил нажал на нож, сломал лезвие и чуть не испортил поделья. Бабка ввалилась в избу крутая, улыбающаяся, говорила складно, и от нее весело пахло разогретым мылом. Она принесла теплое в своей радости известие, и он в волнении забыл и про сломанный нож и про нескладный надрез.

Все прошлое, вся жизнь связана с тысячей перебивших в руках и уцелевших вещей! Смерть отца всегда приходила на ум при взгляде на сбитую, с вытершимися петухами дугу, что купил он в городе, когда ездил за покупками для похорон. Рождение Ваньки связано с сундучком, в который он положил тогда миткаль и ситец, купленный «на зубок» первому сыну. А сколько мыслей, планов, веселых надежд и злобных огорчений осталось существовать вместе с вещами, сделанными им самим! И разве не вещи, не обилие их и добротность давали ему

радость, уверенность и гордость перед соседями? И чем вызывался почет, слава хорошего хозяина, разве не ладной запряжкой, когда он проезжал по селу в новой телеге на сытой, играющей лошади, сиявшей медными бляхами и потряхивавшей голубой с желтыми цветами дугой? Разве не было радости, когда он в новом полушубке, в новом тулупе и в мягких пояркового валенках шел селом в церковь, а впереди него шли два сына — тоже в новых, красной дубки, шубах и нескладно, но добротнo шагали в новых каляных валенках?

Чем же теперь отметить ему свои дни, раз надо всем домом начал хозяйничать сын и раз он всю домашность готов сдать колхозу?

«Сам-то распоряжался, это уж так-сяк, а то всякая сволочь твоим добром помыкает». В этом была самая боль обиды.

Гаврюшка приходил домой поздно, наспех ел и тотчас же ложился спать. Только один раз, было это под страстную субботу, он вышел после ужина на крыльцо и, закуривая, сказал в сторону Луки Григорьева, сидевшего в уголку на скамейке:

— Через день думаем сделать начин севу.

Он сказал это так, будто хотел знать мнение отца. Лука Григорьев ничем не выказал своего тайного довольства («хорошо, хоть умных людей спрашивают»), равнодушно и скупо ответил:

— Теперь самое время. За день-два поле за милую душу продует.

Гаврюшка переступил с ноги на ногу и тем же тоном сказал:

— Насилу справились. То с плугами, то со сбуей возились. Это наладили, теперь с народом крутежка. С непривычки все толкутся, а без смысла.

На это Лука Григорьев не знал, что сыну ответить. Он мало интересовался делами колхоза, да и не верил он в эту затею, раз смешали в одну кучу и хороших работников и записных лодырей. Ответил он единственно из желания не дать беседе погаснуть:

— Получается рак, лебедь и щука?

— Не щука! — Гаврюшка раскурил цыгарку, осветив себе усы и кончик носа. («Похудел, с пустым делом-то свя-

завшись» — отметил Лука Григорьев и зябко поежился).

— Не щука! — опять сказал Гаврюшка, и в голосе его звякнуло раздражение.

— Все думают, что в колхозе и работать не надо. В начальники все лезут. А скажешь какому чудаку поперек, он орет: «Эксплоататор!»

Лука Григорьев сочувственно тряхнул головой.

— С народом, известно, колготы не оберешься. Всгалу будет больше, чем толков. Побьются, побьются, и придется бросить.

— Бросить? — Гаврюшка стремительно повернулся и выпалил скороговоркой:

— Ты зря говоришь. Теперь не бросим. Раз взялись, то не оторвемся, а оторвемся, то уж с мясом.

После ухода Гаврюшки Лука Григорьев сидел еще. На селе затейно выпиликивала гармошка, а с реки доносило чьи-то крики. И такая в ночи была теплынь и тихость, будто на землю неожиданно сошел мир и погасил все волнения и людскую оголтелую злобу. «Значит не обиделся парень-то» — подумалось Луке Григорьеву, и от этой мысли стало теплее.

В поле колхозники тронулись артелями по восемь плугов в каждой. Выехали вперед завтраком и тянулись в поле без сляски, часто останавливались, выправляли постромки: неспаренные лошади кусались и шарахались от кнута. Лука Григорьев стоял за ригой, следил за проходившими по переелку пахарями, и у него было желание выйти на дорогу, накостылять по шее кое-кому из молодых ребят, крикнуть при этом на всех так, чтоб у них глаза на лоб полезли. «Дьяволы, день белый. Хороший хозяин давно б напыхался. Ишь, идут, как поденщики!» И в раздражении он отвертывался, глядел на полевой взгорок, по которому шли сеялки, будто плыли в жидких волнах полевой пари. И его так потянуло на пашню, захотелось пройти лехи две с тяжелой севалкой, проложить в творожисто-рыхлой земле широкие следы и разгоряченному, со сладкой мутой в глазах возвратиться к телеге за зерном!

Весь день Лука Григорьев провел в риге, раскидал по току мокрый навоз, после осмотрел каждый прививок, а из головы все не уходила мысль о том, что сейчас люди пашут, потом будут у телег закусывать черствым хлебом с молоком или с куском жилистой ветчины, а над их головами будет сочный хруст лошадей, склонившихся к тележному ящику.

И вечером, когда пришел почерневший за один день Гаврюшка, Лука Григорьев не утерпел, сказал со сдержанной насмешкой:

— Коли всегда так будете работать, немного нам перепадет колхозного хлебушка. Встал в обед, лег в полднях, — это не модель. Куры смеются.

Гаврюшка долго молчал, отвернувшись к окну, и Лука Григорьев видел, как у него побурела шея, и уши стали совсем сизыми.

Старуха перекинула тревожный взгляд с мужа на сына и укоризненно качнула головой:

— Э-эх, язвения! Помолчать не можешь.

И после нее было странно слышать усталый голос сына, сдержавшего прилив раздражения:

— Плохо, говоришь? И мы знаем, что плохо. Критиковать сейчас все охотники, а помочь делу нет никого.— Он поглядел на бороду отца широколицыми, волглыми глазами. — Ты знаешь, как надо лучше? Ну, вот иди и налаживай.

— Я? — Лука Григорьев дрожанием пальцами провел по бороде. — Мне отставку дали. Сам же старался... в старики перевесть. А теперь...

— Старался? — Голос у Гаврюшки стал трогательно глух и тепел. — Ни о чем я не старался. Что б не мешал ты, я этого хотел, да. А сейчас нам не важно — старик или молодой. Понимаешь дело, так иди, ворочай.

Лука Григорьев закусил бороду и подтряхнул на плечи полушубок.

— Годков бы десять скостить. Я б вашим пахарям показал!

## 8

Поле, как всегда, встречало покорное, как всегда манило плетучей вязью

дорог, нежным изломом горизонта и густой чернотой глыбистых пашен. Но на этот раз находил Лука Григорьев в знакомых очертаниях поля нечто другое, незнакомое, будто видел неожиданно помолодевшее лицо близкого человека. Такую же перемену он чувствовал и в себе: не было у него прежней завистливо-замкнутой складки губ, взгляда исподлобья на чужие пашни и чужой труд соседей, выехавших раньше его в поле, не тяготило одиночество.

Он ехал на возу с семенами, ехал на чужой телеге, на незнакомой кудой, с рыжими меж ушей вихрами лошади. В первое время неприятно подумалось, что он наподобие работника получил хозяйскую снасть, и впереди бесконечный день работы — чужой и ненавистной, но шум движения большой артели, голоса пахарей, ехавших верхом вслед за телегой, разгоняли противный осадок, и мысли бежали по другому пути. Вон мелькнула крыша его избы с седым завитком невозного дыма, угол риги. Как недавно стоял он вон у тех липок и неприятно думал о людях, лениво тянувшись этой дорогой на невеселый труд! Всего два дня тому назад, а кажется, было это давным-давно. Со вчерашнего дня, когда его вызвали в правление колхоза, прошла целая вечность, ибо за это время он успел поругаться с полководом, высидел длинное заседание производственной комиссии, осматривал оснастку лошадей, семена, обехал с Груньюшкиным почти весь яровой клин. «Человекам десяти уж враг лютый стал, и за такое малое время». Лука Григорьев раздумчиво улыбался и косил глазом на пахарей, четко вырисовывавшихся на золотистом небе и казавшихся зелеными. Они разгуливали сон, переговаривались все веселее и шли за телегой почти в упор. «Собрались артелью, вот и ржут, жеребцы стоялые. По одному б ехали, теперь бы в грядущку телеги досыта наклонялись».

Многое из того, что случилось за последний год, не понимал Лука Григорьев. От того часто терялся и чувствовал себя дураком. Растерялся он и на этот раз, когда прибежал к нему по-

сильный от Грунюшкина. Лука Григорьев, проводив посыльного, долго силлся угадать — с добром этот посыл иль с худом. Он сидел на лавке, кряхтел и потирал ладонью неизвестно с чего вдруг занывшую грудь. Павлина, почуявшая волнение старика, опасливо взглядывала на него, потом не утерпела, промолвила:

— Да сходи. Авось, не с'едят.

— Меня? — Лука Григорьев глянул на старуху так, будто перед ним стоял сам Грунюшкин. — Ну, это у них кишка слаба, чтоб меня с'есть! Подавятся! Я, брат, им сам покажу, почем сотни гребешки!

— Ну вот и иди.

— А ты думаешь, побоюся? За первый сорт схожу.

Но этот прилив решительности здорово убавился с выходом на улицу. «Враг их знает, что на уме-то у них».

Когда он поднимался на ступеньки крыльца поповского дома, в груди холодело и в горле отдавало сухотой. И Луке Григорьеву казалось, что все видят, как он, домовитый, самостоятельный мужик, только недавно выступавший на борьбу с колхозом, не устоял на своем слове, сдался и сам переступил ненавистный порог. Ссутулившись, пролез он в дверь и чувствовал, как от стыда у него потептели кончики ушей.

Грунюшкин встретил Луку Григорьева почти равнодушным оглядом. Он только что кончил ругать трех парней, накануне поломавших плуги и проболтавшихся в поле без дела полдня. Ругань, видимо, утомила и Грунюшкина, и неудачных пахарей, он отходчиво догваривал последние угрозы, а парни с остатками виноватости ковыряли ногтями мозолистые ладони.

— Черти! — Грунюшкин влагал в это слово оставшуюся злость. — За прогуленных полдня вам отцы шею б отмотали. А за струмент по затылку б прибавили. А тут вас не бьют, вы и норовите все броском, через колено! Не хочется пертить политику, а то переломать вам шею, вы б в следующий раз либо сломали, либо подумали! Ну, ступайте. Только помните, дураков и в церквях бьют.

Когда ребята ушли, Грунюшкин, все еще хмурый, пододвинул к себе пустой стул и указал на него Луке Григорьеву.

— Сядь. Дело есть. Говорить много не будем. Понял?

— Чего ж разговаривать? — осторожно ответил Лука Григорьев и приспустился на краешек стула. «Сажает, умасливает, демон клокатый, а после долбанет чем-нибудь. Неужели Гаврюшка чего стрепал?»

— Ну, вот. — Грунюшкин погладил ладонью лежавшую перед ним бумагу. — Слушай и не перебивай. Тебя мы знаем как хорошего хозяина. Верно, верно! Нам такие сейчас позарез нужны. Чтоб других подтянули и сами б не прозевали. Если таких мы не подберем, то всю кампанию програчим. Понял? А если мы первый блин сварнакаем комом, то какая же это будет показательная агитация для других? Вот мы и решили в первую голову тебя привлечь к работе. Дадим тебе участок, прикрепим к тебе артель, ты и ворочай, с тебя и спрос будет. Старшим назначим тебя, главарем!

— Меня? — Лука Григорьев цапнулся за бороду и до боли закусил кончик пальца.

— Тебя, а кого же? — Грунюшкин поглядел ему в лицо усталыми серыми глазами и утомленно улыбнулся. — Валий, валий! Знаю, скажешь, из годов вышел, с молодыми трудно справиться, но мы вот работаем и со старыми и с молодыми. Сделаешь, ну? — Он протянул Луке Григорьеву широкую ладонь и улыбнулся шире. — Вот и отлично! А старый конь борозды не портит. Час добрый!

Он тогда не ответил Грунюшкину, не нашел слов. И теперь еще было неловко за свою недогадливость. Лука Григорьев в смущении тронул вожжами лошадь, нескладно вскинул голову и ни с того, ни с сего крикнул, обернувшись назад:

— Пошевеливайтесь, ребята, лом вас сломай!

Стало неловко вдвойне, но в этой неловкости было что-то ребячье, далекое, дорогое и глупое.

Дорога упала в промывину. Лошадь, не послушавшись вожжей, с самого верха тронула рысью и легко вынесла грузную телегу на возволк. «Мягкая лошадь и с головой» — одобрительно подумал Лука Григорьев и сейчас же вспомнил, как он отрекся от своего тяжелозадного и норовистого мерина.

Они ходили по колхозному двору: Грунюшкин, Гаврюшка и секретарь ячейки — тот самый Николай Николаич, который «исповедал» его за проделку с лошадью. Лука Григорьев держался рядом с Грунюшкиным, хозяйственно обсуждал все колхозные порядки. Грунюшкин вдруг обернулся к нему и плутовато подморгнул левым глазом:

— Небось, на своей лошади подумаешь работать? А?

Этот вопрос обжег Луку Григорьева с темен до пят. Он огорошенно потупился. «Лучше б ты меня обухом хватил» — хотелось сказать ему, но в груди нехватило воздуха. И большого труда стоило ему поднять голову и глянуть в лица притихших в ожидании его ответа людей. Эта минута была тяжела, ибо приходилось раскаиваться в былой глупости, отречься от того, во что верил и за что держался всю жизнь. Помогли веселая хлопотливость прожитого дня и доверие, высказанное ему этими хорошими и простыми людьми. Он твердо глянул в лицо Грунюшкину и сурово выговорил:

— Это, пожалуй, будет лишнее. Теперь все лошади свои. А наговоры могут быть большие.

Николай Николаич молча переглянулся с Грунюшкиным и вдруг хлопнул Луку Григорьева по плечу.

— Верно, бригадир! Начинаешь понимать политграмоту.

И весь остаток дня Лука Григорьев таил в себе теплые искорки довольства от этой похвалы и чувствовал, что эти слова Николая Николаича для него дороже мерина, сбруи, дороже всего береженого отцовского дома.

День был долог, как бесконечная чернота рыхлой борозды.

Лука Григорьев шел за первым плугом.

Шествуя за плугом, Лука Григорьев чувствовал за спиной неприязнь и ко-

дые взгляды пахарей. Они ничего не говорили ему, но по их переглядам он догадывался о том, что без него они не так скоро закончили бы завтрак, не понукали б лошадей и на поворотах чаще б закуривали, собираясь в кучку. И они не делали остановок единственно потому, что не хотели отставать от него, из ребячьего самохвальства не уступить в работе старику.

«Я вас проманежу!» — Лука Григорьев ухмылялся, еле разлепляя ссохшиеся пропыленные губы, и все пошевеливал лошадей. Под мерный скрип плужка, под раздумчивое отфыркивание лошадей думалось легко и просто — о себе, о людях, о земле, и в этих думах он улавливал кончики какой-то неуловимой, но необычайно важной мысли. По нескольку раз он возвращался по пути пробежавших мыслей, пытаясь уловить это главное. Вот он пашет. К вечеру его артель должна завершить посев всего клина в двенадцать гектаров. Вечером он забежит в правление и доложит о работах Грунюшкину. Да... Ага! Вот это самое. Раньше предстоящая работа рисовалась ему рядом пашни, по которым он должен пройти. Вид обработанных полос с метой на углу — вот желанный результат всех его усилий. Сейчас все представляется по-другому: его работа — это не пашни, не пройденные плугом борозды, это — право смело смотреть в глаза Грунюшкину, право возвысить голос на нерадивого работника, право сознавать, что он нужен людям, колхозу, нужен в той жизни, которую зачинает эта артельная, колготная, веселая весна!

Домой Лука Григорьев пришел потемну. Прежде чем подняться на крыльцо, он заглянул в освещенное окно. Домашние ужинали. Старуха стояла у стола с кринкой молока. Гаврюшка, отстраняя мать рукой, сказал с грубой ласковостью:

— Нам хватит. Отцу оставь. Небось, намотался...

Лука Григорьев расслабленно ухватился за крылечный столбик: дом встречал хозяина отверстый, родной и теплый сыновьей лаской.

Сентябрь—октябрь, 1931 г.  
Рязань.

# Закон жертвы

Рассказ

С. ЛЕВМАН

День этот повторялся бесконечное число раз, и Плимен потерял счет этим повторениям.

Начинался день бесшабашным великолепием рассветного неба, молочным туманом в степных балках, мертвенно-зелеными пятнами озимки. День мчался по степи, как пожар, смерть понукала лошадей, и в сером дыму пылающих полей отчаянная казачья сотня прорывалась на Ново-Златополь со стороны Гуляй-Поля. На площади, у старинного колодца, похожего на фантастическую птицу с поломанными крыльями, белые расстреляли двенадцать товарищей Плимена, предварительно исполосовав их прикладами. Красные, захваченные врасплох, были отброшены в раскаленную степь, а Плимен зарылся с головой в солому, что высилась безруким чудовищем позади синагоги. Молодой комиссар, товарищ Боря Райх, крикнул, умирая, такие могущественные и проникновенные слова, что золотой осенний день провалился, как в обморок, и степь задохнулась от головокружения. В тот же день белые были отбиты, и Плимен вышел из соломенной тюрьмы.

С тех пор этот день повторялся бесконечное число раз, настойчиво и властно, как сновиденье. Он посещал Плимена в самые неожиданные часы: в общежитии вуза, в театре, на шумной московской улице. Плимен шел вперед, раздвигая жизнь, как густой кустарник, он отпустил строгую черную бородку, сдал дипломную работу на инженера-механика, сменил Подольск на Пермь, а Пермь на Смоленск, но виденье не поки-

дало его, и слова растерзанного комиссара, товарища Бори Райха, слова, прозвучавшие навек, отдавались в нем, как прибой. В такие минуты Плимен переставал дышать, он смотрел сквозь мир, как если бы мир был сделан из кровавого стекла, и лоб его покрывался изморосью пота.

— Не обращайтесь внимания, — страдальчески говорил он тем, кому делалось не по себе от его пустого взгляда, — прошлое наваливается, как медведь, но это пустяки... уже прошло... контузия...

Зябким мартовским утром девятьсот двадцать девятого года главный инженер текстильной фабрики «Двина» не вышел на работу, а так как на утро были назначены самые неотложные и неотступные дела, то секретарь заводоуправления, товарищ Луговая, трижды звонила к нему по телефону на квартиру. Никто однако не отозвался на призыв, хотя товарищу Луговой и казалось, что кто-то снял трубку и стоит у другого конца провода, тяжело дыша. Ощувив в себе энергию завоевательницы, Нина Луговая накинула вязаную кофточку и побежала по талому снегу. Она весело толкнула дверь в коридор, пронеслась дробью каблуков по немывтому полу и беззаботно потянула за ручку старинного звонка, который должен был разбудить главного инженера. Выждав, Нина постучала в дверь: легко — согнутым пальцем и требовательно — кулаком, но ответа не было. Тогда что-то толкнуло ее в грудь, она нажала ручку, и дверь распахнулась перед ней, как вход в подземелье.



На кровати, в шинели и сапогах, чисто выбритый и настороженный, сидел Плимен, держа в застывшей руке браунинг. Казалось, он только что сошел с киноплаката. Из последних сил сдерживая несуразный крик, Нина закрыла за собою дверь, поправила волосы и протянула инженеру руку.

— Здравствуйте, Александр Васильевич, — сказала она не садясь, — почему вы запоздали? Вас ждут.

— Здравствуйте, — любезно ответил он, перенося оружие в левую руку, чтобы освободить другую для пожатия, — вы не встретили его на лестнице?

— Нет, не встретила.

— Должно быть, ушел, — устало вымолвил инженер и встал, — он сторожил меня на лестнице с двух часов ночи.

Положив браунинг на стол, он снял с гвоздя кепку, и они вышли, встреченные морозным рукопожатием ветра.

В сущности, это было все: Нина Луговая никому не рассказала о секундах, закруживших ее, как буря, под дулом браунинга. Она ничего не сказала и о пустых глазах инженера, уставившихся на нее, как два дула. Но кое-кто обратил внимание на нервное состояние Плимена. В частности председатель фабкома передавал, что инженер отозвал его в сторону и убеждал в необходимости изловить Старчука, полесского бандита, которого поймали и расстреляли уже года три назад. В тот же вечер у Плимена был невразумительный разговор с директором. Ночью инженера видели у реки: он шел крадучись, в плену снежных деревьев и лунной тревоги и никого не узнавал.

Утром следующего дня Плимена посетил фабричный доктор, они долго беседовали и провели время очень хорошо.

— Чушь, — говорил спустя полчаса доктор директору, — он просто переутомлен. О Старчуке уже забыто, сегодня он занят будничными делами. Все, что ему нужно, — отдых, но не безделье. Дайте ему спокойную работу. Лучше всего — емуговорить поехать куда-нибудь в глушь, к чорту на рога, где можно поохотиться.

Директор недоумевающе вознес брови и вызвал Плимена. Как они подошли к сути — неважно, но наконец директор сказал все, что хотел, отводя при этом

растерянные глаза. Он упомянул о годах величайшего напряжения, о людях, измочаливших нервы на крутом подъеме революции. Плимен с трудом понял, чего от него хотят.

— На свалку? — прохрипел он, меняясь в лице. — Ну, что же, ладно...

Он разыскал доктора и выжал из него все, что требовалось.

— Я убежден, — сказал тот на прощанье, — что один год растительной жизни излечит и выпрямит вас. Ведь вас еще не согнуло, вы только слегка сутулитесь.

— Тяжело, — сознался Плимен, — легче наган в рот, чем впасть в идиотизм.

— Зачем же идиотизм? — врач даже обиделся. — Все, что нужно, — это не перевыживать, легко спать, дышать лесом, травой, делать холодные обтирания и прочее. С чего вы приходите в отчаянье? Революция требует от вас небольшой жертвы — всего лишь одного вычеркнутого года.

— Это любопытно, — усмехнулся Плимен, — с этой точки зрения я не подходил к вопросу.

После двухдневного раздумья он согласился покинуть город и предоставил директору все остальное. Где-то в союзе и горисполкоме обсуждали и прикидывали, кто-то называл далекие сельсоветы, и скоро сгустилось это все в решение: назначить Александра Васильевича Плимена директором старой бумажной фабрики, затерянной где-то в лесу, в стороне от железной дороги и человеческого любопытства. Спустя месяц с лишним, только что тронулась река, Плимен стал готовиться к отъезду, и никого не удивило, что Нина Луговая уехала вместе с ним. Юность стоит у руля человечества. Плимен и Луговая подымались сначала по реке на крошечном пароходике, страдавшем сердцебиением, потом они тряслись на крестьянской подводе, и у них было такое впечатление, будто они попали в подземный ход и спускаются все ниже и глубже.

Но встретили их на фабрике запросто, как если бы только их и дожидались, и жена местного техника-старожила немедленно ввела их в курс фабричной жизни, налегая на дела продовольственные. Плимена окунули в производ-

ственные заботы, и он отдался им со страстью стажера.

Помдиректора Михайлович, выдвигенец из местных рабочих, терпеливо и с улыбкой объяснял директору разницу между рыночной бумагой и бумагой для нужд промышленности, показывал образцы спичечной и махорочной и бурую финляндскую, сработанную из варенного дерева. Лес подходил вплотную к директорскому окну и внимательно прислушивался к работе машины, которую зовут человеком и относят к разряду директоров. Лес видел образцы и чертежи на простом деревянном столе, пепел папиросы на нервных неумолимых пальцах, сжимающих карандаш, наголо бритую голову в свете высокой керосиновой лампы и смуглые женские руки, повелительно отводящие голову директора от бумаг и чертежей. Спусти две недели Плимен мечтал уже вместе со своими помощниками о том, чтобы наладить производство шпупной бумаги (в нем заговорил текстильщик), но шпупная упорно не давалась: добиться на старых машинах равномерной плотности было очень трудно. Прошлое отодвинулось в туман, дни заполнились роллами и прессами, проклейкой и сушкой, собраниями и приказами, и были эти дни похожи на лошадей, медленно бредущих по кругу и приводящих в движение первобытный рычаг.

По вечерам местная партячейка приходила в гости к директору, и тогда их было шесть человек. Больше других нравился Плимену вихрастый комсомолец с лицом, словно выдолбленным из обожженного дерева. Комсомольца звали почему-то краскомом, он отвык от зываться на прежнее имя. С краскомом Плимен ходил на охоту, стрелял лисицу и зайца и не терял надежды встретиться с барсуком. Иногда они ночевали в лесу, разложив на поляне костер, и Плимен рассказывал комсомольцу о гражданской войне и путешествиях в далекие страны.

Стоило уйти от фабрики шагов на триста, и на плечи мягко ложилась тишина, подобная войлоку. Затаенная лесная тишина смотрела на Плимена в упор, не мигая, как зверь, знающий о приближении человека и готовый к обояроне. Инженер заново переживал щемя-

ще-радостное чувство незаконной близости к земле, к траве и мхам, к предам пышных болот и ночным крикам выпи. Казалось, лес знал, что прильнувший к нему человек — чужой, только ждущий первого сигнала, чтобы бросить все и уйти к затхлости потолков и пыли мостовых.

Однажды пошли на охоту втроем, — их сопроводжала Нина. Напряжение безмолвных поисков, натянутая струна ожидания, молчаливая беседа глаз и рук, все что превращает охоту в страсть, было чуждо ей, но уже с утра она заявила, что пойдет, и Плимен не возражал. Она видела, что муж чем-то взволнован, в глазах его угадывалась какая-то торопливая нервность, и это напомнило ей о мартовском утре, когда он сидел в шинели и сапогах на кровати и навел браунинг на неведомого врага. Поэтому она надела кожаную куртку и высокие сапоги и взяла старое охотничье ружье. Краском одобритительно пожал ей руку и перестал обращать на нее внимание.

Долго бродили в лесу и по болотам, убили трех уток и старого зайца, выбились из сил и в ранних сумерках разложили лесной костер, чтоб озарить и оградить свое одиночество.

— Расскажи о Махно, — попросил краском и улегся на животе, — интересно знать, как он, гад, кочерыжился.

Но Плимен заговорил о другом. Ветер промчавшихся лет надувал его, как паруса.

— В конце концов, — рассуждал он, охватив колени руками, — основной закон революции — движение. Как нельзя себе представить планету, застывшую в пространстве, так невозможна и неподвижная революция. Можно пресечь ее движение, и тогда она полетит назад и разобьется вдребезги, это будет уже реакция. Вот почему закон победоносной революции — движение вперед.

— Это я понимаю, — сурово подтвердил краском, — но вот скажи о темпах.

— Отсюда можно вывести и закон темпов, закон все убыстряющегося движения. Впервые я услышал об этом от одного товарища на фронте — он был еще совсем молодой, и звали его Боря Райх. Он умер, как герой, и после его

смерти я вывел еще один закон — закон жертвы во имя революции.

— Когда же делали революцию без жертв? — спросил краском, и в голосе его было снисходительное сожаление. — Тут и выводить не приходится, это давно известно.

— Что же известно? — тревожно спросила Нина. — Что вам известно, краском?

Комсомолец поднял озаренное древнее лицо, словно потянулся к огню.

— Когда была гражданская война, миллионы полегли костями. Рабочие и крестьяне шли на жертвы, чтоб отстоять советскую власть. Ясно? А теперь — хозяйственный фронт, надо строить социализм, и вот опять мы приносим жертвы. Без этого нельзя.

Плимен встал и потянулся, и огонек папиросы взметнулся в темноту, как золотой росчерк.

— Надо помнить, — медленно заговорил он, — что для многих скорость революции непосильна, убийственна, как скольжение с горы для человека с пороком сердца. Дело не только в том, что революционер жертвует собой, — он должен уметь и сметь пожертвовать и другими, если этого требует революция. Так говорил Боря Райх. Когда казаки захватили его почти голого и выволокли на площадь, он крикнул им в лицо: «Революция требует жертв, миллионы погибнут, и все вы, душителю революции, будете сметены и раздавлены». Я не помню уже точно его слов, но смысл был такой. И с той поры я знаю, что есть в революции закон жертвы, но трудно изучить и еще труднее применять его.

— Довольно об этом, — тихо вмешалась Нина, — почему кажется, что в лесу так много звуков?

Но краском не хотел отвлекаться от темы.

— К чему ты ведешь? — спросил он в упор. — Что за разговор такой о жертвах?

Плимен рассмеялся и сел у огня.

— Хорошо в лесу, — протянул он, — даже таким городским людям, как мы с тобой, Нина, приятно провести ночь у костра. Мы сидим спокойно и кипятим воду. А ведь несколько лет назад здесь разгуливали бандиты, и опасно было удаляться от фабрики. Верно, краском?

— А как же... Сначала Старчук, потом поручик Павлов, под конец уже Яшка Колтун. Колтуна поймали было, да он удрал, переодевшись бабой, из-под рук ушел. Он и сейчас непойманный ходит.

— Поймают, — уверенно сказала Нина, — не уйдет.

— Это обязательно, — согласился краском, — но только верткий он, как рыба. В запрошлом году нагрнулся в наш район, потребилаку разграбил, пострелял кой-кого.

— И на фабрике был? — допытывалась Нина.

— Ночью залетел, сволочь, думал деньгами поживиться, да прогадал. Ну, инженера пристрелил да двух комсомольцев. Созвал народ и похваляется: «Я, говорит, за простой народ, а директоров и прочее начальство буду стрелять и вешать».

— Как же вы упустили его?

— Оружия не было, — вздохнул парень.

Когда напился чаю, Плимен вдруг предложил вернуться на фабрику. Никто не возражал. Молча и медленно шли лесом, полями, тьма расступалась перед ними неохотно. Со всех сторон надвигалась на них ночь, словно в море сближались корабли с потушенными огнями.

— А вот и фабрика, — неожиданно сказал краском и свернул куда-то в сторону; и сразу откуда-то мигнули огоньки и стала слышна река. — Славно побродили. Спокойной ночи, товарищи.

У себя в квартире Плимен зажег все лампы.

— Ты бы легла, Нина, — просто сказал он, — я еще немного поработаю.

Она ушла за ширму и легла, а он вынул из стола револьвер и стал разглядывать его, как удивительное насекомое. Он вдруг почувствовал себя опустошенным, как будто там, в лесу, высказал все самое главное, что жило в нем. Он открыл глаза на одно мгновение, и снова — в тысячный раз — распахнулся перед ним багровый, расплавленный, степной день, опять понесли, безумя от ветра и удали, звонкие кони, и опять на пыльной деревенской улице, у колодца, крикнул в мир бессмертные свои слова молодой комиссар Боря Райх. Плимен закричал зубами и уставился на лампу:

за окнами тяжело и медлительно струилась ночь.

— Революция требует жертв, — беззвучно сказал он и оглянулся. Нина вышла из-за ширмы, она не раздевалась, на ней все еще была кожаная куртка и высокие сапоги.

— В чем дело, Александр? — спросила она.

— Пустяки, — отозвался он, — ложись скорее, я скоро освобожусь.

— Я хочу знать, — настойчиво сказала она, — ты не должен ничего скрывать от меня.

Она села рядом с ним и взяла у него из рук браунинг.

— Ну что ж, — он погладил ее руку и попытался улыбнуться, — я не хотел тебя беспокоить напрасно. Возможно, что ничего и нет, пустые страхи. Сегодня мне сообщили по секрету, что в районе фабрики появился Яшка Колтун со своей бандой.

— Ты ждешь нападения?

— Все возможно. Помощь из города прибудет только завтра.

— А рабочие? Нужно раздать оружие.

— Уже сделано. Но очень рассчитывать на них нельзя. Молодежи мало, а старики не полезут в драку, тем более... тем более, что Яшка Колтун им не страшен. Что он им сделает? Побушует и уйдет.

— Но ты..

— Да, со мной будет хуже. Инженер, директор. Этого достаточно.

— Тебе нужно бежать.

— Бессмысленно. Никто не знает, где он сейчас и с какой стороны может нагрянуть. Кроме того, я не имею права убежать с поста. Но ты не волнуйся, все может еще обойтись.

— Мы будем защищаться, — страстно сказала она, — мы будем защищаться.

— Конечно. Но мы должны быть готовы. Боря Райх говорил, что в революции существует великий закон жертвы.

В третьем часу ночи он пошел проверить караулы. В тишине поселковой улицы, в мирном дыхании спящих домиков он чувствовал себя одиноким. Он не верил караульным, не верил этим полукрестьянам, которые выслушивают его

молча, а думают про себя... чорт их знает, о чем они думают! Может быть, о том, что Яшка Колтун — удалой парень и приходится кому-то из них кумом. Фабрика гудела, как обычно, вечерняя смена вышла в срок, — казалось, ничего не произошло.

Плимен долго стоял у окна своей комнаты, прижавшись лицом к стеклу. Напльвали лесные запахи, звездная ночь роняла метеоры и, шелестя ленивым ветром, искала их в болотах и чащах. Изредка лаяли собаки. Краском еще с двумя ребятами прошел мимо окна, сверкая винтовкой. Нина уснула за столом, и Плимен поглядел на нее с жалостью и грустью. Последние полчаса перед рассветом были особенно тяжелы, — казалось, они ползут, храпя и надрываясь, как раненый локомотив. Но все же они проползли, сонно зевнуло малокровное утро, как не отдохнувший за ночь человек. Можно было считать, что опасность отодвинулась. Тогда Плимен уложил Нину в кровать, а сам сел на ее место, чтобы подремать.

Но вот вдалеке, сквозь кошачьи шаги приближающегося сна, он уловил звяканье винтовок. «Караульные» — устало подумал он и хотел подняться, но ноги не слушались, как бывает в кошмарном сне. Мимо проплыли сдержанные голоса, рассвет распахнулся в рубиновом сиянии. Плимен спал недолго, но проснулся свежим и молодым. Было уже поздно, и он торопливо пошел на фабрику. Михайлович стал рассказывать об опытах усовершенствованной механической сушилки, и они долго ходили по цехам, вычисляя, сколько еще осталось додать по плану. И только после обеденного гудка Плимен повстречал краскома и обратил внимание на его перевязанную руку.

— Поранил? — удивился он. — Когда же?

Краском усмехнулся и хотел пройти мимо, но потом как бы раздумал.

— Пойдем, Александр Васильевич, покажу кое-что.

В пожарном сарае под охраной сидели три оборванных, изможденных, всклокоченных человека. Они равнодушно почесывались и шурились на окошко.

— Вот этот и есть Яшка Колтун, — подбородком ткнул в одного из них

краском, — морда-то какая. Ночью мы решили их пощупать. Чем гостей ждать, лучше самим в гости.

Заперев за собой дверь и подтянув охрану, он зевнул жадно и молодо, всем своим крепким невыспавшимся телом.

— Накрыли мы их на круглой полянке, что насупротив Девкина ручья. Крестьяне донесли. Двоих на месте уложили, зато Яшку живого. Отстреливался, сволочь.

— Почему же? — Плимен ощутил

такую ломоту в костях, что еле разжал зубы. — Почему ты меня не позвал, краском?

— Ну вот еще, — добродушно отстранил его тот и зашагал в тени под навесом. — Ты бы с теориями и законами сам под пулю полез, а мы его, Яшку-то, без теорий за самые грудки.

Он засмеялся, откинул голову назад, зацепился за сучок, неосторожно задев перевязанную руку, озлился на самого себя и выругался.

---

# Кавказские стихи

БОРИС ПАСТЕРНАК

1

Вечерело. Повсюду ретиво  
Рос орешник. Мы вышли на скат.  
Нам открылась картина на диво.  
Отдышась, мы взглянули назад.

По краям пропастей куралеся,  
Там, как прежде, под тем же углом  
Совершало под'ем мелколесье,  
Попирая гнилой бурелом.

Там, как прежде, в фарфоровых гнездах  
Колченого хромал телеграф,  
И горел, и карабкался воздух,  
Грабов головы кверху задрал.

Под прорешливой сенью орехов  
Там, как прежде, в петливой красе,  
По живому закату проехав,  
Колесило и рдело шоссе.

Каждый спуск и под'ем что-то чуял,  
Каждый столб вспоминал про разбой.  
И, все тулово вытянув, буйвол  
Голым дьяволом плыл под арбой.

А вдали, где, как змеи на яйцах,  
Тучи в кольца свивались, грозней,  
Чем былые набегн ногайцев,  
Стлались цепи китайских теней.

Пока мы по Кавказу лазаем  
И в задыхающей раме  
Кура ползет атакой газовой  
К Арагве, сдавленной горами,  
И в августовский свод из мрамора,  
Заламываясь, как гортани,  
Заносят яблоки адамовы  
Казенных замков очертанья...

То был ряд усыпальниц, в завесе  
Заметенных снегами путей  
За кулисы того поднебесья,  
Где томился и мерк Прометей.

Как усопших восставшие души.  
Ледники открывали лицо.  
Солнце тут же японскою тушью  
Переписывало мертвецов.

И тогда, вчетвером на отвесе,  
Как один, заглянули мы вниз.  
Мельтеша, точно чернь на эфесе,  
В глубине шевелился Тифлис.

Он так полно осмеивал сферу  
Глазомера и все естество,  
Что возник и остался химерой.  
Точно град не от мира сего.

Точно там, откупаясь данью,  
Длился век, когда жизнь замерла,  
И горячие серные бани  
Из-за гор воевал Тамерлан.

Будто вечер, как встарь, его вывел  
На равнину под персов обстрел,  
Он малиною кровель червивел  
И, как древнее войско, пестрел.  
Коджоры.

2

Где две реки у ног горы,  
Обнявшись, будто две сестры,  
Обходят крутизну по кругу,  
За юбки ухватив друг друга.  
Меж ними крыш водоворот,  
Они их переходят вброд,  
Влегая грудью в древний город.  
Как в жорнова тяжелый ворот.

А в высоте, вонзаясь в ширь,  
Как флюгера стоячий штырь,  
Вращает небо на шарнире  
Четырехгранный монастырь.  
В отставке рыцарской состаря  
Столбы обрушенных ворот,  
Парит обитель Мцъри — Джвари,  
И с поворота дрожь берет.

Но оторопь еще неожиданней  
Нас проникает до кости.  
Нам кажется, что рек слиянье  
Могло бы не произойти,  
Но происходит текста ради  
В одной из юнкерских тетрадей.  
Имея шансов до пяти  
Противу ста других, почти  
Как происшествие в пути,  
И совершается в пространстве,  
Как самая превратность странствий  
И как случайность во плоти.

Шоссе уносит эту странность  
За двухтысячелетний Мцхет,  
Где Лермонтов уже не Янус  
И больше черт двуликих нет.  
Где он, как горы, дорисован

Не злою кистью волокит,  
Но кровель бронзой бирюзовой  
И пыльным малахитом плит.

Когда от высей сердце екает  
И гор колышатся кадила,  
Ты думаешь, моя далекая,  
Что чем-то мне не угодила?  
И там, у Альп, в дали Германии,  
Где так же чокаются скалы,  
Но отклики еще туманнее,  
Ты думаешь, — ты оплошала?

Я брошен в жизнь, в потоке дней  
Катящую потоки рода,  
И мне кроить свою трудней,  
Чем резать ножницами воду.  
Не бойся снов, не мучься, брось.  
Люблю и думаю, и знаю.  
Смотри, и рек не мыслит врозь  
Существованья ткань сквозная.  
Я верен всем былым мечтам,  
А верен ли себе останусь,  
Я сам узнаю только там,  
Где Лермонтов уже не Янус.

Коджоры — Тифлис, дом Паоло.

# Окраина

Рассказ

КОНСТАНТИН ФИНН

**А**лександр Петрович Грешин видел на небе пятна, и потому рассуждение его о небе было очень простое: на небе есть пятна — небо не годится. Александр Петрович был портным, и если бы заказали ему из неба сшить брюки, он отказался бы.

— Выведите сначала пятна, — сказал бы он, — бракованный материал не принимаю. Выведите пятна, тогда сошью брюки. Я портной из Риги.

Вот как выразился бы Александр Петрович о небе. Никакой благодати он не признавал, красот природы не понимал, не верил ни в бога, ни в чорта, насмешничал над недостатками жизни, и на Заборной улице вследствие всего этого относились к нему недоверчиво, с опаской, вообще недолюбливали.

О небе произошел как-то раз такой разговор:

— Мы просим вас не касаться неба, Александр Петрович. Нам плевать на то, что вы портной из Риги. Небо, это единственное, что есть у нас прекрасного на Заборной улице, на окраине. Оставьте пожалуйста насмешки ваши.

Александр Петрович ответил на это так:

— До неба далеко, земля близко, и ее поэтому забросали окурками, заплывали, изгадили. До неба не доплывешь, до неба далеко, а русский человек заплывивает все, что близко. Ему небо подставка, он и на небо начнет плывать, про божественность забудет моментально. Небу, я так считаю, просто-напросто повезло в том смысле, что оно да-

леко находится, оттого оно и благодатное.

Однажды у Александра Петровича даже обыск сделали.

— Вот мы посмотрим, отчего идет такое неверие, — сказал околоточный надзиратель, производивший обыск. — Причины твоего поведения, на которое все указывают, мы сейчас обнаружим.)

Но причины обнаружены не были; ничего недозволенного у Грешина не нашли. Несмотря на это, обитатели Заборной улицы стали относиться к Грешину с тех пор еще более подозрительно. Так уже велось на Заборной улице: сделает полиция у кого-нибудь обыск, обнаружит или не обнаружит что неподобающее, все равно человек после обыска становится подозрительным и даже опасным.

Когда Александр Петрович однажды сильно заболел, никто из обитателей Заборной улицы не допускал мысли о том, что может он умереть: Александр Петрович был портным, и все поэтому уверены были в том, что прочнее всех живет он на свете потому, что прикреплает его к жизни вывеска — шью брюки, а также переделка. Большинство людей на окраине вывесок не имело, и людям этим, привыкшим к синей вывеске Грешина, казалось, что Грешин бессмертен.

— Помрешь, если ты, Александр Петрович, — сказал приятель Грешина сапожник Филов, — другого портного найдем, посадим его на твое место и вывеску твою сохраним. Она дом



украшает, тем более фамилии твоей на ней не написано, портной и портной...

— Не желаю, — перебил Филова Александр Петрович, которому очень обидными показались эти слова, — не хочу, не желаю, требую, чтобы сорвали мою вывеску.

— Вы этого требовать не можете. Это уж дело после вас будет.

— Тоска мне с вами, — злобно сказал Грешин, — вы хотите и желаете, чтобы все по привычке было. Скучный вы народ, только и норовите о себе рассказать, а что вы такое интересное о себе рассказать можете.

— Это верно, — вздохнул Филлов, — ничего интересного нет. А насчет привычки вы неправы. Три года назад, помните, у нас на Заборной улице трактир Зыбина в зеленый цвет выкрасили. Я месяц целый, как ни пройду мимо, все что-то беспокоюсь, все ищу чего-то, все чего-то мне не хватает. Жизнь наша плохая, об этом спорить нечего, но люди ничего, привыкли и живут. Так не надо людей привыкших смущать. Привыкли, оно и ничего как будто бы.

Грешин хотел возразить Филлову, возразить по обыкновению своему резко, но сдержался. Филлов был одним из немногих людей, не покинувших Грешина теперь, во время болезни. Было очень скучно Грешину, и дорожил он теперь каждым собеседником.

Грешина не любили обитатели Заборной улицы, многие даже ненавидели за насмешливость, за гордость, а главным образом за то, что, будучи простым мастеровым человеком, таким же, как и они, он признавал только интеллигенцию. Он ходил в гости к студентам, обитавшим в дешевых квартирах углового дома, и к всеобщему удивлению робел перед этими студентами. Студенты не навещали его сейчас, они вообще не обращали на него почти никакого внимания, подсмеивались над ним, но, несмотря на это, он отзывался о них почтительно.

— Сами-то вы кто, — спрашивал иногда раздосадованный таким почтительным отзывом какой-нибудь сосед. — Вы наш же, простой человек, мастеровой.

— Я книжки читаю, — отвечал Грешин. — Прочти ты столько книжек,

сколько я прочел, тогда узнаешь, кто я такой.

Книжки стал он читать впрочем недавно. Как-то раз попался ему случайно на глаза учебник географии Крубера. Грешин никогда нигде не учился. Он не знал, что учебники читаются по маленьким частям, он прочел учебник в один присест, как прочитывают повесть. Он очень заинтересовался географией и с тех пор стал вообще интересоваться книгами.

Мария пришла домой поздно. Филлов все еще сидел у кровати Александра Петровича.

— Все ходишь, счастье ищешь, — сказал дочери Александр Петрович. — Эх, ты, курица.

Мария ничего не ответила на это. Она привыкла к таким словам.

— Теперь, — сказал Филлов, чтобы как-нибудь отвлечь Грешина, — теперь аккуратность всех заела; каждый парень в кепке ходит, ботиночки и все такое. Я вот, когда, скажем, в ученье был, каждой пуговице радовался, каждой малейшей пуговице, а уж если поясок так какой-нибудь, тут и не говори. А в настоящий момент каждый норовит только чисто ходить и больше ничего он совершенно знать не хочет. А я так спрощу: заслужил ли он; является ли он действительно тем человеком, вот что я спрощу.

Мария прошла в свою комнату. В комнатке пахнет мылом. Мария никогда не выбрасывает ярких пахучих оберток мыла, она булавками прикалывает их к стене. Обертки пахнут, как цветы, высыхают в скорости и осыпаются со стен. Пол — это смерть для ярких оберток мыла, для старых лент, для хрупких перьев, для бумажных вееров. С пола никогда не возвращаются они на стенку, как никогда не возвращаются на ветви опавшие листья. Все эти обертки, ленты, перья доживают на стене остаток жизни. Они не служат, а украшают. Если упали со стены, значит дряхлые, значит некрасивые, значит не нужны. Если упали со стены, значит мусор.

Их можно сравнить с теми стариками, которые живут из милости на хлебах у родственников. Эти старики укра-

шают семью благодетеля, они служат наглядной иллюстрацией добрых и возвышенных чувств, имеющих место в семье. Но все это до тех пор, пока не приходит последняя пора старости или, вернее сказать, до тех пор, пока не уходит последняя красота старости. На хлебники становятся тогда жалкими, противными, они не украшают больше, они вызывают только отвращение, они — мусор. Их переводят куда-нибудь подальше, за ширму, и считают дни, оставшиеся до их смерти.

Тихий холодок сырости сочится из темного угла. В комнате Марии, как и вообще во всех комнатах этого большого каменного дома, сыро, и в каждой комнате сырость пахнет по-разному — где угаром, где потом и махоркой, где белем, а где, как у Марии в комнате, мылом, парфюмерией. Душная сырость.

Мария открыла окно. Краина окружала ее. Сухого дерева и потухшей краски краина. Огни мерцали в небе, и хотелось один из этих огней, как голубя, впустить в комнату.

Мария — «вековуха», старая девушка; ей 35 лет, но комнатка ее молодая, стыдливая. Трепетный подзеркальник, как балалаечная струна, звенит флакончиками, коробочками, разными безделушками. Нет такого места в комнате, куда бы можно было уйти от подзеркальника, не только шагам вторит он, но и голосу. Хочется поэтому говорить тихо, чтобы не вмешивался подзеркальник в разговор. Занавесочки на окнах лянляые, чистые, никуда не могут улететь, но лететь хотят. Кусочки хрупкой канвы, вышитые затейливым узором. Молодая комната.

Изо всех сил удерживает молодость своей комнаты Мария, и не стареет комнатка поэтому, попискивает, поскрипывает, просит приласкать. Но скоро наступит день, когда пожелтеют занавески и будет видно, что вовсе они никуда не хотят лететь, умолкнет подзеркальник, запылятся стены. Одну неделю не удерживай молодость своей комнатки Мария, и произойдет все это: когда молод человек, то невольно молод и его комната, хоть никакого внимания не обращай он на нее, а когда стареет человек, стареет вместе с ним и

комната, и очень трудно удержать ее молодость.

Мария надеется еще выйти замуж.

По вечерам ходит она на бульвар. Бульвар этот на пустыре, между стен больших домов. Он тощий и дырявый. Скамейки и деревья — из одного сухого, мертвого материала. Реденькая, пыльная трава. Пахнет помадой, к ночи наполняется бульвар людьми, легает пыль во множестве от шарканья ног, хлопают пробки бутылок в буфете, тесно, душно, и бульвар кажется совсем не бульваром, а закрытым помещением.

Мария просиживает на бульваре подолгу. Никто не интересуется ею. Она наблюдает свидания влюбленных, и иногда коротенькая какая-нибудь любовь трогает ее до слез. Счастье парочек, посещающих бульвар, кажется Марии недостижимым, огромным.

Александр Петрович знал об этих ежевечерних прогулках дочери. Он спрашивал ее:

— Ну чего ты на бульвар ходишь? Себя только расстраиваешь. Сидела бы дома.

Филова, присутствовавший иногда при этом, говорил укоризненно:

— Напрасно смеешься, Александр Петрович, каждая девушка такое счастье ищет, и ничем ты ее не удержишь, и никогда она искать не перестанет. Как же иначе?

Мария смотрела с благодарностью на Филова, он был единственным ее другом.

Обитатели Заборной улицы не ошиблись. Александр Петрович выздоровел и стал работать попрежнему. Осенью этого года объявили войну, ту, которую впоследствии назвали великой европейской.

С момента объявления войны стали незаметными пешеходные простые пути, проселки, тропинки, будто бы их никогда и не было. Загрели железные дороги. Они точно вновь открылись для того, чтобы обслуживать войну. Единственными путями сообщения стали железные дороги. Преобладало прямое сообщение: Москва — Южный фронт — прямое сообщение. Петроград — Восточный фронт — прямое сообщение.

Россия стала страной прямых сообщений. Жизнь — смерть — прямое сообщение через Жмеринку, Трехполье, Канавино, — из вагонов не высовываться.

Железнодорожный билет стал удостоверением. «Дано сие Ивану Ивановичу Иванову в том, что он действительно живет на свете...» Маленький кусочек неказистого картона — железнодорожный билет — удостоверять, что предьявитель его едет на свадьбу, по семейным обстоятельствам, проведать приятеля, удостоверять, что предьявитель его будет гулять по улицам, смеяться. На войну умирать ехали без железнодорожных билетов. Это вносило ужасное беспокойство.

— Завтра Коля уезжает. Поезд в 12.14.

— А билет он уже купил?

— Ему билет не надо.

— Ах, вот что. Бедная, бедная ты, Варя.

Русские люди привыкли к железнодорожным билетам. Они привыкли «выправлять» его в кассе, обращаться с ним бережно и торжественно, как с паспортом. Теперь они ездили без билетов. Иногда призывник, обалдевший от криков, от паровозных гудков, от слез, в ту последнюю минуту расставания, когда крики переходят в стон, начинал искать настойчиво и торопливо во всех карманах железнодорожный билет. Он искал в эту минуту семейные обстоятельства, свадьбы, прогулки по солнечным улицам зеленого города.

Вместе с прямым сообщением преобладали в те времена прямые и ясные слова: «За царя, за веру, за отечество». Все было упрощено и понятно всем. Умные перестали презирать глупых, глупые — завидовать умным. Ну, кто же в самом деле не поймет такие слова: «положить живот свой за отечество». Каждый поймет.

— А что я раньше законов физики не понимал и наизусть «Слово о полку Игореве» выучить не мог, так это, я полагаю, теперь, перед лицом великих событий... И как я есть солдат Фонегирийского полка, покрывшего славой... За родину...

— Правильно, правильно, голубчик. Ну, что за разговоры о прошлом.

Мария замуж все не выходила. Теперь, впрочем, жилось ей легче. Было много вдов теперь на Заборной улице. Мария внимательно наблюдала за ними и мало-помалу уверил себя в том, что и она, Мария, вдова. Так, не пережив радости замужества, переживала теперь она горечь вдовства. Горечь эта была приятна. Иногда Марии казалось, что она, Мария, не вдова, а солдатка, что муж ее там, где много сейчас мужей и женихов, в окопах. Она ждала возвращения своего мужа; пусть придет он искалеченным, убогим, все равно она будет любить его.

Но муж Марии не возвращался. Уже много людей возвратились с фронта домой. Возвратились из военной России в Россию мирную. Границы между Россией мирной и Россией военной были в самых различных местах. Лежит человек на койке в санитарном вагоне; едет по военной России и вот видит вывеска — станция Орел. Вывеска покривилась, на ней пятно, похожее на человеческое лицо, совсем не изменилась вывеска с тех пор, как видел ее человек два года назад, когда ехал на фронт, когда было у него две руки, а не одна, как теперь. Вывеска такая же, какой была тогда, и пыль вьется по перрону так же, как в тот день, и дверь вокзала скрипит попрежнему. Тут человек переходит границу. Оказывается, здесь эта граница, здесь, в Орле. Отсюда потянется по обе стороны пути мирная Россия. Человек на своей родине.

Другой найдет неожиданно в сундучке своем открытку с надписью: «Кого люблю, тому дарю», и неожиданно перейдет границу, попадет в мирную Россию даже тогда, если произойдет это верст за 200 до станции Орел.

Мирная Россия была страной воспоминаний. Границы ее были, как тень от предмета на солнце: сегодня здесь и завтра здесь, а послезавтра перенесли предмет, и не будет тени больше здесь никогда. Так непонятно и даже таинственно были отдалены люди от своей страны.

Верстах в трех от Заборной улицы за городом основали лагерь для военнопленных: несколько деревянных бара-

ков, огражденных проволочным заграждением. Проволоку зачем-то выкрасили зеленой краской, и оттого, что вокруг была свежая зелень, проволока была незаметна. Осенью проволока становилась заметнее, зимою же она была видна отчетливо. Военнопленные не совершили никаких преступлений, они не испытывали угрызений совести, и летом забывали они подчас, что находятся в тюрьме; зимой это ощущалось точно.

— Сколько времени пробыли вы в плену, Коре?

— Две зимы, т.-е., простите, два года.

На третий год войны лагерное начальство, убедившись окончательно в том, что пленные ведут себя примерно и о побеге не помышляют, отменило одну за одной все строгости, бывшие раньше: пленных беспрепятственно стали выпускать за границу лагеря.

Фридрих Раскоттен любил ходить в город. Он два года прожил в лагере и за это время научился немного говорить по-русски. С Марией Грешинной Раскоттен познакомился на бульваре. Они целый час просидели молча рядом на скамье, потом Раскоттен спросил Марию, не знает ли она, который час. Мария ответила, они познакомились и разговорились. Вопрос Раскоттена был предложением для знакомства. Раскоттену совсем не нужно было знать, который час. Он никуда не торопился: в лагере не было уже в то время никакой дисциплины — кормить пленных было нечем, был голод в лагере, и если кто-либо из пленных пропадал на 2—3 дня, лагерное начальство было довольным.

В первый вечер Раскоттен высказал Марии весь запас знакомых ему русских слов. Слов было немного, их хватило часа на два. При следующем свидании пришлось повторить прежний разговор.

— Как вам живется в лагере? — спросила опять Мария.

— Плохо, — ответил как и в первый раз Раскоттен.

— Давно вы в плену? — спросила опять Мария.

— Третий год, — ответил как и в первый раз Раскоттен.

Так беседовали они несколько вече-

ров. Одни и те же слова каждый раз приобретали новый смысл. Он, оторванный от семьи, от родины, три года проживший в грязном, душном, отвратительном бараке, она, не встречавшаяся почти никогда с мужчинами до этого времени, робкая, старая девушка, могли в сущности даже не разговаривать, могли молчать. Все равно было бы им хорошо друг с другом. Разговор, состоящий из 2—3 десятков слов, был даже и не нужен. Раскоттен при разговоре с другими русскими заменял недостающие слова жестами, движениями рук, головы. С Марией так объясняться он не мог. Посудите сами: сидят на скамейке под зеленью молодой человек и барышня, и молодой человек вдруг начинает вертеть головой, размахивать руками, делать какие-то знаки. Как это будет? Будет ли это красиво? Ведь может, от этих жестов, движений, знаков оборвется мотив, тот строгий и ласковый мотив, который всегда беззвучно поют молодые люди на любовном свидании.

— Давно ли вы в плену? — спрашивала Мария.

— Третий год, — отвечал Раскоттен. И этого было вполне достаточно для счастья.

Они ежевечерне встречались на бульваре. Как-то раз Филлов, случайно проходивший по бульвару, заметил их. Филлов уже несколько месяцев жил у Грешина. Дом, в котором прежде обитал Филлов, самый дряхлый на Заборной улице, лишенный вследствие войны какого бы то ни было ремонта, разрушился, и Филлов с радостью принял предложение Грешина перебраться к нему. Филлов был холостяком, сборы его были недолги, вещи отнюдь не многочисленны: сундучок, чурбан, обитый кожей, ящик, заменявший стол, инструменты. Когда уходил Филлов из своей комнаты, нечего было ему снять со стены. Прожил он в этой дряхлой комнате много лет, ничего за все время не повесил на стену. И оттого, что ничего не снял он сейчас со стены, да и оттого, что все вещи унес в руках, показалось ему, что это была вовсе не комната, а привал в поле, привал, где нет стен, где потому ничего не вешают, а все кладут в кучу, привал, к которому привыкаешь

часа за два-три отдыха, но который забываешь, как только покинешь. Филлов даже вернулся обратно поглядежь в последний раз на свою комнату. Он не обжил ее за долгие годы. В комнату эту не придет новый жилец: завтра дом этот будут ломать; завтра вместе с досками в куче будут лежать неизвестно откуда появившиеся кирпичи, железки, завтра здесь будет пустырь. Филлов почувствовал радость от того, что уходит отсюда.

— Одинокая жизнь, — подумал он. — От нее все и происходит. К дому своему одинокий человек по-настоящему привыкнуть не может. Вот если бы например дети были, разложились бы они, распространились бы; каждая вещичка к комнате прилипла бы, каждая вещичка комнате свойственницей была бы. Все бы пришлось отдирать, а не то, что теперь, с легкостью все отстает. Взял в руки — и пошел, как будто бы ничего и не было, как будто бы и не жил никогда здесь.

Теперь, увидав на бульваре Марию и немца, Филлов встревожился.

— Советую присмотреть, — сказал он в тот же вечер Грешину. — Все-таки немец, чужой человек, а она барышня.

— Не видал я его, — сказал Грешин, — но уже безусловно он почище будет наших парней.

— Да ведь она с ним гуляет.

— Ну, и пусть.

— Как, то-есть, пусть. Ведь он немец.

— А ты как немца понимаешь, Филлов?

— Как воюющего врага, — ответил Филлов. — Воюющего против моей родины.

— Ну, а кто победит? — спросил за чем-то Грешин.

— Мы, — ответил убежденно Филлов. — Безусловно мы победим.

— Да ведь нам-то втыкают.

— Ну, и что ж с того, что втыкают. Это ничего не значит, что нам втыкают. Мы довоюемся. Победить нас все равно невозможно, страна мы огромная. Бьют нас, это правильно, но это наш умысел. Для нас это пустое дело, что нас бьют. Все равно мы победим. Устанут бить нас, мы тогда навалимся и победим. Го-

ворю, это наш умысел. А народу мы не жалеем. Народу на нашей земле нового сколько хошь вырастет. И бабы рожают побойчей других. Это доказано.

— А я вот даже доволен, что с немцем она гуляет, — перебил Филова Грешин.

— Ну, уж вы-то конечно довольны, Александр Петрович, — сказал Филлов. — Обыкновенного вы ничего не признаете. Вам подавай что-нибудь такое-этакое.

— Немцы — интеллигентная нация, — продолжал Грешин, не слушая Филова. — Они лучше наших неумытых во сто раз.

— Вы, Александр Петрович, — сказал тихо и предостерегающе Филлов. — Вы, Александр Петрович, за свой характер были покинуты народом... Но, ежели бога не признавать, то это еще может быть оправдано, а уж если врага родины возвышать, это уже другое дело. Это, я вам скажу, прямо нехорошо.

Он сердито поглядел на Грешина и вышел из комнаты.

— Чудак, — подумал Грешин, — надо его воротить, а то совсем расстроится.

Грешин открыл окно. Из противоположного двора въезжал извозчик Смелычаков. Он ехал сейчас в город промышлять. Каждый вечер перед тем, как ехать в город, он подъезжал к окну Грешина и ждал, чтобы Грешин заговорил с ним. Смелычаков был хмурым человеком, он ни с кем почти что не разговаривал, ни на кого не обращал внимания. Один только Грешин привлекал Смелычакова смелым, заносчивым, едким характером.

— Чего остановился, — спрашивал Грешин. — Надо ехать, ехать надо.

Смелычаков дергал вожжey, отъезжал. Он любил Грешина. Все боялись Смелычакова. Он часто пьянствовал, был во хмелю свиреп. Он обладал громадной физической силой, дрался настойчиво, самолюбиво, «до конца», как он сам говорил. Худощавый, болезненный Грешин не боялся Смелычакова. Он ругал его, иногда задирали, и Смелычаков сам как бы очень удивлялся этому. Так с удивлением всегда смотрел он на

вертлявого портного и никогда не злился на его.

Смельчакову некуда было торопиться.

Он медленно проезжал длинную Заборную улицу и сворачивал в любую сторону. Вечерело. Он не торопился. Он ехал не к стоянке, не к определенному месту, он ехал в темноту. Давно не выезжал он днем. Днем никто не давал ему настоящую цену: рвался все больше балахон, ломалась пролетка и вместо вожжей были веревки.

Таких извозчиков каждый норовит нанять задешово, и потому Смельчаков ехал в темноту. Он въезжал в темноту оборванным, жалким, а ехал по ней настоящим, крепким, зажиточным. Но бедность все больше и больше выпирала из темноты. Разлезался окончательно балахон, белела, дряхлая и склонялась все ниже лошадь, и нужна была уже очень густая темнота, чтобы скрыть все это. А такая темнота бывает только один час в ночь. И теперь из всей ночи оставался Смельчакову один этот самый черный. Если случался седок в этот час, брал с седока Смельчаков настоящую цену.

Ночь была отдельным миром, в который ежевечерне въезжал на тощей своей лошаденке Смельчаков. Он разезжал по этому миру вплоть до рассвета, торговался, запрашивал, ругался, торопился порой, порой скакал и медленно выезжал из этого мира, оборванным и жалким, таким же, как въехал в него.

В юности Смельчаков был пастухом. Он любил тогда весну, природу, зелень. За долгие годы извозчичьей жизни он полюбил осень: осенью бывают самые темные ночи, осенью доход больше, чем прозрачной весной.

Так и жил он, по-настоящему оценивая времена года. Он теперь по-настоящему понимал природу. Он понимал теперь всю лживость своей прежней, безрассудной любви к природе. Он знал ей теперь цену. Он знал, сколько стоит весна, сколько—лето, знал, что весна ему не по карману, что она чересчур дорога для него, и никакими прелестями она его теперь не привлекала.

Путешествие из темноты к дому длилось долго: лошадь шла медленно.

Смельчаков дремал. Ему казалось, что едет он не по твердой земле, а по тишине, что тишина — это длинная, спокойная дорога. По обе стороны дороги тянулся рассвет, он ослеплял, скрывая дома, улицы, переулки, город казался полем, в городе были дали, холмы, музыка.

Грешин, встававший рано, часто видел, как возвращается Смельчаков из города.

— Огромный человек, — думал Грешин, — и злой очень. Огромная злость у него, а лошаденка маленькая, пролетка высокая. Как-будто бы лошадь к нему и к пролетке прикреплена.

Смельчаков каждый раз здоровался с Грешиним.

Мария пригласила Раскоттена к себе. Филов даже отвернулся, когда проходили они по коридору. Через несколько минут Филов вошел в комнату Марии.

Мария была очень смущена приходом Филова, а Раскоттен вскочил и вытянулся во фронт.

— Чаю хотите, Иван Иванович? — робко спросила Мария.

— Я не чай пить пришел, — сказал Филов строго. — Как фамилия твоего гостя?

— Раскоттен.

— Вот что, милый друг, Раскоттен, — сказал Филов, — сделай пожалуйста одолжение, я тебя прошу, будь любезен — от ворот поворот.

Раскоттен ничего не понял и улыбнулся.

— Плохой смех, — сказал хмуро Филов. — Очень даже плохой смех. Я от имени ее отца говорю. Как немцу вам здесь не место.

— Он сапожник, — сказала Мария.

— Да, да сапожник, шумахер, — подтвердил Раскоттен.

Сапожник — было первое слово, которое понял он из всей речи Филова.

Филов был смущен.

— Сапожник сапожнику розь, — сказал он. — При машине сапожника настоящего быть не может. Настоящий сапожник — это ручной труд.

Раскоттен не понял, о чем говорит Филов, и тогда Филов выразил мысль свою жестами. Раскоттен тоже жестами и немногими словами ответил Филову,

что у себя на родине он занимался главным образом починкой, работал вручную.

— Налей-ка мне, Маша, чаю, — сказал, заинтересовавшись, Филов.

Пили чай долго. Разговаривали главным образом при помощи жестов. Раскоттен старался есть медленно, он умышленно откладывал иногда кусок хлеба в сторону, точно забывал о нем, но Филов понимал, что он голоден.

— Тихий человек, — думал Филов. — А Маша-то как рада. Ведь всегда надеялась она на любовь, именно к любви стремилась. Чего ж его, немца, гнать. Мастеровой человек, держит себя очень аккуратно, в лагере, небось, жизнь не сладкая. Ишь, как бутерброды внимательно кушает.

— Бутерброд, — сказал Филов немцу.

— Бутерброд, о да, — ответил Раскоттен, улыбаясь.

— В лагере, небось, плохо, — думал в это время Филов. — Скучно, сарай ведь. Хочется ему, этому немцу, посидеть с людьми в чистом помещении. Не свой дом конечно, а все ведь не лагерь. Мундирчик заштопан у него аккуратно, небось, изо всех сил старался нитку с ниткой свести, только чтобы приличнее выглядеть. Ботинки вот только у него совсем рваные, подметка сгорела совсем.

Раскоттен заметил взгляд Филова, спрятал ноги под стол. Филов смутился:

— Починку, говорите, принимали, — сказал он. — Так. Город ваш Галле называется, говорите. Слышал я об нем, слышал. Похвально отзывались об этом городе (Филов до этих пор ничего не слышал о городе Галле, не знал даже о его существовании). Ранты у вас делают широкие, видал я вашу работу.

Часа через два, когда Раскоттен стал прощаться, Филов сказал ему:

— Ботиночки-то починить придется.

Раскоттен покраснел и забормотал что-то.

— Ботиночки, говорю, починить придется, — повторил Филов. — Неудобно, приходите ведь вы к барышне. Она привыкла к хорошему, одна дочь у отца. Тем более можете пойти пройтись, очень неловко может быть. У меня ведь мастерская в соседней комнате. Сели бы

и набили подметку. Спиртовую я дам вам подметку, хорошую, потом сочтемся.

На другой день Раскоттен набил подметки на свои ботинки. Филов, занятый своей работой, то-и-дело искоса поглядывал на немца.

— Хороший мастер твой Раскоттен, — сказал он потом Марии. — Чисто работает, я ему починку, какая будет лишняя, давать буду. Пусть подрабатывает на табачок, на мыло. Опять же молодой человек должен деньги иметь при себе постоянно. Угостить барышню, мороженое там и все такое.

— Мне не надо, — сказала Мария, покраснев и отвернувшись.

— Как не надо. Я знаю, ты не такая, чтобы этим интересоваться, да и деньги у тебя всегда есть, а все равно молодому человеку надо иметь свои деньги. У него совсем тогда другое самочувствие делается: «Дайте бутылочку лимонаду, получите 20 копеек». Сам вынимает из кошелька, сам платит. Это совсем другое дело.

С этого дня Раскоттен стал ежедневно бывать у Марии. Иногда он работал с Филовым по несколько часов в мастерской, потом все вместе пили чай в комнате Марии. Александр Петрович встретился с немцем так, как будто бы был давно знаком с ним. Раскоттен при появлении Гришина так же, как раньше при появлении Филова, вскочил и вытянулся во фронт.

— Садитесь, садитесь, — сказал Гришин, — вот еще что вздумали, вскакивать.

— Это отец ее, — сказал Филов Раскоттену, — ее папаша.

— Дер фаттер, — улыбнулся Раскоттен.

— Именно, дер фаттер, — сказал Гришин, знавший несколько немецких слов. — Дер фаттер, дер шуль, мейне, дейне, швейн, данке зер. Вот и все, что я знаю на вашем языке.

— Язык, как бы сказать, не очень-то хороший, — сказал Филов. — Наш будет лучше.

— Они разве могут понять какую-нибудь тонкость, — сказал, общинчески подмигивая Раскоттену, Гришин. — Изю всех этих людей, которые на Заборной улице живут, вряд ли найдется такой, чтоб мог понять вас.

— А чего его понимать, — сказал Филов. — Он такой же, как и мы с тобой, мастеровой человек, сапожник он.

— Сапожник — Грешин, оказалось, был разочарован, потом сказал убежденно. — У них сапожник это все равно, что у нас интеллигентный человек. Ты что же думаешь, Филов, что этот немец тебе равен? Ошибаешься. Ты не гляди на то, что он сапожник. У них, говорю, сапожник, это, брат, совсем не то, что у нас.

— Я ваш язык узнал много, — сказал, улыбаясь, Раскоттен.

— А вот хвалиться, это не стоит, — сказал Грешин. — Ну мы сейчас узнаем, как вы разговариваете.

Они стали разговаривать. Раскоттен действительно знал уже много слов.

— Вы прямо скажите, — спросил неожиданно Грешин Раскоттена, когда Мария зачем-то вышла из комнаты. — Зачем ходите сюда, от скуки или уют семейный притягивает?

Раскоттен молчал.

— Нет, вы скажите, — вмешался Филов. — Он как отец, как дер фаттер имеет право задать этот вопрос.

Раскоттен хотел что-то ответить, но тут вошла Мария, и разговор перешел на другую тему.

Вечером перед тем, как идти спать, Филов сказал Грешину.

— Вполне правильно задавали вы немцу вопрос насчет того, зачем он ходит сюда. Вы как отец должны знать, о чем именно он думает; если что другое у него на уме, то сейчас мы его помем.

— А нравится мне немец этот, — сказал Грешин, не слушая Филова. — Пусть ходит. Глядишь, и не так скучно. Хороший немец. Все у него как-то прилажено к месту, слово к слову, мысль к мысли. Нравится мне этот народ, ей-богу. А тебе вот что скажу, Иван Иванович. Хочешь обижайся, хочешь нет, а ведешь ты себя с этим Раскоттеном не подобающе.

— Как то-есть не подобающе? — спросил удивленно Филов.

— А так вот, грубо ты себя с ним держишь; ты думаешь, мол, он такой же, как и ты, сапожник. Нет, он интеллигентный человек, а с интеллигентным человеком совсем другое обхождение,

совсем другую аккуратность в разговоре иметь надо. Ежели бы ты попал к студентам, у которых я бываю, ты бы там двух слов не выговорил.

— Что вы все студенты, да студенты. Хотя один из них пришел вас навестить, когда вы больны были.

— Это ничего не значит, — ответил Грешин, но лицо его омрачилось.

С тех пор Грешин ежевечерне принимал участие в беседах Марии и немца. Было уютно в комнате Марии. Комната была маленькая, и лампа настольная не только светила, но и грела.

Мария обычно не принимала участия в разговоре. Она стеснялась почему-то отца и Филова. Она до сих пор не могла освоиться с положением девушки, принимающей молодого человека, девушки, за которой ухаживают. Она то и дело стыдилась, сильно краснела, когда Раскоттен обращался к ней.

Грешин теперь еще реже, чем раньше, уходил из дому. Иногда днем за работой он вспоминал о том, что скоро должен притти Раскоттен, и ему становилось радостно. Однажды Раскоттен не пришел. Все были удивлены.

— Чего это он не явился? — спросил Грешин Марию.

— Возможное дело заболел, — сказал Филов. — Пойти узнать разве о нем. Да ведь в лагерь-то не пропустят. Завтра небось придет.

Все всполошились и было понятно всем, что составляют они уже одну семью, небольшую семью, которая собирается каждый вечер вокруг стола в комнате Марии. У каждого члена этой семьи есть свое определенное место. Раскоттен сидит рядом с Марией, Филов и Грешин так же рядом — напротив.

Как-то Грешин услышал, что пленные по большей части имеют семьи на родине, а здесь заводят новые и что все равно покинут они эти новые семьи, когда придет время уезжать из плена.

— Ну, как детишки ваши живут в Германии, сведения имеете? — спросил он строго Раскоттена.

— Дети, киндер, — Раскоттен покачал головой. — Дети нет.

Грешин увидел по голубым глазам Раскоттена, что он не врет и обрадовался.



Днем Смелычаков спал. Приспособить день для сна, превратить его в ночь, это то же самое, что заставить скакуна итти рысью. Ночь—рысь, день—галоп. И день, долженствующий быть ночью, шел, как ему и следовало итти, рывками, толчками, и сон Смелычакова был не спокоен. Когда просыпался Смелычаков, видел он солнце, светлые пятна на стенах, слышал тихое жужжание дня и потому, несмотря на то, что спал днем уж много лет, привыкнуть к такому сну не мог никак. Каждый раз, когда просыпался, казалось, что будет впереди настоящий ночной сон.

Но ночного сна не было уже много лет. Была ночная дремота на стоянках, какая-то ощутимая, трезвая ночь. И в сущности это была даже не ночь, а просто-напросто темнота. Груды мягкой темноты были раскинуты повсюду, темнота подползала совсем близко, закрывала лошадь, ползла к небу, закрывала и его, но все же это была не ночь, потому что спать не хотелось, потому что не было ночных оркестров, не было дали. Был выкрашенный черной, легко смывающейся краской день. Не было глубины, ночь не вырастала из земли, ночь не сливалась с домами, с булыжной мостовой, с небом, она была, как ртуть в сосуде, при малейшем колебании всюду были видны ее границы.

Вчера поломалась ось у пролетки, и Смелычаков приехал домой часа в два ночи. Он лег на свою койку, но спать не мог. Он отвык спать ночью. Днем позвал он каретника. Каретник чинить пролетку отказался.

— Смысла нет ее чинить, — сказал он Смелычакову, — если бы хороший материал поставить, тогда есть смысл. Пролетка-то старая, ведь и рессоры надо менять, и левое крыло. Если бы был хороший материал, тогда действительно был бы смысл. А так почишишь на один день.

— Почему же материала нет? — спросил Смелычаков.

— Война, потому и нет материала.

Смелычаков не умел долго разговаривать. Каретник ушел. Смелычаков некоторое время смотрел ему вслед, потом, вспомнив что-то, догнал.

— Что же мне делать, — спросил Смелычаков. — Как с пролеткой быть?

— Бросить и забыть, — ответил словоохотливый каретник. — Какая же это пролетка. Хлам. Конечно, если бы был хороший материал, тогда б ее можно было в порядок привести. А так смысла нет за нее браться.

— А денег у меня на новую пролетку нет, — сказал Смелычаков. — Где же денег достать?

— Ты подожди о деньгах говорить. Ты найди сперва, где ее, новую пролетку, купить, найди, а потом о деньгах говори. Ее, новую-то, сейчас нигде и не купишь. Война. Какие фабрики были, на военные цели они переведены. Материалу опять тоже нету. Вот война кончится, тогда конечно другое дело будет.

— А когда она кончится? — спросил Смелычаков.

— Этого никто знать не может, когда кончится. Немцы-то все напирают. Всех они бить хотят. Такой народ.

Смелычаков вернулся к себе, сел на койку и так сидел, уставившись в одну точку, долгое время. В сарае стояла сломанная пролетка. Несмотря на то, что мог Смелычаков сейчас ходить по комнате сколько угодно, несмотря на то, что были у него здоровые ноги, сознавал себя сейчас Смелычаков калекой. Точно не ось была сломана у пролетки, а у него, у Смелычакова, была сломана нога. Он как-то забыл сейчас о том, что пролетку тянет рыжая лошаденка, спокойно стоящая теперь в конюшне. Ему показалось, что это он, Смелычаков, тянет пролетку, что он тянул ее всегда; и вот теперь стал он калекой и пролетку больше тянуть не будет. Он пошел в конюшню, лошадь спокойно жевала сено.

— Не сочувствует, — подумал Смелычаков и ударил лошадь кулаком по морде. Потом вышел из конюшни и направился в трактир.

В трактире он потребовал водки и пил долго и жадно. Все бывшие в трактире люди с опаской глядели на него. Было известно всем, что во хмелю Смелычаков буен и жесток.

— Война, — говорил Смелычаков громко, ни к кому собственно не обращаясь. — Война. А где немцы? Покажите мне немцев. Почему я никогда немцев не видел?

Он вышел из трактира. Проходя мимо окна Грешина, он увидел Раскоттена.

— Немец? — спросил Смельчаков, и сам ответил себе. — Да, немец. Ну, погоди, немец, я сейчас.

Он пошел через двор и через минуту появился в маленькой хрупкой комнатке Марии. Он подошел к Раскоттену и плюнул ему в лицо.

— Обижаешься, — спросил он. — А куска хлеба человека лишить, это хорошо по-вашему? Это вполне возможно по-вашему. Материалов нету. Всех хотите уничтожить.

Он кричал громко, около окна столпился народ.

— Они у нас свободно живут, — сказал водопроводчик Тучин, — по городу ходят очень даже свободно. Кто мы? Они хотят Россию со всех сторон окружить. Армия чтобы подошла, а эти изнутри.

— Я тебя обратно возвращу, — крикнул Смельчаков, схватил Раскоттена, приподнял и вытолкнул в окно.

— Я его сейчас выучу, — сказал он и выпрыгнул сам. Он наклонился для того, чтобы поднять с мостовой камень потяжелее.

— Баб завели русских, — крикнул кто-то. — Чего же им теперь не жить. При бабах, при хлебе вольном. У нас кусок отберут и им отдадут. Ишь, как испугался, глазами хлопает. Не нравится ему.

Толпа захохотала. Три года длилась уже война; «немец» — было зловещим словом. Все пороки, казалось, были заключены в этом слове. Приходили с фронта искалеченные, ничего непонимающие, озлобленные люди. Становилось голодно, и причиной всего этого были немцы.

Раскоттен был бледен, он прижимался к стене, как к товарищу, сильному товарищу, который мог спасти его.

— Ребята, — кричал Филов, — что вы, разве так можно?

— Немцев друг, — сказал злобно сапожник Кадкин, у которого недавно убили двух сыновей на войне. — Немцев благодетель.

У Кадкина сжались губы, задергалась на лице гримаса, и он сосредоточенно, аккуратно ударил Раскоттена.

— Бей немцев, — крикнул кто-то весело.

— Он не немец, — кричал отчаянно Филов, — он не немец, он сапожник.

Филов бросился в свою комнату, поспешно схватил ботинок с наполовину прибитой подошвой, горсть деревянных гвоздей, молоток и шило. — Он не немец, — крикнул Филов опять и сунул Раскоттену ботинок, молоток и гвозди.

Раскоттен понял. Он опустился на землю, на корточки, пригнул моментально ботинок между ног, сунул в рот гвозди и быстро-быстро стал вынимать изо рта и набивать по одному в подошву. Кровь была у него во рту, гвозди были красные. Раскоттен работал быстро, делая те профессиональные движения, какие делают сапожники всех национальностей. Удар молотком, шилом прокалывается подошва, удар молотком, гвоздь вбивается в дырку, сжимаются губы, опять удар молотком, опять прокалывается шилом подошва... Он сидел, чуть-чуть скосив голову. Он не похож был сейчас на солдата, на иностранца. Вокруг него была мастерская. Его профессиональные движения создавали эту мастерскую, она как бы была в воздухе, она окружала его, и он работал в ней работал так, как работают тысячи других сапожников.

Толпа отступила.

— Да, — сказал Кадкин, — мастеровой человек, что говорить.

— Ну, чего вам, — кричал тогда Филов. — Расходиться надо.

Народ стал постепенно расходиться.

Только Смельчаков остался лежать на земле. Он так и не нашел камня, он заснул.

— Вы не ходите уж больше к нам, — сказал Филов Раскоттену. — Раз так прошло, а в другой раз действительно убьют. Мастерские-то наши конечно теперь вас не тронут. Да ведь у нас на Заборной улице и хулиганов много. Всякий темный народ у нас на Заборной улице проживает. Недели не проходит, чтобы какого-нибудь убийства не было. Тут народ аховый.

Раскоттен ничего не ответил Филову, повернулся и пошел. Пройдя несколько шагов, он обернулся. Маша была в окне. Она плакала. Он поклонился ей и пошел дальше. На углу Заборной улицы его догнал Кадкин. Раскоттен испуганно отшатнулся.

— Ты не бойся, иди, — сказал Кадкин, — у меня, понимаешь, два сына на войне убито, а я — старик и работать уж почти что не могу. Это хорошо, скажи пожалуйста, что сыновей убили. Как это мне, приятно? Нет, ты скажи, как потвоему? А мы что понимаем? Мы, как сказать, народ глупый, необразованный народ. А вот есть просвещенные люди, которые тоже против вас. Крушить, говорят, немцев надо. Знаю я вот одного человека, образованный, студент, из тех самых, что в пятом году баа мутили против царя, а что он говорит? Национальность для меня, говорит, первое дело, несмотря ни на что. Нам, как сказать, людям темным, понять все очень трудно, а он говорит: я, говорит, всецело за трудящуюся массу, но все равно, говорит, родина, все равно, говорит, немцы.

— Ты это о чем, — спросил подошедший незаметно Грешин.

— Я вот о господине Краевиче сейчас говорил, — сказал Кадкин. — Это ваш, как сказать, знакомый, вы к нему даже в гости, Александр Петрович, ходили, а я его конечно не знаю, но разговор с ним имел. Так вот он очень насчет немцев свирепый.

— Краевич — меньшевик, он демократ, — сказал строго Грешин. — Ты об нем рассуждать не можешь. Он в тюрьме не раз сидел за свои мысли. Ты, Кадкин, понять такого человека не можешь. У таких людей тонкие рассуждения, уж если они говорят насчет, скажем, национальности, то наверно знают об этом.

— Я, я вам скажу, Александр Петрович, — крикнул Кадкин, — я вам скажу, что это чистая ерунда, между трудящимися людьми, между нашим братом, мастеровым, национальности никакой быть не может, потому равные мы. Вот я могу этого самого немца обнять и прощения могу у него просить за свое поведение. А почему так вышло? Потому что необразованные мы, темные.

— Так как же ты считаешь, — спросил ехидно Александр Петрович, — ты как считаешь, что интеллигентный студент Краевич хуже тебя в этих вопросах разбирается. Может быть, он не понимает того, что ты понимаешь?

— Об этом я не знаю, — сказал стихая Кадкин. — Конечно, возможное де-

ло, что и понимает он побольше нас, а только мастеровой мастеровому завсегда, я скажу, друг.

Он попрощался с Раскоттенем и ушел.

— Вы насчет социал-демократ говорили, — сказал Раскоттен, — о, я знаю, кто они такой.

Грешин подошел к дому как раз в тот момент, когда Филову удалось наконец растолкать Смельчакова.

— Иди, иди, — сказал Филов, — нечего здесь лежать.

— Да, нечего, идите, — выкрикнула неожиданно Мария.

Филов и Грешин с удивлением посмотрели на нее: Мария всегда говорила тихо. Теперь она плакала.

— Убивается ваша барышня, — сказал Смельчаков Грешину.

— Иди, иди, — закричал Филов. — Убийство затеял, скверный ты человек.

— Это я сознаю, — сказал Смельчаков, — это я полностью сознаю, а вот скажите мне, когда ж мне теперь выезжать — днем нельзя и ночью нельзя. Без пролетки я остался. А причина этому — война. Что мне теперь делать, скажите?

Ему никто не ответил, он постоял с минуту и пошел.

А Раскоттен в это время подходил к лагерю. Деревянный гвоздь был у него во рту. Раскоттен выплюнул гвоздь, потом подобрал и спрятал в бумажник. В бараке было душно, Раскоттен лег на свою койку. Он лежал полчаса, потом, точно вспомнив что-то, вскочил и побежал в самый конец барака. Здесь, раскинувшись во сне, лежал на той же койке Ганс Миллер. Раскоттен толкнул его.

— Что такое? — спросил Миллер испуганно.

— Это я, — сказал Раскоттен. — Скажите мне, Миллер, кажется, вы говорили, что вы социал-демократ?

— О, да, — ответил Миллер улыбаясь. — Я социал-демократ.

Раскоттен ударил Миллера по лицу.

Филов дня через два получил письмо. Вот его начало:

«Я скажу прямо. Мне понятно, что вы сами хотите его завладеть. И все было подстроено, чтобы я ушел или чтобы был убит. Но мне смешно теперь...»

Подписано было письмо так: «По поручению германского военнопленного Фридриха Раскоттена русский солдат Вертунов».

— Ну и неблагодарный человек,—сказал Филов, прочтя письмо.—Я его, можно сказать, спас, а у него вот какие слова в ответ нашлись. «Сам хотел завладеть». Мне ведь 50 лет. Что он не понимает разве?

И тут Филов подумал: «А что, если действительно жениться».

Если бы не получил Филов письма от Раскоттена, не пришло бы это ему никогда в голову. «Человек пишет об этом, значит тут ничего такого нет. Что ж с того, что пятьдесят лет, и в такие годы жениться можно». Так думал Филов.

На другой день он смущенно говорил Марии.

— Я одинокий человек. Мария Александровна. Но я себя не портил, нет, я себя не портил. А вы барышня, которую я знаю очень даже хорошо...

Грешин усмехнулся, когда Филов сообщил ему о том, что хочет жениться на Марии.

— Судьба ей видно за сапожником быть,—сказал Грешин.—Сы сапожник и Раскоттен сапожник; только есть между вами большая разница, он как бы совсем другой человек. Да, другой они народ, немцы.

Филов сказал смущенно.

— Если вы отрицаете, Александр Петрович, я против вас не пойду.

— Да, нет, женись,—сказал Грешин.—Я разве против. Женись.

— Конечно, вам обидно. Вы мечтали иметь зятя интеллигентного, а я конечно человек простой. Ведь я ваши стремления хорошо знаю.

— Нет у меня никаких стремлений,—сказал Грешин.—Раньше были, а теперь нет. Лет много мне уже, Филов. Скоро все кончается. А потом,—Грешин усмехнулся,—а потом возможное дело, все мои стремления от

скуки были, от скуки и от невыносимой нашей жизни. А что я понимаю, простой ведь я человек. Да, что касается книг, так ведь я прочел всего-навсего три книги, а может быть, четыре, ну уж от силы пять. Простой я человек, а вот мечтал и мечтаниями от скуки спасался.

Филов с удивлением глядел теперь на Грешина. Грешин никогда так не говорил о себе. Филову стало жалко Грешина.

Через месяц Филов женился на Марии. В день свадьбы, когда Филов был уже слегка пьян, его вызвали на двор. Там дождался его человек в голубой немецкой шинели.

— Вы Филов?—спросил немец.

— Я.

— Раскоттен Фридрих просил передать вам,—сказал немец ломаным языком,—просил передать вам, что он очень горюет. Он, когда писал письмо вам, был как сумасшедший, вы его спасли от смерти, а он обиду вам нанес. Он просил передать, что очень горюет.

— Я не сержусь,—сказал Филов.

— Грех было бы сердиться,—голом немца дрогнуло.—Грех было бы сердиться, потому что Фридрих Раскоттен вчера ночью повесился в бараке.

Филов сокрушенно покачал головой.

— Он был самым счастливым человеком в нашем бараке,—продолжал немец.—Он ходил в город, имел знакомую семью, он был рад. Потом он стал самым несчастным человеком в нашем бараке, а теперь,—немец всхлипнул,—теперь он снова самый счастливый человек.

— Зайдите в дом,—попросил Филов.

Немец отказался. Филов вынес ему рюмку водки и кусок пирога. Немец выпил водку, поблагодарил, положил пирог в карман шинели и пошел.

Филов долго смотрел ему вслед.

Москва 1930—31 г.

# Истина

АРКАДИЙ СИТКОВСКИЙ

Может, это  
                                только сон,  
Ветер знойной Азии.  
Время мчится колесом  
По путям фантазии.  
Хорошо в стране моей,  
Труд и быт  
                                раскованы,  
Над просторами полей  
Просинь васильковая.  
Нам — вперед!  
                                Но, видишь,  
  прет  
На дорожки взрытые  
Жалкий  
                                безыдейный сброд  
Вдребезги разбитого.  
Сколько их! —  
                                Глаза раскрыв,  
Приглядишься к ним пристально —  
Завихляли  
                                вкось  
  и вкривь  
С тротуара истины.  
Их зловерный шепоток  
Лезет в ухо сразу нам,  
Прячут в сердце,  
                                как в чулок,  
То, что не досказано.  
«Ты — поэт,  
                                и то осип  
Выкриками грубыми.  
Все Кузбасс,  
                                Донбасс,  
  Турксиб  
Увлеченье трубами,  
Разве вымысел?  
                                Ну, что ж,  
Что былое смолото.

Индустрия,  
                                словно нож,  
Подрезает молодость.  
Пот насквозь проел плоды,  
Чахнут звезды свежести,  
Не осталось теплоты  
Лирики и нежности». —  
Сколько их! —  
                                Глаза раскрыв,  
Приглядишься к ним пристально —  
Завихляли  
                                вкось  
  и вкривь  
С тротуара истины.  
Над планетой,  
                                как планер,  
Солнце тихо движется.  
Знает даже пионер:  
Это только видится.  
В январе,  
                                когда пурга  
Дышит злой одышкой.  
Небо,  
                                поле  
  и река  
Кажутся ледышками.  
Но попробуй,  
                                на реке  
Сделай прорубь узкую,  
Бубен льда  
                                держа в руке,  
Спяжут реки «русскую». —  
Полог снега  
                                подыми  
В непогоду тряскую.  
Посмотри:  
                                земля дымит  
Молодо и ласково.  
Я любим —  
                                щека к щеке! —

Вьюга, вей порошею!  
 Целый мир  
                   в одном зрачке,  
 А зрачок — с горошину.  
 Вам, лжецам, —  
                   и в глаз  
                                   и в бровь!  
 Вам — осколкам прошлого:  
 Есть в стране моей любовь,  
 Лирика хорошая.  
 В стройку дней  
                   упругость жила  
 Нами всеми вложена  
 Потому, что наша жизнь  
 На любовь помножена.  
 Все, что строим  
                   здесь,  
                                   у нас

Все любовью метится  
 Для тебя, рабочий класс,  
 Ради человечества.  
 Где еще,  
                   в стране какой  
 Столько яркой свежести?  
 Не сыскать  
                   нигде  
                                   такой  
 Лирики и нежности.  
 Не заметит  
                   глаз  
                                   чужой —  
 На былое пристальный! —  
 Радости  
                   земной,  
                                   большой  
 Настоящей истины.



# Черное золото

Роман

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

(Окончание<sup>1</sup>)

43

Струйка дыма из-за развернутой газеты «Общее дело» сталась по маленькому салону. Видны несколько задранные брюки Михаила Александровича Стаховича и толстые подошвы,—остальное скрыто за газетой. Пробило час. Газета настороженно зашевелилась. В столовой звякала посуда, на цыпочках ходил Иван. Наконец — шум машины у под'езда. Хлопнула парадная дверь. В прихожей вздохнули, начали снимать калоши... (В Париже-то калоши!) В салон вошел Львов, рассеянно потирая руки, как будто с мороза. По всему заметно, что в политическом совещании, откуда он приехал завтракать, — самые серьезные неприятности...

— Семь минут второго, — не олукая газеты, густовато проговорил Михаил Александрович.

Георгий Евгеньевич остановился и некоторое время глядел невидяще. В беловатых глазах мелькнуло изумление.

— Миша, ты читаешь «Общее дело?»

— Почему это тебя так встревожило? Я уже несколько дней читаю русские газеты, это меня забавляет.

— Гм... Это тебя забавляет...

Львов сделал попытку заходить по красному бобрику салона. Его внимание привлек вихрь осеннего ветра, гнавший сухие листья от подножия Эйфелевой башни по улице Монтесю, закружив, ветер швырнул их в окно.

— Я не нахожу в этом ничего забав-

ного, — сказал Львов. — Если Бурцев несколько односторонне освещает события, то надо же считаться с настроением французов... Вчера Николай Хрисанфович (Денисов) с трясущимися губами умолял меня ослабить впечатление от неудачи Юденича, — не наносить удара по парижской бирже... Под Петроградом временная заминка, может быть, чисто тактическая... Вот все, что нам здесь известно, в конце концов... И то, что у Николая Хрисанфовича тряслись губы...

Стахович — из-за газеты:

— Да, да, да, — тряслись губы... Увидишь когда-нибудь, что я прав: Денисов — жулик...

— Так вот... Он дал мне понять, что неудача Юденича — никак не местного значения, даже не общерусского, но европейского, мирового... И удар по бирже прежде всего опрокинулся бы на нас... Стало быть, нужно писать так, как пишет Бурцев... Можно лгать более остроумно, согласен, но у нас нет талантливых журналистов! Александр Яблоновский, Руманов, Лоло... Их много, но это какие-то грязные чиновники Освага... Ты представляешь, как все мне далеко и чуждо, и отвратительно: лживая пресса, биржа, спекулянты, французские интересы, английские интересы, негласный представитель Детердинга на политическом совещании... Но что делать, Миша? Все более начинаешь убеждаться, что не ты руководишь, а тебя перебрасывают, как мячик. Быть чистоплотным очень, очень приятно... Я тебе очень завидую.

Он заходил по красному бобрику, — руки сзади под пиджаком, голова с глад-

<sup>1</sup>) См. «Новый мир», кн. кн. 1—11 с. г.

ко зачесанными, цвета алюминия, поредевшими волосами опущена, уперта в неразрешимое:

— В девятьсот семнадцатом я не хотел брать власть, я не хотел!.. Но не считая себя в праве уклониться от долга совести... Из всего временного правительства я один знал мужика... И я верил, я и сейчас не откажусь от моей веры, иначе бы я давно сошел с ума... Гармония, озаренная высшей правдой, восторжествует над ожесточенной материей... Путь к правде—через страдания и кровь, и, может быть, сами большевики посланы России высшим разумом...

Стахович примирительно:

— Это очень по-русски: гегельянство, переваренное в помещицкой усадьбе... Это — очень наше...

Львов взглянул на «Общее дело», прикрывавшее друга, коротко кашлянул. Походил:

— Неудача под Петроградом неисчислима для нас последствиями гораздо более тяжкими, чем поражение стотысячной армии Колчака, чем неудачи Деникина под Орлом и Воронежем. Петроград, это уже — Европа, под Петроградом завязан узел мировой политики... Тебе известно, что эстонцы начали переговоры о мире с большевиками? Сегодня мне преподнесли эту новость. (Сдержанно пофыркал.) Генерал Юденич должен был взять Петроград, как разгрызть орешек: поставить английскую и французскую оппозицию перед существующим фактом... Он устраивает невероятный шум, рассылает союзникам хвастливые телеграммы и не берет Петрограда...

— Юденич истинный чудо-богатырь, было бы странно ждать от него чего-нибудь другого, — Михаил Александрович опустил газету. Лицо его было медно-красное (стаканчик коньяку перед завтраком), глаза строгие, соколиные под косматыми бровями, во рту, приподнимаемая желтоватый ус, — длинный мундштук. — Кстати, я где-то встречал этого Юденича, редкостный болван и жулик. (Он выпустил клуб дыма и осторожно положил мундштук.) Английская и французская оппозиция будут в восторге, если мы окончательно посрамимся под Петроградом. На наших спинах эти господа из профессиональных союзов

прыгнут к власти. Увидишь. И я утверждал также не раз, что мы неминуемо осрамимся под Петроградом...

— Почему неминуемо? Прости меня, Миша... Ты комфортабельно устраиваешься с газетой и папироской... (Голос Георгия Евгеньевича задрожал от горечи.) Прости меня... Ты опять злоупотреблял спиртным... (Пить Михаилу Александровичу было запрещено, — он недоуменно поднял плечи и округлил глаза, как бы от явного поклепа.) Ты безапелляционно высказываешься о событиях, которые — прости меня — уже совершились... Ты представляешь другим пачкать руки... Нет, почему неминуемо? Почему? Если бы адмирал Коуэн выступил со всем флотом двадцать первого октября... Если бы финны двинули армию за Сестру-реку... Если бы эстонцы оказали нам действительную помощь... Почему неминуемо?

— Во-первых, — сказал Михаил Александрович и от подбородка захватил почти аршинной длины бороду, в порядке уложил ее на обсыпанном пелом жилете, — во-первых, что касается комфорта... Я — бывший помещик и бывший дворянин, бывший потому, что советская конституция отменила наши привилегии, а вы пока еще не отменили советской конституции. Как человек бывший и уже в годах (он не любил слова «старик») считаю наиболее добросовестным жить на ту единственную привилегию, которую у меня отнять нельзя, и отнять никто не в праве: мое свободомыслие... Дворянское занятие, — согласен... Я сижу у окна, курю табак, читаю о политике и рассуждаю. Это никого ни к чему не обязывает, это безвредно, и это меня забавляет... Мой комфорт!.. (Опять схватил, вытянул бороду, и она мягко рассыпалась по груди.) Комфорт я купил себе тем, что, ни на кого не сердясь, спокойно принял факт: я — бывший... Я никогда не был слишком красным, но держался либеральных мыслей, как всякий порядочный человек... Почему же сейчас, когда я — пролетарий, я должен выкидывать из пасти огонь на моих бывших мужиков? Скажи, имею я право хотя бы на свободомыслие?

Львов положил руки на голову, буд-то защищая ее от ударов, и так прошел.



ся. Остановился у окна, — за ним снова пронесли желтые листья, столь же бесполезные, как несбыточные мечтания, отговоренные слова.

— Месяц тому назад я сказал бы тебе: нет, не имеешь права... Во имя тех жертв, которые... (Опять сделал движение к голове, но решительно засунул руки в карманы, потряс ключами и медяками.) Да, Миша, ты имеешь право на свободомыслие, и мы все имеем это право, и, может быть, это наш самый страшный невыполненный долг... Встает вопрос, — я говорю о себе, — должен ли я продолжать убийство русскими русскими, продолжать, сознавая, что на моей совести — море крови... Или уйти, уйти, уйти, пока не поздно, или уйти, зная, что поздно. Я не годен для борьбы, у меня нет сознания правоты... Миша, сегодня на совещании мне дали просмотреть номер московской газеты... Там — обо мне... Я принесу сейчас... (Пошел к двери, но вернулся.) Они пишут: я — крупный помещик, до войны был заинтересован в переходе сельского хозяйства на интенсивные формы — свеклосахарные, спиртовые заводы... Понимаешь?.. Отсюда — заинтересован в развитии национального капитала, отсюда я — во главе кадетской партии... Во время войны я заинтересован в широчайшем сбыте на нужды армии продукции с моих латифундий... (Он особенно, с горькой иронией подчеркнул это слово.) Отсюда — я становлюсь во главе Земского союза, чтобы организовать тыл и возможно дольше затянуть войну, набивающую карманы помещикам... Теперь я — во главе самой реакционной группы крупных земельных собственников, определяющих политику Деникина. Я — во главе интервенции, иными словами, я продаю Россию, я — предатель, я — враг...

Он развел руками и с силой хлопнул себя по ляжкам. Стахович, глядя мимо друга:

— У них это называется диалектикой. Очень неглупая штука. Тоже от Гегеля...

— Как бы это ни называлось, я прочел, и мне будто плеснули в лицо помоями... Сейчас принесу... (Пошел, но опять вернулся.) Я перечел еще раз в автомобиле... Миша, у меня волосы встали

дыбом: ведь фактически это все так и есть. Миллионы русских людей с величайшей ненавистью должны произносить мое имя... Как я могу доказать, что не жадностью к деньгам обусловлены мои поступки... Мне лично — монастырская келья да ломоть хлеба. Может быть, я честолюбив, что? Я был кадетом, потому что хотел широкого парламентаризма для моей несчастной страны... Я пошел в Земский союз, потому что не мог же не хотеть победы несчастной России! Я борюсь с большевиками, потому что... (Он вдруг махнул рукой.) Да, да, это все выморочные слова, вымоченные в крови, в слюне осважских журналистов... Выходит так, что какие-то силы толкали меня, и я делал вид, что не замечаю этих сил и вместо них подставлял свое прекраснодушие... Но согласиться с этим — капитуляция! Смерть заживо! Самое страшное, Миша, что я ослеп, я не верю себе... А может быть, и в самом деле мной руководили матерьяльные силы? Что? Но этих ниточек, привязанных к моим рукам и ногам, я не могу ощупать, не вижу. И дергаюсь, как петрушка, на ужас и позорище всему миру? (Он весь стал измятый и пыльный. Глаза погасли. Свернул к двери.) Ну, вот... Я пойду на часик прилягу...

Насупившись, Михаил Александрович проводил его соколиным взглядом. Решительно растрепал бороду и двинулся в столовую завтракать в одиночестве... Выпил рюмку водки, подпер голову и сидел, не притрогиваясь к блюдам...

Он давно видел приближение гибели. В особенности ощутил это сейчас, с запутавшимся стариком Львовым... «Да, да, нужно уходить, засиделись до неприличия... Устраивали воскресные школы и английские парки, шумели и говорили прекрасные слова, поднимали на ноги печать, если какому-нибудь уряднику случалось побить мужичка. Львов убоины не ест, как Лев Толстой... Либеральные земства, воскресные школы, вегетарьянство, непротивление злу, англо-мания и «Русские ведомости», и — логический финал: массовое убийство русских, этих же самых мужиков... В крови — по горло... И в темени — диалектический гвоздь. Нужно уходить...»

В половине второго затрещал телефонный звонок. Стахович вытер салфеткой усы и тяжело подошел к телефону. Голос Денисова кричал:

— ... пожалуйста, передайте Георгию Евгеньевичу — сегодня я еду в Лондон с ночным... Да, он знает, в связи с Детердингом... Умоляю еще раз поддерживать сведения из Ревеля... До свиданья, Михаил Александрович, вам привезу хороших сигар....

В кафе Фукьец на Елисейских полях, у стойки бара сидели на высоких табуретках Нальмов и Александр Левант. Пили «мартини». Левант остервенело жевал сигару:

— Василий Алексеевич, ведь минуты дороги...

Нальмов, трезвый, похудевший, очень приличный в мохнатом черном пиджаке, черном галстуке и перчатках (на руках его была экзема, повидимому нервного происхождения), молча разглядывал этикетки бутылок...

— Отложим до вечера... Давайте дела сначала... слушайте, в двух словах я вам объясню, милый вы человек...

— Короче и без хамства, — сказал Нальмов.

— Хорошо... Мои сведения совершенно достоверные, самые свежие. Юденич окончательно просыпался: его армия интернирована на эстонской границе. Наднях в английской палате будет запрос о кредитах Юденичу, и Черчилль предост его, как миленького... Финны без французских денег не полезут на Петроград, французы денег не дадут, им самим до чорта нужны кредиты, франк валится в пропасть, заметьте, это — сегодняшние сведения... Деникинские добровольцы драпают к Черному морю, в тылу у Деникина — поголовные востания. В Сибири и того хуже. Интервенция в этом году сорвалась. Еще два три дня — об этом заговорят малые дети... Представляете, какие золотые часы мы пропускаем?

— Ну, и что же?

— Нужно продавать, продавать! (Левант задышал спертым жаром в ухо Нальмову.) Продавать на декабрь, на январь, на февраль...

— Что продавать?

— В первую голову — нефтяные акции... Почему, спросите? Потому что это самые загадочные ценности. Вокруг них обаяние Детердинга. Акции каких-нибудь уральских заводов? Железнодорожные? Этим никого не заинтересует: заводы разрушены, русские железные дороги, как каналы на Марсе, — может быть, они есть, может быть, их и нет... Но за бакинской и грозненской нефтью — английский большой флот, политика Черчилля, польская и румынская армии... Это производит впечатление! Другое дело, когда именно русская нефть попадет к англичанам. Между нами, — не раньше будущей осени... А покуда всю эту зиму нефтяные бумаги будут шататься и валиться. Мы играем на понижение. Представляете, что можно взять на разнице!?

— У вас же нет нефтяных акций...

— Наивный ребенок! Мне нужна только биржевая кредитоспособность. А ее получу через того же Монташева. Чорт с ним, пускай ишак снимает львиную долю, нам с вами хватит на кусочек хлеба... (Испачканные никотином зубы его заколотались от смеха.) Вы поняли мою мысль? Звоните Монташеву, едем к нему немедленно.

— Я никуда не поеду, покуда вы не отдадите мне письма.

— Богом клянусь, письмо в чемодане, в бумагах...

— Врете, письмо при вас...

Левант схватил рюмку и опрокинул ледяной «мартини» в пересохшее горло. Нальмов искоса наблюдал за ним. Левант только-что вернулся из поездки Стокгольм — Ревель. Он должен был передать Вере Юрьевне письмо Нальмова и во что бы то ни стало привезти ответ. Вот уже месяц, как она не отвечала ни на письма, ни на телеграммы. По некоторым признакам Нальмов был почти уверен, что Левант привез ответ, а это означало, что Вера Юрьевна жива... (Он даже и на это не твердо рассчитывал...) Но Левант по обыкновению лгал и вывертывался и дрожал от какого-то паршивого нетерпения...

— Слушайте, Левант, я не послал до сих пор к чорту всю вашу шайку вместе с вами только из-за Веры Юрьевны...

— Это все мной учтено.

— Я одно только могу предположить: ответ Веры Юрьевны сфабрикован Этингером, и вы боитесь, что я обнаружу это... И Веру Юрьевну там убили еще месяц тому назад...

— Знаете, шутки имеют некоторый предел, и я просил бы...

Тучный красавец Аугустин, приготовляя новую порцию коктейля, крутил кусок льда в большом фужере, Налымов сказал по-французски:

— Очень хорошо, я иду к прокуратуре...

Положил мелочь на прилавок, поправил шляпу, слез с высокой табуретки и вышел на улицу — пряменький, с поднятыми плечами. Аугустин, с видимым огорчением Леванту:

— Месье пьет один?

— Приготовьте столик, мы завтракаем!

Левант выскочил на тротуар, где холодный ветер гнал листья, рвал шляпы, трепал юбки, пел злую песню, раскачивая голые сучья платанов. Налымов на углу, подняв трость, подзывал такси. Левант подошел к нему, опередив такси:

— Василий Алексеевич, не глупите... Вернемся... Я все расскажу про Веру Юрьевну...

— Письмо....

— Успокойтесь, при мне в кармане... Не могу же, чорт возьми, на ветру...

Налымов молча повернул к Фукецу. Сели за тот же столик, что и в первую встречу (в начале лета), так же между ними свесила осеннюю головку роза. Левант, покосясь на стенные часы:

— Давайте скоро... Я хотел отдать вам письмо завтра, ну — сегодня вечером... Знаю же я, какой вы сумасбродный человек... А ведь дела, дела, — ни часу промедления... Ну, ладно... (Вынул помятый конверт, прикрыл его рукой.) Только несколько слов... Я не меньше вашего, Василий Алексеевич, хочу развязаться с этой бандитской компанией... Лаше всех нас приведет в тюрьму, на эшафот!.. У Лаше пропал политический нюх, он уже неспособен к быстрым поворотам... Вчера было вчера, а на сегодняшний день его пресловутая лига — просто шайка грязных авантюристов. Вы понимаете меня. Если англичане, не поморщившись, передали Юденича с целой армией, — что лига? —

каблуком раздавят... Я в лицо это сказал Лаше.... Он полез за револьвером, — у него теперь один ответ... Дурак, заварил грандиознейшую кашу, впутал генеральные штабы, контрразведки, а сделал мелкую грязь, пшик, что гораздо лучше сделает какой-нибудь провинциальный бандит... Этому дьяволу хочется сыграть роль мирового злодея, а весь-то он — беспаспортный бродяга, хопник, содержатель публичного дома в Афинах, марсельский сутенер, форточник из Скутари, вышибала из вонючего переулка в Галате...

Слова вместе с крошками вылетали изо рта Леванта. Налымов негромко и угрожающе:

— Письмо...

— Сейчас... Как я и думал, все его царские сокровища — чистый блеф... Не знаю, что он там натворил, — результат: какая-то сотня тысяч крон... Стоило поднимать чуть ли не версальские знамена!.. Обидно, Василий Алексеевич. Открыгой, честной, законной игрой, какую я вам предлагаю, мы легко заработаем вдвое... Сейчас о письме... Минутку... Лаше — писатель, эстет, любитель сильных ощущений... Бывший агент тайной полиции при Абдул-Гамиде да еще — по особому отделу загадочных убийств, таинственных исчезновений, пыток в стамбульских подземельях, денежных вымогательств и прочей старотурецкой романтики. Вот... (Ногтем шелкнул о зуб.) Вот как я его знаю... Он страшен, когда у него за спиной — сила, а персонально он — трус и малодушный истерик. Он еще не понял, что его участь решилась под Петроградом... Да, да, вы увидите: скоро поделят и Черчилль, и сам Клемансо... Довольно размахивать револьвером! Либерализм, гуманность, законность — вот о чем сегодня говорят на бирже. Военные запасы все разбазарены. Спекулянты на военных стоках проспекулировались. Довольно кустарщины! Идет серьезный промышленник и серьезный купец... Да, да, сейчас, потерпите минутку, я к письму именно и подхожу. Предлагаю вам, Василий Алексеевич, решительно и как можно скорее отделаться от Лаше... Он будет бешено сопротивляться, и наша борьба упрется в борьбу за Веру Юрьевну... Не удивляйтесь... Лаше прекрас-

но понимает, что именно эта женщина погубит его с головой. Он бережет ее, как свой глаз. Он давно понял, что жестоко промахнулся, отослав вас в Париж. Если бы не вы, от Веры Юрьевны он отвязался бы в два счета. Но вы — на-чеку, и вам терять нечего. Он это тоже понял. В игре из вас троих карта Лаше бита... Знаете, для чего он вызывал меня в Баль Станес? Предложил убрать вас старотурецким способом, клянусь богом...

Налымов со слабой усмешкой:

— Что за способ?

— Так, порошок один, пустяк... Лаше потерял чувство современности. Сами понимаете, я без спора принял предложение... (Торопливо хохотнул, стукнув зубами.) И тогда он повел меня к Вере Юрьевне...

Налымов поднял желтоватое с двумя у рта морщинами безжизненное лицо и мутно уперся в бегающие глаза Леванта.

— Вера Юрьевна нездорова, давно уже — с месяц... Нервное расстройство, повидимому на почве белой горячки... Что касается комфорта, — все в порядке: у кровати — цветы, ваза с фруктами. Бывает врач... То, что Лаше писал вам и телеграфировал о ней, все соответствует действительности... Я прочел ей ваше письмо...

— Она в сознании?

— Временами... Я-то предполагаю, что на пятьдесят процентов у нее — симуляция, но этого Лаше конечно не высказал... Лаше предложил ей ответить вам, и она что-то долго писала. Он это взял, пошли вниз, и, как вы верно угадали, Эттингер под диктовку Лаше настрочил вам ответ от Веры Юрьевны...

Левант презрительно переброевал через стол письмо. Налымов не прикоснулся к нему. Левант вынул толстую записную книжку, аккуратно заполненную цифрами и знаками биржевых бюллетеней, перелистал, разогнул, протянул Налымову:

— Вы понимаете, без этого я бы и не начал с вами разговаривать. Мне-таки удалос перехитрить Лаше: покада они строчили вам ответ, я заскочил к Вере Юрьевне, шепнул: «Продолжайте этот курс, развязка скоро»... У нее глаза так и сверкнули... у сумасшедшей-то? И соб-

ственно ручно нацарапала вам пару слов... Читайте, этого не подделаешь..

Налымов с трудом разобрал большие слабые буквы поперек листочка записной книжки:

«... Велосипедист вез девочку с закрытыми глазами, помнишь, парк Сен-Клу? Я тебе сказала тогда... Все попрежнему... Только тобой... За все благодарю...»

— Василий Алексеевич, но, ради бога, давайте Веру Юрьевну отложим... Едем к Монташеву...

— Хорошо. Я верю вам, — сказал Налымов, осторожно вырывая из записной книжки листочек. — Что мы должны делать?

— Прежде всего — деньги, деньги, деньги...

У суетного и впечатлительного Леванта голова ушла в плечи, он сразу струсил, когда такси остановился у подъезда серокаменного пятиэтажного дома на набережной Сены.

— Это собственный его дом?

История превращения Леона Монташева из нищего эмигранта в миллионера была так стремительна и необычайна, что парижская пресса на несколько дней занялась этой сенсацией. Леон Монташев получил от Ройяль Дэтч Шелл двенадцать миллионов франков (за проданные Детердингу бакинские земли). Деньги он получил сразу на руки, все целиком, неожиданно, как землетрясение. Однажды утром шеф гостиницы Карлтон был вызван к Монташеву (только что вернувшемуся из Лондона). Предполагая, что дело идет о бутылке коньяку и бутылке шампанского в кредит, шеф послал вместо себя лакея узнать в чем дело.

Лакей, едва только отворил дверь, буквально был выбит в коридор ураганым ревом нервного русского. У бедного человека еще сохранялась бледность, когда он сообщал об этом шефу. Тогда шеф с окаменелым, недоступным ни на какое унижение лицом, без стука (что было прямым вызовом) вошел в номер к Монташеву, где, несмотря на бодрый утренний час, были спущены шторы, зажжены все электрические лампы, пахло виски и сигарами по меньшей мере шесть шиллингов и шесть пенса за штуку.

Леон Монташев, расставив ноги, стоял под люстрой. Карманы его необыкновенной, канареечной с розовым пиджамы оттопыривались. Усы торчали дыбом. Глаза бешено крутились:

— Счет!—заорал он, делая в воздухе широкий крестообразный жест.

— Хорошо, месье, я подам вам весь счет,—мертвым голосом ответил шеф, подчеркивая «весь», что обозначало восемьдесят тысяч франков или знакомство с комиссаром полиции, или подтяжки, привязанные одним концом к шее, другим—к дверной ручке. Шеф вышел. Счет немедленно был послан. Шеф, портье и два мускулистых коридорных стояли за дверью на случай атаки клиента. Они увидели (в дверную щель), как лакей подал счет, как чудовищный русский, не взглянув на него, не моргнув глазом, вытащил из карманов пиджамы пачки денег и одну за другой швырял их на серебряный поднос (дрожавший в руке лакея) и мимо—на ковер...

— Восемьдесят тысяч!—заревел Леон Монташев.—Восемь тысяч получи на чай... Пшел!—и под ноги невиноватому французу швырнул последнюю пачку. Шеф, портье и коридорные отступили от двери, охваченные сильным волнением.

В то же утро Монташев переехал в гостиницу Мажестик, в апартаменты, сдававшиеся обычно коронованным лицам и американцам с Пятого авеню. Темперамент его искал выхода. Он поминутно взрывался, так как Монташеву сразу показалось тесно в этом городишке расчетливых мещан. (Париж тогда еще только приспособливался к приему дорогих гостей.) Например: машины Рольс-Ройс он не мог найти ни в одном магазине,—предлагали заказать на фабрике и ждать полгода!.. А портные! Парижские портные шили на мертвецов! А женщины, чорт возьми! У самых шикарных (чьи портреты помещались в журнале «Вог») фантазия не шла дальше ужина в кабинете «Кафе де Пари» и тысячи франков в сумочку: «Мерси, мой шу-шу...», губы подмазала и—«Прощай, мой казак!»—и все безумство...

Попытки шуметь на Монмартре также не вывели души на простор. Самая дорогая котлета стоила 20 франков. Шампанское—50 франков с гарантированной

изжогой. Правда во всех кафе (слух о нем уже облетел Монмартр) «баловня судьбы» приветствовали джазбанды салютом,—он сидел, густо обсыпанный конфетти, обмотанный серпантинном, обвитый голыми руками девчонок. Его знаменитые усы, торчавшие из этой путаницы, зарисовывались монмартрскими художниками. Но это был не размах: здесь некуда девать и десяти тысяч франков. Красивая идея—откупить на всю ночь карусели и развлечения на бульваре Клиши—наткнулась на сопротивление полиции. Даже любимое дело—скаковая конюшня—не могло заполнить времени. Он купил четырех кровных жеребят и двух трехлеток для дерби, но и с этим приходилось ждать до весны. Вместо нищеты ему грозила скука.

С первых же дней к нему прилип жизнерадостный француз месье Сипин (никакой конечно не француз, повидимому просто—Сипкин), знающий Париж, как дно своего кошелька. С первым утренним кашлем счастливого миллионера Сипин проскальзывал в опочивальню со свежими новостями и игривыми предложениями. Присутствие его было тем более полезно, что, кроме оживления, он садился за пьянино, пел бульварные новинки, имитировал знаменитостей, изображал один целый оркестр, чудно лаял собакой, до жути правдиво изображал автомобильные гудки, мог съесть сколько угодно и что угодно, он зорко следил за многочисленными просителями, надоедливо крутившимися вокруг отеля Мажестик.

По его совету Монташев купил дворец на набережной Сены. Правда в особняке где-нибудь на авеню Великой Армии шик больше, но за полудоходным домом (третий и четвертый этажи сдавались) были преимущества: великолепные конюшни на дворе, простор и большая солидность кредита. Монташев занял весь бельэтаж в четырнадцать комнат (с центральным подъездом): столовая была увеличена и украшена колоннами в стиле императора Каракаллы, вторая столовая оборудована под кавказский духан с очагом для шашлыков, устроен бассейн для плавания, гимнастический и спортивный залы, особое внимание обращено на спальни—их было три: личная,

холостая, в английском вкусе, помападурская с подлинной кроватью мадам Ментенон — для красивых связей и зеркальная с фонтаном — для легких массовых развлечений. Нижний этаж отведен под контору и жилища для наездников, грумов и прислуги.

На новоселье было разослано триста билетов — в редакции газет, кое-кому из русских и подавляющее большинство — женщинам по списку Сипина. Новоселье началось вчера в час дня, и, когда Налымов и Леванг входили в подъезд, в доме еще не все было в порядке.

— Не везет, несчастье, боюсь, нас не примут, — шептал Леванг, глядя из вестибюля на верх мраморной лестницы, откуда на заду по перилам с'езжало с папироской очень хорошенькое и помпезное существо в пышной юбочке, с голой спиной и худыми руками. Спустившись, оно подняло брови, выпустило дым в лицо посторонившемуся Леванту и надтреснутым голоском потребовало у портье шубу и такси.

На верху лестницы к Налымову подошел низенький месье Сипин, — лицо, как у призрака, подслеповатые глаза, пух на смокинге, грязная сорочка:

— Месье, вы опоздали ровно на двадцать четыре часа.

Когда Налымов назвал себя и объяснил, что — по неотложному нефтяному делу, Сипин надул дряблые щеки.

— Боюсь, что месье Леон не в состоянии сегодня заниматься делами... Правда он только-что из бассейна после гимнастики, но... Он несколько угнетен... Хотя, может быть, ваш визит и кстати, идемте.

Леон Монташев в пестром халате на голое тело, с вымытыми и непричесанными волосами сидел в туалетной комнате (периковые шпалеры, белое резное дерево) и, устало облокотясь, глядел в огромное наклонное зеркало. На краю туалета дымила папироска. Он вяло поднялся навстречу, — преувеличенно длинный в мохнатом халате, усы висели, восточные глаза страдали, — протянул обе руки Налымову, кивнул Леванту (ему в большинстве случаев только кивали, не соображая, как это болезненно даже для жулика):

— Господа, садитесь где-нибудь, здесь такой беспорядок после вчерашнего...

Сипинка, будь другом, скажи какому-нибудь болвану — кофе, четыре чашки, самого крепкого... (Вдогонку Сипину...) Да, что-нибудь спиртного... В комнаты не зову, боже сохрани, там еще валяются девчонки на диванах.. Одну нашел в бассейне, спит, — половина туловища в воде, — правда, вода теплая, но как она не утонула? Все-таки не ожидал от французов: ужасные развратники, ёрники, ч-о-о-о-орт знает что такое! После войны что ли такие стали? В восточной комнате утром нашли несколько кальсон. Я понимаю дамские, — мужские! Нет, господа, пировать нужно уметь. Пускай царствует эрос, но красиво, по-римски... Придется менять все ковры. Очень жалко, что вас не было, Василий Алексеевич. У меня возникла идея над столом сделать тент из малинового бархата, балдахин на золотых копиях, и вот для чего: когда подали десерт (заглушенная музыка), с балдахина начинают сыпаться розовые лепестки. Розы падали, падали, покрыли стол, всех гостей... красиво... В утренней прессе, кажется, еще нет, но в вечерней будет полное описание... Этот прием влетел мне в двести тысяч франков... (Он взял с края туалета дымящуюся папироску, сильно затянулся.) Этот дом обходится мне не дешево, во всяком случае... Сотни тысяч так и летят... Господа... (Оглянул собеседников изумленными, как бы впервые открытыми на мир глазами.) Я не чувствую себя богатым человеком... Что случилось с деньгами?

— Полковник Налымов и я, — заторопился Леванг, — именно по этому вопросу и позволили себе...

Монташев, не обращая на него внимания:

— Деньги тают в руках, господа... Нужно что-то предпринимать. Так мне нехватит и до конца года.

— Мы опять с предложением, — сказал Налымов, — вернее: его идея, моя гарантия.

— Вам верю, как богу, Василий Алексеевич.. Что это опять Детердинг?..

Леванг, подавшись на стуле и ощерив по-шакальи зубы (в подтверждение своей деловой твердости):

— На Детердинга рассчитывать больше не приходится... Политическая обстановка круто изменилась к худшему.

(Монташев моргнул, точно в глаза бросили песком.) Сведения из Ревеля и Ростова-на-Дону самые тревожные. Детердингу скоро понадобится вмешательство европейских войск, чтобы узнать, как пахнет кавказская нефть.

Монташев перевел глаза на Нальмова. Тот подтвердил, что действительно за последнюю неделю в России произошел очень тревожный перелом. Монташев опять стал глядеть на Леванта, — его сизо-бритое оливковое лицо с покрасневшими скулами многозначительно усмехнулось кривым носом:

— Господи Монташев, вы неплохо заработали на наступлении Деникина и Юденича. Сегодня вы сумеете заработать столько же на разгроме Деникина и Юденича... Мы вам гарантируем удвоить капитал. Расходы только на прессу... Если это вам подходит, вы платите нам пятнадцать процентов куртажных...

— Ого, пятнадцать процентов,—пробормотал Монташев, скрывая тревогу,—ну нет, это жирно... Десять...

— Двенадцать нам предлагает Чермоев.

Монташев с живостью поднялся, но туалетная была мала для широких движений, и он повалился на кушетку. Захватив усы, засунул в рот:

— Во что же в таком случае влетит мне вчерашний раут? Я широкий человек, господа, но надо иметь совесть... (Молчание. Лицо Леванта решительно выражало, что совести у него нет. Нальмов с отвращением глядел на окно.) Что ж, пользуйтесь моей головной болью... Хорошо, я согласился... Рассказывайте...

— Вчерашний раут запишите себе в актив,—начал Левант,—когда человек после такого раута появляется на бирже, бумаги у него рвут из рук, словно его золото...

И он подробно стал излагать те же соображения, что и Нальмову в кафе у Фукьеца.

— ...Парижская пресса будет пока молчать. Вчера Денисов выехал в Лондон—придержать лондонскую прессу... Все это глупость: Деникину и Юденичу ничто не поможет, это—мертвецы... Интервенцию нужно делать европейски-

ми войсками—открыто, широко, в полном контакте с деловыми кругами... Но оставим ковырять горечь... В нашем распоряжении—три-четыре дня. Нужно продавать, покуда у вас хватит присутствия духа... Ну, а потом за полсотни тысяч франков французская пресса утопит русских генералов, как миленьких... Тут уже самому Детердингу не удержать биржи...

Он кончил. Монташев грыз усы. Левант медленно вытащил шелковый платок и вытер беспорядочную сеть морщин на лбу,—из-под платка глазом успокоительно моргнул Нальмову, сидевшему, как мумия.

После продолжительного молчания Монташев:

— Итак, вы хотите, чтобы я действовал против Детердинга?

— Это—логика,—сказал Левант.

— Против Черчилля, против французской политики, прогив всех порядочных людей, которые, как скалы, высятся среди грязи, предательства, спекуляции... Боже мой, боже мой! (Вскочил, вслепую ища босой ногой туфлю под кушеткой...) Чтобы я пошел против своей совести!? Чорт возьми, вы направляет мою руку в спину святому белому делу!..

— Биржа реагирует только на логику...

— К чорту логику! Вы требуете от меня подлости! И еще хотите за это пятнадцать процентов куртажа!

(Глаз Леванта из-за платка в сторону Нальмова: «Видели арапа!»).

— Хорошо,—сказал Левант,—я уже вижу, что вам трудно отрывать от себя пятнадцать процентов... Платите нам двенадцать—и покончим...

Перед камином на низеньком столике—бутылка портвейна, бисквиты и коробка сигар. Уголь только-что подсыпал, и он еще дымит, распространяя в слабо освещенной высокой комнате едва уловимый запах старой Англии. Портвейн сердоликово отсвечивает в граненых рюмках,—он не менее трех раз проплыл в бочке вокруг света на парусном клиппере, крепкий его аромат примешивается к запаху угля.

Все страсти, поднятые Великой войной,—взбаламученная грязь со дна человеческого океана,—разобьются в бесси-

ли о строгий покой этой комнаты, где свет лампы едва, до половины стен, освещает книжные полки, картины, эстампы... Аминь!

В сумрачный вечер в этой комнате никто конечно не удовлетворен тем обстоятельством, что какие-то люди в холод и дождь, в куртке, пронизанной ветром, принуждены зарабатывать скудные шиллинги и пенсы на кусок хлеба. Сидящие у камина знают, что куски дымящегося угля с отчаянием и проклятием подняты из глубины шахт, а не свалились с неба. Человечество в сущности еще так недавно сменило каменные орудия на бронзу и железо, еще живы люди, видевшие первый паровоз, три четверти людей на земле не знают грамоты.

Нет, нет, много печальных и тревожных несовершенств в социальном строе Англии, но еще не означает, что во имя прибавки бедному человеку лишнего шиллинга в неделю нужно разломать тысячелетнюю крепость культуры, впустить в этот кабинет семью рабочего с туберкулезными ребятками, отдать бутылку драгоценного портвейна уэльскому шахтеру, понимающему толк лишь в количестве градусов, и отдать прекрасные картины для сушки гороха.

Оба сидящие у огня — джентльмены. Оба говорят на прекрасном английском языке, не подчеркивают своих мыслей, но выражают их с тонким юмором. Они, видимо, угадывают сокровенные намерения друг друга и с добродушием сознаются в этом. Цель одного из них, сера Генри Детердинга, — указать на прозрачность некоторых точек зрения собеседника. Цель другого, мистера Ллойд-Джорджа, — изящно защитить свои точки зрения, то-есть не дать провести себя за нос.

Обмениваясь фразами, куная бисквитики в портвейн, собеседники стараются совместными усилиями как бы разыграть трудную шахматную партию. Повидимому это их забавляет, и они исполнены чувством открытой дружественности друг к другу.

— В самом начале были допущены ошибки, сер Генри... Ошибки, стоившие нам дорого...

— Вы говорите об отсутствии должной твердости?

— Об отсутствии полезной гибкости. В Англии к сожалению слишком много людей, которые смешивают в одной кастрюле современность, героические времена Питта и непоколебимую твердость политики императрицы Виктории... Противоречия, порождаемые развитием английского капитала, в половине прошлого века казались устранимыми частной благотворительностью. На сегодня добросовестному политику невозможно не принимать этих противоречий, как данности, при учете сил, — вот именно об этой гибкости я и хотел сказать, сер Генри. Возьмите сигару.

— Благодарю. Позвольте вам предложить мою.

— Благодарю. Я был против оккупации Баку в восемнадцатом году, против посылки наших войск на север России, и я был прав. Мы ничего не достигли, мы раздражили большевиков и бросили жирную кость нашим домашним крикунам.

— Но это ничто в сравнении с теми жертвами, которых можно было бы избежать, мистер Ллойд-Джордж, если бы политика Англии видела не две, даже три цели, перебегающие, как живая мишень, а одну и — непоколебимо...

— Сер Генри, вы хорошо сделали, что связали свою судьбу с судьбой Англии и поставили половину запасов мировой нефти под защиту английских пушек, но я немного огорчен тем, что у вас все еще нет доверия в правильности прицела английских пушек.

— Разрешите вам налить?

— Благодарю.

— Я ни на чем не настаиваю, мистер Ллойд-Джордж, последние события на востоке встревожили меня так же, как любого англичанина, охраняющего свою семью, свой дом и свой кошелек от ночного посетителя. Я немного растерян. До сих пор мне казалось, что в сильном государстве сильная политика опирается на силу. В современных условиях трудно представить государство, опирающееся на сумму слабых единиц, хотя бы эта сумма была и велика...

— Сер Генри, мы раз и навсегда должны отвязаться от некоторой терминологии, которую нам навязали наши друзья из профессиональных союзов. Например имперьялизм! Будь я ребен-



ком, я бы наверно заплакал в моей кроватке, услышав это слово... Интервенция! Это похоже на пощечину порядочному человеку... Колониальная политика! Это — безобразные, ненужные, раздражающие слова... Зачем я буду каждое утро высовываться из окна и строить гражданам неприличные гримасы... Они в праве начать швырять камнями в мое окошко...

Сер Генри откинулся в сафьяновом квадратном кресле, — должно быть, от портвейна массивное бритое лицо его с угрюмой челюстью было багровое, веки полупущены над мешками глаз, изрытая волей левая щека вздрагивала. Мистер Ллойд-Джордж — седогривый, с моржовыми седыми усами, розовый, как дядюшка из провинции, — благодушно улыбался.

— Игра с огнем всегда кончается пожаром, — сквозь зубы проговорил сер Генри.

— Единственно в чем мы с вами расходимся, — так мне кажется, сер Генри, — это в способах тушения пожара. Эффективное появление пожарных на сцене: много крику и шуму, хлопотно и дорого.

— Какие же другие способы?

— Правильная осада: когда осажденные начинают есть крыс и пить тухлую воду, они сдаются... Из истории тунисских войн мы знаем, что римляне, ускоряя процесс капитуляции, бросали в осажденный Карфаген зачумленные трупы и отравляли источники. Это — классика...

— Все это превосходно, если бы рынок мог ждать терпеливо... Ройяль Дэтч Шелл вложило огромные суммы в кавказские земли. Американцы не вложили ни одного цента. Мы ослаблены, они — нет. Если к будущему лету мы не будем стоять твердой ногой в Баку и Грозном, — Англия потеряет первое место...

Разговор принял такой оборот, что мистер Ллойд-Джордж почувствовал наконец, как его прочно взяли за нос. Тогда он нагнулся к камину и некоторое время возился с углями.

— Да, да, вы, как всегда, правы, сер Генри, — бормотал он, озаряемый пламенем (порозовели даже его пышные волосы). — Будем надеяться, бог поможет старой Англии... Видит бог, — мистер

Ллойд-Джордж выпрямился, вооруженный кочергой, — мы хотим только мира и счастья! Побольше счастья! Путь к нему открыт. Мы вонзаем меч в землю и вооружаемся... (Сер Генри испуганно моргнул, — явилась дикая мысль, что мистер Ллойд-Джордж вдруг брякнет: «Серпом и молотом»!) Но вождь либералов не подыскал выражения... Но при всем миролюбии (Ллойд-Джордж положил кочергу) мы не можем, не в состоянии остановить процесса кристаллизации новорожденных республик на востоке Европы. Самоопределение — священный процесс. Польша и Румыния в своем историческом развитии должны пройти через войну... И мне представляется, что не дальше, как этим летом...

Подумав, сер Генри сказал:

— Это — идея.

Существенная часть беседы была окончена. С минуту поболтали о том и о сем. Сер Генри поднялся. Крепкое рукопожатие. Мистер Ллойд-Джордж проводил его до дверей, глядя с чувством тревоги на аполексическую шею такого нужного Англии, такого значительного человека.

Сер Генри отпустил машину, плоским ключом отпер парадное, зажег яркий свет в вестибюле, бросил шляпу и пальто на драгоценный флорентийский ларь и на секунду остановился перед пестро размаляванным — из пальмового чурбана — идолом с Соломоновых островов.

Людоедский бог со ртом до ушей, с треугольными зубами, жаждущими человечины, с клювообразным носом и ожерельем из раковин и бус (американского происхождения) глядел на Детердинга косыми непонятными глазами. Однажды сер Генри пошутил, указывая друзьям на этого идола:

— Болшвик...

Сейчас он вспомнил об этом и зло усмехнулся. Мысли, владевшие его мозгом за все время переезда по запруженным лондонским улицам, снова отчеканили:

«Польша, это — идея».

По лестнице, улыбаясь, неторопливо спускался изящный, с седыми висками мистер Ховард — секретарь. На предпоследней ступеньке он остановился и ожидал, когда сер Генри обратит на него внимание.

— Кто-нибудь ждет в приемной?— спросил сер Генри.

— Мистер Константин Набоков и мистер Денисов из Парижа.

Мешки под глазами сера Генри задрожали от гнева:

— Передайте этим русским... Гм... (Горловой звук, похожий на орлиный клёкот...) Передайте, что я крайне утомлен и ложусь в постель. Пусть придут завтра... Приготовьте на завтра точную сводку военных действий в этой проклятой России... Гм... А также... Скажите, Ховард, вам известно количество населения в Польше? Приготовьте также и эту цифру, и—подробнее о Польше... Гм... Если вам это доставит удовольствие, передайте русским, что их белые генералы ни к чорту не годятся... Любой чурбан (он кивнул на идола) понимает в политике больше, чем они...

За пять дней Володя Лисовский заработал три с половиной тысячи франков (не считая званных завтраков и обедов). Но пришлось здорово потрудиться. Особенно много хлопот доставил Бурцев, хотя с него-то он не заработал ни сантима.

Владимир Львович сделался окончательно невыносим за последнее время. Его настроения вместе с политическими убеждениями качались, как метроном, направо—налево, и где-то посредине: чик!—сухой треск... Трещала надорванная борьбой с большевиками душа Владимира Львовича.

Еще бы! Ум заходил за разум, когда он все в той же соломенной шапочке (не смотря на ноябрь и нетопленную редакцию) сидел за пыльным столом, над исковыренной ногтями (в процессе мышления), закапанной промокашкой, и его духовный взор, пронзивший в свое время такого демона, как Азеф, беспомощно бился полночной бабочкой о неразрешимые загадки. Владимир Львович был подобен провинциалу, попавшему в волшебную шестнадцатиугольную комнату в паноптикуме (на Итальянском бульваре): куда ни ткнись, вместо выхода—зеркальная стена, откуда смотрит на тебя твое же растерянное лицо.

В противовес большевикам, сводящим (с бандитской наглостью) все исторические процессы к классовой борьбе, он

теперь выдвигал личность, героя, сверхчеловека, носителя национальной, государственной, мировой идеи. Этой личностью был Колчак. О нем Владимир Львович писал с хлыстовской страстностью. В день его именин опубликовал (с комментариями) «Письмо сибирского купца», лично будто бы видевшего верховного правителя.

«...Стою это я,—рассказывал купец,— в приемной, у самого сердце так и трепещет... Господи, думаю, вся Россия наша в нем. И почуяло ретивое: идет Он тихо, плавно... И, как будто дуновение пронеслось незримо... Отворяется дверь, и мне бы впору бухнуться в землю лбом, как перед спасом... Стою в великом ликовании... Он входит, лик светлый и привлекательный, а глаза, ей-ей, как у спаса на старых иконах пишут...»

По поводу фельетона Лисовский сказал:

— Владимир Львович, кто вам сочинил письмо истового купца?

— Что? Как кто?

— Не сами ли уж, чего поди... Вы бы все-таки литературный материал через меня пропускали. В городе над фельетоном смеются.

— Кто смеется?

— Встретил Савинкова, смеется: скоро у вас адмирал и до ветру не будет ходить от святости...

— До какого ветру? Ничего не понимаю.

— Он же рассказывал: за последнее время адмирал стал злоупотреблять кокаином.

— Вон!—надорванным фальцетом закричал Бурцев.—Вы больше не сотрудник «Общего дела»!

И вот через несколько дней тот же Лисовский пришел опять, нагло сел у редакционного стола, распространяя запахи, финь-шампаня, и заявил, что Колчак—истерик, политический дурак, военная бездарность и подставная кукла, которую в самом непродолжительном времени союзники выкинут за ненадобностью. Задохнувшемуся, с разинутым ртом Бурцеву он показал кучу французских газет, где все это было напечатано (в более смягченных выражениях).

Владимир Львович бросился на улицу Гренелль, в политическое совещание. Там, за зеленой скатертью с золотой

бахромой, на потертых креслах сидели мертвенно утомленный князь Львов, на лево от него — «дедушка русской революции» — белобородый, щеголевато одетый и на старости лет уязвленный честолюбием Чайковский, направо — царский посол во Франции Извольский, напротив — посол временного правительства во Франции Василий Маклаков, нахмуренный Савинков (чем-то — жидкой прядью волос, упавшей на большой лоб, — напоминающий один из портретов Наполеона), длинный, мягколицый блондин из московского купечества Третьяков, царский посол в Италии Гирс.

Этим людям повидимому казалось, что на листах чистой бумаги, разбросанной по столу, они должны начертать и непременно как умные и образованные люди начертать судьбу России. Они слушали прибывшего из Ревеля Кедрина, — печальный анализ событий под Петроградом. Лица всех (исключая Львова) выражали вежливую скуку: Кедрин был на подозрении в левизне — краснозадый — как подписавший вместе с другими министрами северо-западного правительства акт о независимости Эстонии.

Доложили о Бурцеве. К нему вышел старый тонкий дипломат Извольский, — ему хотелось курить и, кроме того, всегда доставляло удовольствие горючить неприятности. Бурцев, особенно казавшийся пыльным, без пуговиц, обсыпанный табаком, с растрепанными седыми волосами и карманами, оттопыренными от газет (таким он стоял в приемной у драгоценного гобелена, изображавшего охоту Дианы де-Пуатье в лесах Фонтенебло), кинулся к Извольскому:

— Что случилось? — спросил он почти одними жестами.

Извольский, всовывая папироску в эмалевый мундштучок:

— Центр борьбы повидимому переносится с востока на юг России.

— Но — верховное правительство?

— Омск эвакуирован...

— Адмирал?

— Право не знаю... (Медленно закуривая от восковой спички.) Где-нибудь болтается в поезде по всей вероятности...

Обухом ударило старого Бурцева в темя, в мечту, в идеализм. Затряслись пыльные брюки. Вернувшись в редак-

цию, он долго одиноко сидел у стола в надвинутой на глаза соломенной шапочке. Потом он вызвал Лисовского и, стараясь не глядеть в эту нагло ухмыляющуюся, жаждущую рожу, затребовал у него самые обширные данные биографии генерала Децикина. Владимир Львович не хотел сдаваться. Еще раз он делал усилие, чтобы на кончике пера поднять светлую личность.

На самом деле политическое совещание было не менее Бурцева потрясено неожиданным поворотом французской печати от сдержанно-благожелательного отношения (по поводу русских неудач) к резко враждебному. Что-то случилось, какая-то новая сила вошла в игру, чья-то сильная рука наносила удар. Но кто? И какая цель?

Биржа, по существу учреждение паническое, реагировала, разумеется, паникой. Русские ценности летели кувырком. Кто-то пригоршнями швырял для продажи русские нефтяные акции. Так продолжалось несколько дней. И будто нарочно из Сибири получались телеграммы одна мрачнее другой.

К Львову к завтраку позвали Тапу Чермоева, подпоили и выведали, что газетная кампания, видимо, идет от Леона Монташева, играющего на понижение. Все это было понятно, если бы не одно странное явление: несмотря на то, что газеты поддавали жару, нефтяные акции после первых дней паники начали как будто сопротивляться и даже испытывать тенденцию ползти вверх: чья-то еще более сильная рука продолжала смело и широко скупать их.

— Нет, это игра темная, — говорил Тапа за завтраком, — боже упаси ввязываться... Боюсь за Леона, он — горячий человек, а биржа, политика — не скаковая конюшня. Между прочим если уж играть сегодня, так только на повышение. Почему? Признаки есть, господа, счастлив ваш бог.

Хитрый татарин напустил еще гуще туману. Где-то кем-то готовилась таинственная диверсия по отношению России. Тревожнее всего было то, что Политическое совещание — фокус борьбы и ядро будущей русской власти — менее других было осведомлено. Им явно пренебрегали. Затем из Лондона пришла телеграмма от Константина Набокова:

«Необходим оптимизм. Необходимо внушить Деникину, что события расцениваются как временные неудачи. Входит новый фактор. Лондон на-страже».

В Политическом совещании изрисовали рожицами и завитушками пятьдесят листов чистой бумаги, но телеграммы не поняли. Пока что решили предложить Бурцеву немедленно выехать в Новороссийск для организации оптимизма в местной печати. Из Лондона приехал Денисов, но по телефону его нельзя было добиться.

Шумели ноябрьские дожди. Мокрый Париж, опрокинутый оголенными бульварами, сияющими окнами и лунами фонарей в зеркальных асфальтах, шумел и веселился.

Воледа Лисовский, заработавший от Леона Монташева (через Леванта) три с половиной тысячи франков, нежился под теплой периной, с удовольствием слушая шум дождя. В дверь стукнули. Он сказал «антре»... Вошел Александр Левант. Зонт его, концы брюк и башмаки были мокры. Глаза—как две тухлые маслины. Не снимая шляпы, он сказал:

— Можно уничтожить всю армию сразу, окружить и расстрелять или утопить в реке? И армию, и ставку?

— Кого именно? — спросил Лисовский.

— В данный момент—белых с Деникиным, генералами—всех.

— Можно конечно—не поверят...

— Чума в России? Что вы скажете? Повальная чума...

— Чума—не плохо. А вам когда это нужно?

— Завтра.

— Нет, с чумой придется повозиться недели с две, иначе не подействует...

— Кошмар!..

Александр Левант, присев на постель в ногах Лисовского, некоторое время жестко скалил длинные зубы. Ошеренная голова его глядела на туман и дождь за окном, где угольными очертаниями проступали графитовые крыши, мансарды, каминные трубы.

— Монташев может еще вылезти, он продавал на февраль, к тому времени проклятую нефть удастся опять повалить... Я продавал на короткие сроки...

— Ай, ай, ай...

— Кто мог знать? Я хотел скорее взять деньги. Сегодня я уплатил разницы сто двадцать тысяч франков. Пслезавтра платить столько же... Я — банкрот... (Лисовский пощыкал языком.) Если бы завтра что-нибудь сверхъестественное про Россию! Слушайте, Америка не могла бы признать большевиков...

— На такого ерша ни одна газета не рискнет...

— Я не спал две ночи... Голова откачивается... Слушайте, Лисовский, что случилось с нефтью? Кто ей помогает? Кто скупает эти паршивые акции? Можно сойти с ума! Вы сумеете что-нибудь придумать?

— Нет.

Левант повторил тихо: Нет! Он и сам знал, что нет... Подошел к окну. Стоял и, не прощаясь, вышел... На трамвае доехал до биржи и рассеянно стоял у колонн, заложив руки с зонтом за спину. Затем он вернулся в гостиницу и еще засветло вышел оттуда с объемистым пакетом, сказав консьержу, что — к портному. Ночевать не явился. На утро консьерж обнаружил у него в номере в камине следы сожженных бумаг, на полу в раскрытом чемодане — пару поношенных носков и неоплаченный счет из гостиницы: все, что осталось на поверхности жизни от Леванта. Повидимому он совсем исчез из Парижа, предоставив Налымову одному выкручиваться из кучи неприятностей.

Монташев, узнав о его бегстве, сломал несколько ценных предметов у себя в туалетной комнате и заявил в полицию. Налымову послал бешеное письмо по пневматической почте. Но Василий Алексеевич был уже на пути в Стокгольм. В полицейской префектуре Леванта отметили как нежелательного иностранца.

Ни в Париже, ни в мировой истории деятельность, появление и исчезновение Леванта не произвело никакого впечатления. Вынырнула из болота лягушечья голова, квакнула, переполошив десяток-другой мошек, и скрылась. Странно все же подумать, сколько было затрачено сумрачного труда, всех видов энергии и пищевых продуктов, чтобы обслужить и прокормить эту лягушечью голову. Сколько затрачено (до отметки в префектуре) умственной деятельности

на мирных конференциях, в парламентах и министерских кабинетах, сколько наготовлено оружия и взрывчатых веществ, чтобы сделать существование лягушечьей головы приятным и спокойным. Только поэтому, из-за этой странности и стоило, пожалуй, упоминать о Леванте. Сам по себе он до того серый, как ночная тень, мелкий левантский жулик. Хаджет Лаше,— тот по крайней мере злодей, в старое время его восковой бюст показывали бы в провинциальном паноптикуме наравне с Джеком-Потрошителем и брали бы за это деньги. Или Монташев! Не всякий будет засыпать гостей розами и со щедростью нефтяного фонтана расшвыривать деньги. Монташева можно вставить даже куда-нибудь в комедию... Или Денисов! Этот правда пока еще в полутени, роскошные говоруны-политики и чудо-генералы заслоняют его, но голова его несомненно высунется в свое время и так квакнет, что только держись,— он умен, честолюбив, зол и лишен всяких предрассудков. Гражданскую войну с ее идеологией черноземного помещика, перепуганного мещанина и деклассированного революцией мстящего интеллигента считает кустарничеством. Клич интервенции должен быть резким, четким, сверхсовременным: шире дорогу, идет мировой капитал!

## 44

Налымов приехал в Стокгольм в туманное, холодное утро, когда едва различались огни маяков и надо всей Балтикой неслись тревожные сигналы судов, блуждающих в тумане. На набережной желтыми сияниями светились фонари... Изморось секла железный борт парохода. Поднятый воротник не спасал от холода.

Продрогший шофер сердито хлопнул дверцу машины и повез Налымова в одну из второклассных гостиниц. Налымов взял комнату в третьем этаже, подешевле. Когда внесли чемодан, заперся и ходил, ходил в странном, без теней, полусвете. Останавливался у окна: желтый туман, стена безысходного мрака. Именно так, именно здесь должен был закончиться тяжелый, смутный, раздражающий сердце год его жизни.

До летней встречи с Левантом (до встречи с Верой Юрьевной) и некоторого материального благополучия (сто тысяч франков от Монташева) он мог по крайней мере остро упиваться нищетой и своей ненужностью: с вызовом, полупьяный, в лохмотьях расхаживать по Елисейским полям. Теперь нет даже и этого козыря. Завелись деньжонки, и европейская цивилизация механически встал на страже его удобств, безопасности, спокойствия. Будь только благодарен,— вот все, что требовалось от него. Обезьянье царство! Мир, разучившийся читать Шекспира! О, пошлость! Ты — первая обезьяна в обезьяньем царстве и никогда не уходил из него, даже когда в виде экзотического взрывателя пошлости шатался по Елисейским полям, когда философствовал (тоже — остренькое времячко), уверяя трех публичных девок, что ты — лишь надутое ветром чучело, машешь умирающему миру рукавами, и даже сейчас перед желтой стеной тумана, капитулируя окончательно, и в капитуляции пытаешься что-то отыскать для оправдания себя... Скука, тоска, мерзость!

Ему захотелось отворить окно и плюнуть в туман. Морщился, удерживаясь от театральщины: перед самим-то собой ломаться не стоило. Отвернулся от окна. Сел на диванчик, сложил руки, — пальцы в пальцы, — закрыл глаза...

Причина отврагательного настроения была та, что его чувство к Вере Юрьевне остыло, сколько он ни пытался подогреть его жалостью и прочим. Погасание началось несомненно, когда к нему пришло спокойное, среднее благополучие. Он босяк — было одно, он — рантье — в корне что-то другое... Еще месяц, два — и он бы не поехал в Стокгольм... Побранил бы себя, потужил, и навряд бы расстался с покойной постелью в своей квартирке (комната, кухня, уборная) на улице Буланвилье... Еще месяц, два — сочтался бы законным браком (на радость всему кварталу) со смазливой вдовушкой — сиделицей в табачной лавочке на улице Буланвилье... Так, именно так... Подлец, серяк, живучая косточка...

«Ну-с, примемся за дело», — вслух сказал Василий Алексеевич и пересел к телефону. Планов у него не было. Исчез-

новение Леванта смешало все планы. Нужно было попытаться переговорить с Мари или с Лили... Он позвонил в Гранд-отель...

Оказалось: мадам Мари в прошлом месяце внезапно уехала с трупной Хипс Хопс в Варшаву. Подробности портье не сообщил. На просьбу попросить к телефону Лили портье улыбающимся голосом ответил, что посмотрит, здесь ли мадемуазель, и предложил Налымову оставить номер телефона. Из осторожности Василий Алексеевич не сказал фамилии.

Звонка ждал долго. Сняв пиджак, ходил от двери до окна. Желтый сумрак сгушался. Во всяком случае Вера Юрьевна будет вырвана из рук Лаше, пусть это стоит все сто тысяч франков... Но покуда существует Хаджет Лаше, Вере Юрьевна в Европе жить нельзя. Переправить ее в Россию? Во-первых, не пустят. А если и пустят,—что она там будет делать, кому там нужна сумасшедшая истеричка? Что же, ехать на Соломоновы острова?

Невольны Василий Алексеевич оглянулся, ища подкрепления — бутылочки коньяку... Но, нет, здесь он решил не пить. В номере было жарко. Снял воротничок. Все разрешается просто, если убрать Лаше. Несомненно Левант знал, что говорил тогда у Фукьеца... Налымов позвонил и приказал коридорному принести номера местных газет за два месяца... «И черного кофе побольше»...

Просматривая газеты, сразу же наткнулся на историю с Кальве. Через десять номеров новая сенсация: «Таинственное исчезновение Леви Левицкого»... Газеты на этот раз всерьез переполошились. Заметка в «Эхо России» (повидимому в специальном номере, выпущенном лигой) о таинственных сношениях Леви Левицкого с большевиками, о прикосновенности его к сокровищам царской короны и прочее впечатления не произвела. Леви Левицкий был связан со штокгольмскими банками. О нем единоголосно отзывались как о солидном и порядочном человеке. Через день после его исчезновения с его текущего счета было снято тридцать тысяч крон, подпись на чеке оказалась поддельной. Не напечатать об этом газеты, преступники несомненно попались бы со вторым че-

ком. Затем поднятый шум вокруг Леви Левицкого внезапно оборвался, как будто под чьим-то давлением...

Понятно, что для лиги такой поворот был неожиданным ударом: история с Леви Левицким прошла не гладко. Понятно—возмущение и предательство Леванта. Он прав: Хаджет Лаше потерял политический нюх. После событий под Петроградом лига оказывалась такой же громоздкой кустарщиной, как и вся белогвардейская каша.

Позвонил телефон, и просящий голосок:

— У телефона Лили... Вы меня хотели видеть, месье?

Измененным баском, не называя себя, Налымов просил ее немедленно приехать. (В трубку робко хихикнули...) «Хорошо, я приеду... Автомобиль на ваш счет...»

Ясно — девчонка опустила до уличного фонаря. Налымов бросил газеты в ящик и позвонил, чтобы подали завтрак на двоих. Через несколько минут, поцарапав в дверь, вошла Лили,—юбочка до колен, ноги тонкие, из-под ярко дешевой постылой шляпки—беспокойные глаза, обострившийся напудренный носик. Разинула в два приема рот,—все шире,—увидя Василия Алексеевича, подняла, будто защищаясь, руку... Задрожало лицо:

— Нет, нет...

— Лилька, милая, здравствуй. Раздевайся, садись. Будем завтракать. Не ждала?

Он поцеловал ее в холодную щеку. Под пудрой—морщины. Она опустила руки и так, стоя, начала плакать.

— Ну, что ты, дурочка, перестань...

Он снял с нее пальто и шляпку. Под шерстяным, без любви и заботы надетым платьем было видно, как она худела. Налымов усадил ее в кресло, поцеловал в темя:

— Рассказывай.

— Вася, тебя убьют здесь они... Ах, ты ничего не знаешь; это кошмарный ужас...

— Подожди, что Вера, где она?

— Там же, на даче... Я там больше не живу. Я здесь снимаю комнату и сама плачу, я это отстояла... Вот Мари, понимаешь ты, счастье-то! В нее влюбился один из Хипс Хопсов, Ричард,

и взял ее в Польшу,—она прекрасно знает польский язык, и она очень музыкальна, они ее научили играть на метеле... Но, что было! Лаше не хотел отпускать. Хипс Хопсы пожаловались в английскую миссию... Только так и вырвалась... А я — совсем, Вася... (Нырнула головой в колени, затынула плачем...) Сейчас перестану... Вера была... очень была больна. У ней—что-то мозговое, без сознания лежала десять дней, вся горела. Если тебе будут говорить, что белая горячка,—вранье... Конечно ей лучше бы умереть... (Покосилась на дверь,—шопотом.) Убивали при ней, понимаешь...

— Отсюда мы прямо поедим к начальнику полиции.

— Господи! (Схватила за щеки.) С ума сошел! Чтобы меня увезли в Баль Станес и пытали, и резали! Полиция сейчас же даст знать Лаше, и Лаше им докажет, что мы — большевики... И мы пропали... Полиция еще недовольна, что лига плохо работает. У меня есть один любовник, я знаю конечно, что шпион, приставлен от лиги следить... Он рассказывал: начальник полиции кричал на Лаше и на генерала Гиссера, что они больше о своем кармане заботятся, чем о большевиках, что они просто жулики, а не политические борцы, что в Стокгольме пруд пруди большевиками, а лига только глазами хлопает... Поэтому лига готовит крупное убийство... И не думай заявлять! Ведь при тебе же я давала клятву, а знаешь, что за нарушение клятвы?

— Хорошо. Я поеду один. Но я должен выставить тебя, как свидетеля...

— Нет, нет, нет... Я ничего не знаю... Мне своя шкура дороже, милый мой!

Сердито схватилась за шляпку. Надымов едва уговорил ее остаться завтракать. Но только начинал настаивать на заявлении в полицию (другого пути не было к спасению Веры Юрьевны), Лилька бросала вилку, принималась плакать и сморкаться.

Бистрем позвонил. Отворил Ардашев, вздел руки:

— Батюшки! Какими судьбами! Худой, страшный, ободранный! Неужто из Петрограда?

Бистрем пролез в маленькую прихо-

жую, широко улыбаясь, стащил тяжелое от грязи, залатанное пальто, осмотрелся (чистота, бронзы, гравюры), свернул пальто и вместе с кепкой положил в угол на лакированный пол:

— Николай Петрович, я к вам прямо с поезда. Понимаете, мне необходимо прилично одеться... За мной следят от самой границы, прямо мишень для сыщиков... Николай Петрович, что мама?

— Здорова, чудно, все великолепно...

— В таком виде домой не рискну... Главное — пальто, башмаки и шапку...

— Сущие пустяки, магазины еще не закрыты... Слетаю мигом... Лопать хотите?

— Ужасно.

— Через час обед. А это тряпье не лучше ли сжечь?

— Да, пожалуй... Я не ручаюсь, что насекомые...

— Куплю и костюм, и белье. Ерунда, деньги на том свете угольками... Размер конечно самый большой?..

— Да, да, самый большой... (Бистрем внезапно крепко взял его за руки.) Я так и думал о вас, вы — хороший человек.

— Глупости, глупости... Вы мне расскажите, что у нас в России? (Одетый, в дверях). Бьем интервентов в хвост и в гриву? Правда это? Я всегда говорил: проснется, чорт его возьми, русский богатырь... Россия-с — не Австро-Венгрия! Эти раскололись, как худой горшок, а мы, чорт их возьми, покажем Европе евразийцев!

— Процесс гораздо более сложный, Николай Петрович... Я бы не сказал, что национализм...

— Ладно... Расскажите... Бегу...

Ардашев хлопнул дверью, весело затопал по лестнице. Улыбка слезла с небритого, обветренного лица Бистрема. Поправив маленькие, не по размеру очки, он снова, уже сурово, огляделся. Вошел в кабинет и сел у топящейся печки, — нога на ногу, локоть о колено, костлявый подбородок на ладонь. Сидел, не шевелясь.

Он был послан курьером из Петрограда и три дня назад перешел финскую границу. Три ночи не спал, страшась быть захваченным контрразведчиками, шнырявшими по всей Финляндии. У него еще не прошли болезненные ощущения

контузии, полученной под Пулковым, голову от усталости и голода застлала тошнóватая муть. Но это—мелочи. Он иными глазами глядел теперь на этот мир, покинутый им в сентябре. Швеция поразила его опрятностью, порядком, удовлетворенностью,—страна еще не израсходовала богатств, перепавших ей во время мировой войны. Бистрем вглядывался в краснощекие лица щегольски одетых граждан, в окно вагона-ресторана видел, как они ели, пили, курили. Они были благодушны и вежливы. Их соединяла общая стародавняя порука — охрана своего кошелька. В случае опасности они наймут конечно самого дьявола охранять порядок.

Путешествующему напрасно было бы в мимолетных впечатлениях искать здесь тех других (расу «А»—по терминологии философа из парка Мон Сури), кто производит все для насыщения граждан в вагон-ресторане, кто добывает, строит, двигает, охраняет... Как на пышном королевском празднике, люди этой расы были удалены подальше от праздничных зал, а те, что были необходимы для услуг, одеты в приличную ливрею и должны служить с приличными улыбками.

Бистрему следовало бы сделать крик, проехать по Германии,—там-то он увидел бы труд, нищету и отчаяние, которых уже некуда спрятать. Обреченная Версальским миром Германия с июня девятнадцатого года начала кормить страны-победительницы и страны нейтральные и, несмотря на все санитарные меры, даже в самых фешенебельных уголках Европы остро запахло немецким пролетарским потом.

Перед отъездом в Смольном он получил наказ провести в европейской печати ряд статей, чтобы сколько возможно парализовать желтую прессу. Со всей пылкостью он принял тогда наказ. Сейчас у горячей печки он с тяжестью думал, что и в этом не вполне оправдывает доверие товарищей... Нужна особая энергия протолкнуть хотя бы строго объективные статьи о Советской России... А у него слипаются глаза, и он с жадностью думает об ардашевском обеде. И он даже пытался лгать себе: «Обед необходим, Ардашев нужный человек, единственный, кто поможет мне наладить связи с газетами Германии, Италии, Франции.

Несомненно у него сильно были потрепаны нервы. Он еще раз попытался поднять веки и мягко поплыл, покачиваясь, как в вагоне...

...Побежали какие-то люди... Жаркий воздух... Перрон вокзала, разбитые окна. Тревога... В чем-то он сам тут замешан... Чего-то непоправимое... Все смотрят на колокол,—железнодорожный колокол странно сам собою звонит, непрерывно, мелко... Непоправимой тоской сжало сердце, Бистрем застонал...

Пробуждаясь, кашлянул, чтобы перебить стон. В прихожей трещал звонок. Бистрем быстро поднялся, отворил парадную дверь. Вошел небольшого роста, красивый, неприятный человек, с темными усиками, с острой бородкой. Снял с плечи котелок:

— Николай Петрович дома?

— Нет,—угрюмо ответил Бистрем.

— Могу я подождать Николая Петровича?

— Не знаю, я не здешний.

Человек быстро и внимательно оглядел Бистрема и до половины неприятно приоткрыл редко посаженные зубы:

— Простите, вы, кажется, Бистрем? Мы однажды встречались (Бистрем, не отвечая, блестел на него очками). Я позвоню Николаю Петровичу. Не откажите передать, что заходил Извольский...

Вымытый в ванной, одетый в чистое, зажав в себе раскаяние по поводу всего этого, Бистрем рассказывал за обедом о петроградских делах. Он напомнил Ардашеву, как они летом однажды спорили за этим же столом, и он тогда утверждал, что русская революция должна добавить в человеке новое—создать новые психические органы—и через это новое победить... Он говорил, вдумываясь во фразы, затем все более разгораясь:

— Французская революция 93-го года раскрыла возможности для новых производительных сил. Лавочник вырастал в личность. Сыновья прачек и башмачников хватали маршальские жезлы и нахлобучивали королевские короны. Выразителем новых возможностей стала новая военная тактика, разбивавшая оловянных солдатиков прусского короля и австрийского императора. Революция дала инициативу рядовому солдату: отсю-



да—бешеная кавалерийская атака, где каждый, размахивая саблей, мчался за своей славой и все вместе за славой Бонапарта, первого индивидуалиста, честолюбца и грабителя. Отсюда — ураганный артиллерийский огонь, — пусть беспорядочный,—но из каждой пушки стрелял будущий капиталист, будущий промышленник, будущий рантье, и они заваливали бомбами феодальную мертвечину. Русская революция—я утверждаю—раскрывает возможности для новых производительных сил, но уже не личности, а коллектива, и создает новую психику, нового человека...

Ардашев—блестя глазами:

— Я всегда верил в русский гений.

— Национальное, разумеется, накладывает отпечаток... Сила революции в том, что русский пролетарьят впервые как класс выходит в роли первого актера...

— Голубчик, все-таки революцию-то делают большевики...

— Если бы не питерские, московские, донецкие, уральские рабочие, еще весной восемнадцатого года большевики очень возможно перестали бы существовать.

— Гм,—кашлянул Ардашев и закатал пальцами хлебный шарик.—Гм,—откинулся и заложил пальцы за жилет.— Не увлекаетесь ли вы, голубчик, чрезмерно этим понятием: пролетарий, рабочий... Тот же русский человек в конце концов... Я понимаю—народ... Но брать только часть народа и утверждать, что только в этой части—новое, гм... Не знаю...

Бистрем сказал строго:

— Только те, кто всегда работал для других и обогащал других, в состоянии физиологически ощутить, что получится, когда на место этих «других» будет поставлен социализм. Именно поэтому советское правительство в каждом своем шаге отчитывается перед пролетарьятом. Когда Ленин приезжает на какой-нибудь металлический завод, он отчитывается не только перед русскими рабочими, но перед пролетарьятом мира. Николай Петрович, не народ (понятие романтическое и, может быть, сознательно неясное) повернул революцию к социализму,—рабочие. Они, опять-таки физиологически, не могут мыслить борьбы вне коллектива и иначе, как за

коллектив. Здесь именно рождается новый человек. Рабочий не только солдат революции,—с винтовкой, в дырявых сапогах, с черствой краюшкой за пазухой. Он—новая психическая сила. Эта сила—отказ от самого себя, от своей личной судьбы до конца и навсегда...

— Как сила это—да. (Ардашев всеми намерениями хотел сочувствовать собеседнику...) Но не опасаетесь вы, что это приведет к полному обезличенью, полному уравниению? Все-таки личность...

— Нет, нет!—закричал Бистрем, и шершавые щеки его вспыхнули, — ни обезличенья, ни уравниения! Это—проклятая легенда вашего Запада... Желтая ложь! Будто мы срезаем все головки над уровнем, чтобы властвовать над обезличенным человечеством... Через десять лет в Советской России будет обязательное высшее образование для всех. Это не утопия. Головки срезают у вас! А чтоб не было слишком уж чудовишно, дают волю шуметь и кричать самым безвредным и безопасным головкам—разным фокстротчикам и сексуальным поэтишкам... Личность, индивидуализм! У вас индивидуум сидит каждый в своей крепостце, вооруженный от всего мира пушками науки, религии, философии и политики. Это—ваша личность. Цивилизация постольку и важна, поскольку охраняет эту личную крепостцу, где человек бережет ему одному принадлежащие вещи. Кошей бессмертный, вечный сторож! В этом весь смысл личности, ее единственная реальность, вся ваша метафизика... Но—хохот-то какой! — пришлось пятнадцать миллионов этих барсуков выволочь за ноги из индивидуальных нор и угробить,—устроить великое жертвоприношение вашему богу о спасении личности... Помогло? Нет, бог понюхал—не принял... Вот отчего Европа в смятении и отчаянии. Теперь думают—не заколоть ли сто пятьдесят миллионов?.. Удачная мысль...

— Да, жестоко,—проговорил Ардашев, возвращаясь к катанию хлебного шарика.

— Мы взрываем одинокие крепости индивидуализма. Вся борьба у нас—за освобождение человека от плена вещей. Мы раскрепощаем его творческие силы от рабской и постыдной заботы —

каждодневно находить кость, чтобы, рыча и огрызаясь, глотать ее, высасывать мозг... Николай Петрович, что-нибудь да обозначает отрезок пути между временем, когда человек первый раз слез с дерева и встал на две конечности и когда он полетел на аэроплане! Выросли потребности, никуда не спрячешься от этого! Жизненная энергия все больше переходит из пищеварительного аппарата в черепную коробку! Что-то надо делать. Ваше индивидуальное хозяйство—неудовлетворительно, старо, тесно. Что нужно, чтобы Ротшильд, Морган или Вандербильд спокойно скушали свой завтрак, обед и ужин? Миллионов тридцать пролетариев и полупролетариев должны (без надежды стать «личностями») уныло трудиться для этого... Разве это разумное хозяйство? При этом Ротшильд, Морган и Вандербильд тоже в отчаянных заботах, в трудах, ни часа спокойного отдыха... И наверно подумывают: ах, то ли дело жить бы на деревьях, бегать на четвереньках, жушать бананы. Ни кризисов, ни забастовок, ни лопающихся банков, ни забот о рынках!..

— Чудно, хорошо бы так, — смеясь, сказал Ардашев.

— Перед тронem Моргана, Вандербильда все люди один как один: вместо лиц—шестипенсовая монетка... Уравнение, обезличенье, это—у вас... Наша задача—максимальное раскрытие личности, но не оторванной, а связанной с коллективом, как дерево корнями с питающей землей. Вершиной оно всегда к солнцу. Вы—за уравнение, мы—за личность. Вы—за индивидуализм, мы—за обогащение человеческой психики. Будущее общество—коллектив творческих индивидуальностей. Мы будем выращивать индивидуальность, как редкий цветок, — разве выше есть задача?..

— А не страшновато, что люди просто разжируют на спокойных-то хлебах?

— Когда-нибудь солнце источит энергию и повиснет тусклым призраком. Человечество изживет все страсти и все возможности. Тогда останется жиреть да спать перед мировой кончиной... Но мы с вами умирать не собираемся. Путь только еще начался. Мы как на первое любовное свидание бежим. Какое там—

жиреть! Дух захватывает, только загляни в будущее,—какие возможности!.. Буржуа ваши жиреют, потому что им ничего больше не мерещится, им лучшее уже отмерещилось... Николай Петрович, люди будут взяты в такую коренную переделку, что даже нашего поколения не узнаете...

— Ужасно хочется верить вам, Бистрем... А что, если вам написать ряд статей?

— Об этом, Николай Петрович, я главным образом и хотел с вами говорить.

— Знаете что, поедем-ка завтра к одному человеку: профессор славянских языков в здешнем университете, очень почтенный и влиятельный... Приходите завтракать, в три часа отправимся...

За спором и беседой Бистрем совсем забыл сказать о визите неприятного господина, назвавшего себя Извольским. Попросив Ардашева предупредить по телефону мать, он в прихожей надел новое пальто, шляпу, неожиданно, с увлажненными глазами, крепко потряс руки Ардашева и побежал домой, уверенный, что не обратит на себя ничьего внимания.

На следующий день он пришел без четверти в час. Приветливая пожилая женщина, отворившая дверь, сказала, что господин Ардашев вышел куда-то в десять часов, но с минуты на минуту должен вернуться. Завтрак уже готов.

Бистрем сел, как и вчера, в кабинете, у печки. Навощенный паркет, корешки книг с красными, синими, зелеными наклейками. Гравюры на светлых стенах. За чисто протертым окном—туман. Пробило час. На кухне что-то уронили, пробормотали, и приветливая женщина заглянула в дверь—проверить часы.

— О, бог мой, две минуты второго! Что-нибудь экстренное задержало господина Ардашева, он очень пунктуален.

У Бистрема было достаточно тем для размышления,—он спокойно сидел, когда часы пробили половину второго и два. Каждый раз экономка, складывая молитвенно пухлые ладони, принималась извиняться. Больше всего ее удивляло, что Ардашев не звонит по телефону. Когда пробило три, Бистрему тоже все

это начало казаться странным. Он про-  
телефонировал домой и у матери спросил, нет ли для него письма, или теле-  
фонограммы? Оказалось, был посыль-  
ный, оставил письмо от Ардашева, но  
оно—по-русски, и мать не могла про-  
честь. Помимо письма, позже, от него  
же были две телефонограммы...

Неужели Николай Петрович забыл о  
завтраке? Экономка с негодованием за-  
трясла головой: «Господин Ардашев еще  
сегодня утром напомнил о завтраке на  
две персоны и приказал купить шампан-  
ского». Странно... Бистрем зашагал до-  
мой. Письмо оказалось действительно от  
Ардашева:

«Уважаемый Бистрем, немедленно  
приезжайте в ресторан «Сорока». Это  
немного далеко от центра, но кормят  
великолепно. Поезжайте на трамвае  
№ 11. Я один, скучаю, поболтаем. Жду.  
Ваш Николай Ардашев». Обе телефо-  
нограммы были о том же, просьба при-  
ехать в ресторан «Сорока»...

Бистрем сел к столу, положил перед  
собой письмо, перечел. Снял очки, бли-  
зоруко перечел еще раз... До отращения  
было непонятно... Вскочил, отыскал в те-  
лефонной книжке ресторан «Сорока»...  
Позвонил туда и какому-то пивному голо-  
су подробно описал наружность Арда-  
шева. Пивной голос ответил, что «очень  
извиняется, но такого господина у них  
к сожалению сегодня не было»...

Бистрем позвонил к Ардашеву. Взвол-  
нованный голос экономки: «Нет, все еще  
не вернуся». Что можно было подум-  
ать? Запил, все перезабыл?.. Особен-  
но странной казалась фраза в письме  
«Я один, скучаю, поболтаем»... Как буд-  
то не было вчерашнего разговора... «По-  
болтаем...»—так нельзя написать после  
вчерашнего, будь хоть распянный... И  
потом: «Уважаемый»!.. Непонятно.

Бистрем нашел в столе одну из ко-  
ротеньких ардашевских записок, сличил:  
и там, и там почерк—круглый, аккурат-  
ный, в письме даже более уверенный,  
чем в записке... Быть может, мистифи-  
кация, издевательство? Уязвленный, он  
опять позвонил... Экономка, как будто  
удерживаясь от смеха: «Нет, нет его». Тогда Бистрем рассердился: «Хамство  
богатого бездельника!» Сел к столу,  
чтобы написать резкую «отповедь»... Но  
все это опрокидывало его планы. Бросил

перо: «Чорт с ним, плевать, дело в кон-  
це концов важнее уколов самолюбия».

Он решил этот вечер посвятить мате-  
ри. До восьми часов рассказывал ей о  
путешествии в Петроград (в мягких  
красках, чтобы она не слишком пуга-  
лась), о своих планах журнальных ра-  
бот. Фру Бистрем мало смыслила в по-  
литике, из рассказов усвоила, что сын  
привез богатый материал для статей и  
может несколько поправить материаль-  
ные дела. В восемь часов он повел мать  
в кинематограф, где фру Бистрем  
всплакнула над драмой одной немецкой  
малютки, отец которой был пьяница,  
потерявший работу, а мать чахоточная.  
Вернулись домой в половине одиннадца-  
того. В прихожей, покосившись на те-  
лефон, Бистрем еще раз позвонил Ар-  
дашеву, — на этот раз к аппарату ни-  
кто не подошел. Все-таки, сколько ни  
отмахивайся, а все это более чем не-  
понятно. Затем скромно ужинали в  
кухоньке. Бистрем закурил трубочку.  
Фру Бистрем, растроганная кинемато-  
графом, поцеловала сына в голову:  
«Ты у меня скромный, честный маль-  
чик, каждый вечер благодарю бога, что  
не пристрастился к вину, бог тебе по-  
может встать когда-нибудь на ноги».

— Не огорчайся, мать, я твердо  
стою на ногах.

Бистрем пошел в свою комнату, ко-  
гда-то детскую, теперь — рабочий ка-  
бинет, уставленный книжными полка-  
ми. Начал стелить постель на кожаном  
диване, слишком коротком для него,  
так что приходилось подставлять в но-  
ги кресло. Он уже снял подтяжки, ко-  
гда заметил под письменным столом на  
коврике папку с его рукописями. Он  
твердо помнил, что давеча положил ее  
в стол, — тесемки развязаны, и — на  
глаз — половины рукописей не хватало.  
Он торопливо выдвинул средний ящик  
стола, где лежали петроградские замет-  
ки и материалы: их не оказалось, все  
в ящике перевернуто. На столе (под  
пресс-папье) не было и ардашевского  
письма.

Бистрем поправил очки. Пошел было  
к двери, вернулся... К чему пугать мать...  
Ясно — полицейский обыск, как раз  
когда они были в кино. Ну конечно —  
он вспомнил и фигуру в котелке с

поднятым воротником, быстро перешедшую от их под'езда на другую сторону улицы... Но — ужас, ужас! — пропали все материалы для статей... Он всей кожей почувствовал неумолимую ненависть, окружившую его маленькую комнату с зеленой рабочей лампой, с книгами и мыслями о великом движении человечества... Сидя перед оскверненным столом, он сжал кулаки, сжал челюсти...

Повода для ареста в похищенных материалах они пожалуй не найдут, но высылка из Стокгольма обеспечена. Тем лучше... В Германию! Не дожидаясь, завтра взять у Ардашева нужные письма и — в Берлин. Взглянул на стенные часы — половина первого. На цыпочках прошел в прихожую и позвонил Ардашеву. Долго не отвечали. Затем слабый, как будто удерживающийся от плача голос экономки:

— Ах, это вы, господин Бистрем... Пожалуйста, не могли бы вы сейчас притти, мне очень страшно...

— В чем дело?

— Ах, я право очень боюсь по телефону...

Вьггирая глаза белоснежным передником, экономка рассказала Бистрему следующее:

Ровно в десять часов позвонили по телефону. Незнакомый голос, назвав ее по имени, — фру Вендля, — сообщил (на дурном шведском языке), что Ардашев немного выпил и остается ночевать в гостинице Хасельбакен (в пригородном местечке Хасельбакен) и просит немедленно привезти ночную рубашку и зубную щетку. Фру Вендля сейчас же собрала ночные принадлежности и поехала на трамвае в Хасельбакен...

— О, господин Бистрем, господин Бистрем, — у нее задрожали плечи, закрыла все лицо передником, — господина Ардашева там не было. В гостинице Хасельбакен никогда не слышали о господине Ардашеве.

— Так. Все понятно, затем, когда вы вернулись домой...

— Да, господин Бистрем, когда я вернулась домой, мне сразу бросилось в глаза, что вот этот коврик у двери лежит криво. Я было подумала, что господин Ардашев вернулся, и позвала

его... И вдруг стало страшно, так страшно... (Всхлинула.) В кабинете обе шторы были спущены, — я их не спускала сегодня...

— Понятно. И ящик в письменном столе...

Оказалось, все ящики в столе и в бюро (где Ардашев хранил золото и драгоценности) были взломаны. На ковре фру Вендля нашла золотую монету и бриллиантовую запонку. Похищены также папка с цветными гравюрами и несколько книг из шкафа. Но в столовой и спальне все оказалось на месте, буфет, где хранилось столовое серебро, даже не вскрыт, не взята дорогая бобровая шуба, висевшая в прихожей...

— Дело очень серьезное, очень серьезное, фру Вендля... Вспомните-ка, по какому делу мог пойти сегодня утром Николай Петрович?

Фру Вендля вдруг оживилась:

— ...Господин Ардашев пошел во дворец Густава III. Там открыта школа для русских детей. О, я теперь вспомнила... Когда он разговаривал утром по телефону, он говорил по-русски... И потом он крикнул:

— «Фру Вендля, сегодня завтрак на две персоны...» Ах, моя голова, моя бедная голова!.. Две персоны к завтраку, кроме него, и две бутылки шампанского...

— Значит ждали еще третьего?

— Так, господин Бистрем...

— Кого?

— Мне кажется, того господина, кто заходил вчера... Я узнала его голос, когда он утром просил к телефону господина Ардашева. Третьего дня он долго сидел в кабинете...

— Небольшого роста, с паршивыми усиками, Извольский?

— Так, так...

— О чем они говорили третьего дня?

— Господин Ардашев позвал меня в кабинет и сказал: «Фру Вендля, к господину Извольскому приехала из России девочка, племянница. Мы устраиваем ее в русскую школу, ее нужно приодеть хорошенько. Где можно купить недорогие первоклассные детские вещи?» Я сказала: «С большим удовольствием схожу с девочкой в один магазин». Господин Извольский сказал

мне: «К сожалению девочка нездорова и живет далеко от города, в Баль Станесе, — вещи придется купить заочно».

— По какой дороге Баль Станес?

— По Северной. На автомобиле туда двадцать минут.

— Николай Петрович мог рассчитывать, выйдя в десять часов из дома, с'ездить в Баль Станес и вернуться к завтраку?

— О, вполне.

— Фру Вендля, — сказал Бистрем, надевая пальто, — сейчас же звоните в полицию, заявите о грабеже. Когда они явятся, повторите им все, что вы мне говорили...

— Меня могут арестовать?

— Я думаю, они с этого и начнут. Но не бойтесь. Скажите им, что только-что был здесь журналист Карл Бистрем и очень заинтересовался этим делом. Я оставляю вам мой телефон, будут какие-нибудь новости, непременно звоните.

Он вышел, оставив за дверью плачущую от страха Вендлю.

Была несомненная связь между обыском у него и грабежом у Ардашева, — все это сильно отдавало политикой. Таков был первоначальный вывод у Бистрема, когда он шагал в ночном тумане. Дойдя до своего дома, остановился, всматриваясь: близ подезда под фонарем стоял человек в котелке с поднятым воротником и тоже всматривался. Бистрем быстро снял очки, носовым платком — сморкаясь — прикрыл лицо и прошел мимо незнакомца — вниз по пустынной улице.

Туман клубился у фонарей. Подошвы скользили на ледяном асфальте. Незнакомец некоторое время шел за ним и отстал. Светящийся диск часов висел над крышами, как чудовищная луна. Подойдя ближе, Бистрем различил: четверть третьего. Куда итти? Где-то нужно переждать до утра... Он вспомнил о портовом кабачке, открытом всю ночь, и свернул к старому острову.

В «Ночной вахте», в передней комнате с цинковым прилавком, было сравнительно пусто. Бистрем устроился за изрезанным ножами столом, спросил черного кофе. У другого конца стола

дремал, подперев щеку, человек в пальто и в смокинге, в плюшевой шляпе. В глубине комнаты низкая арка и каменные ступени вели в помещение, куда полиция неохотно заглядывала. Там слышались матросские песни, шелканье карт и костяшек, пьяный говор; порой он усиливался и свирепел, как ноябрьский шторм, тогда плечистый хозяин за цинковой стойкой поворачивал к арке тяжелое лицо, знакомое с приключениями на всех широтах. Туда, в глубину кабака, и оттуда, к стойке, циркулировали кучками и в одиночку тяжелоногие матросы; элегантные воры; бледные, как полотно, курильщики опиума; рассеянные и неряшливые морфинисты; томные эротики, нюхающие эфир; опухшие алкоголики; жаждущие странных видений потребители гашиша с остановившимися зрачками. Близ наружной двери за столиком дремал полицейский, — он вступал в свои обязанности только лишь в случае, когда чья-нибудь отчаянная душа, не успев вкушать всех наслаждений, вылетела в маленькую дырку, проделанную ножом.

Бистрем размышлял. Самое благоразумное — завтра же с утренним поездом удрать в Берлин. Но благоразумие было у него наименее развитым рефлексом. Помимо всего, эта история зацепила его профессионально, — нюхом журналиста он чувствовал богатую поживу. Если бы еще удалось создать политический процесс, — лучшего громкоговорителя на всю Европу и желать нечего. «Дорого вам обойдется обыск у Бистрема, сволочи».

Из глубины кабака к человеку за его столом подошла женщина. Он встретился, и они заговорили взволнованным шопотом. Она была пьяна и плаксива, у него — мутные глаза, измятое лицо. Он пытался что-то выпытать, она трясла красной шляпкой, двигала по столу стакан, нагнувшись, с отвращением тянула водку. Несколько фраз долетело до Бистрема, он насторожился, — они говорили по-русски:

— Брось глупости, что случилось?

Она топорищилась. (Он настаивал.) Засопев носиком, сказала:

— А то случилось, — они третьего привезли.

— Когда?

— Часов в одиннадцать, утром сегодня...

— Кого?

— Он так мне всегда нравился, так я мечтала с ним познакомиться... Тебе же все равно — кого!..

— Ты что — видела?

— Ну да же... Поехала в девять часов на дачу, за моими платьями... Иду пешком с вокзала... А они и катят в автомобиле... Я — в лес, и — назад на станцию... Если он меня видел на дороге, — только до утра и жить...

— Кто видел, Хаджет Лаше? (У Бистрема точно заслонка соскочила с глаз — сразу вспомнил, как под Сестрорецком ночью во время опроса его особенно спрашивали о Хаджете Лаше).

— Тише ты. (Она схватила человека за руку, глядела кругом мечущимися зрачками...) Дурак, дурак... Уйду от тебя... (Качнулась и — в самое ухо.) В автомобиле двое, говорю, были: этот симпатичный, симпатичный... (Сморщилась слезами) И — сволочь — Извольский... Водку пьем, а там они чорт знает что делают...

Человек встряхнул ее:

— Лилька, слушай ты, еще раз повторяю...

— Оставь! Ты просто дурак... Сказала, боюсь, значит боюсь... Все равно, миленький, я уж опиум теперь курю... Чорт с вами, хоть все вы друг другу глотки перережьте... Да и чорт со мной тоже. Вот что...

Она встала, пошатываясь. Он пытался удержать — вырвала руку, едва не упала. (Кабатчик за стойкой угрожающе густо кашлянул.) Она долгим взором уставилась на него. И — собеседнику:

— Ну, хорошо, я скоро приду, — подождешь?

Она ушла за арку. Человек в смокинге рассеянно мял незакуренную папиросу. Бистрем до тех пор глядел на него, покуда тот не поднял глаз.

— Можно вам задать несколько вопросов? — Бистрем сейчас же подсел к нему со стулом. — Я — журналист (назвал себя). Я невольно подслушал ваш разговор. (Налымов нехотя усмехнулся.) Насколько я понял, эта дама видела сегодня в одиннадцать

утра где-то за городом в автомобиле моего друга Ардашева вместе с неким Извольским. Ардашев до сих пор домой не возвращался. Между десятью и двенадцатью часами его квартира была ограблена. И я боюсь, что жизни его грозит опасность. Можете вы мне дать какие-нибудь объяснения по поводу всего этого?

Налымов закурил, глядя на огонек, на дымок. Потом повернулся к Бистрему всем телом. Лицо его с мягковатым носом и глубокими складками у рта, представлявшее издали даже значительным, лицо его теперь, на расстоянии двадцати сантиметров, оказалось просто жалкой дребеденью. И видимо, у него самого не было желания скрывать этого обстоятельства. Он встал, поправил шляпу, запахнул пальто:

— Идемте...

Они подошли к пустынной набережной. Внизу медленно плескалась о гранит невидимая вода. Огни далеких маяков боролись с туманом, в стороне мигающих огней звывала сирена. Налымов сел на сверток канатов, засунул руки в рукава:

— Если у вас есть возможность пригрозить полиции скандалом в печати, вашего друга можно еще попытаться спасти. Не думаю, чтобы они прикончили его сегодня ночью. Вам что-нибудь известно о «лиге спасения российской империи» и о Хаджете Лаше? Лига и Хаджет Лаше — шайка наемных убийц, но вести борьбу вам придется все же с теми, кто их нанял, а это довольно серьезно: ниточки протянуты до самого Версаля. Вы можете взять только огромным европейским скандалом. Вы намерены влезать в драку?

— Да, теперь я особенно намерен.

Налымов вздохнул будто с облегчением. Глубже засунул руки в рукава и начал рассказывать о Хаджете Лаше, о создании лиги, об организации политических убийств. Случай с поддельным чеком Леви Левицкого он считал самым уязвимым местом Хаджета Лаше в особенности теперь, когда высшая политика в Лондоне и Париже берет курс на демократию в надежде, что у вождей рабочей партии и социал-демокра-

тов найдутся более современные приемы своротить шею большевикам...

Кашлянув от застрявшего в горле тумана, Бистрем спросил:

— Например какие приемы?

— Хотя бы польская война... (Бистрем кашлянул.) Во всяком случае, Лаше, это—грязный вчерашний день. Лаше попытаются спасти, чтобы не вывешивать на улице грязи, но на широкий скандал не пойдут, выдадут с головой.

Помолчав, Бистрем сурово проговорил:

— Слушайте, вы представляете, какую сейчас огромную услугу вы оказываете большевикам?

— Пожалуйста, — пожал плечом.

— Гм... Вы — странный человек... За эту услугу можете жестоко поплатиться, предупреждаю.

Нальмов не ответил. Мутное пятно его лица как будто затряслось от смеха.

— Удивительное дело, — сказал он. — Опять значит надувать ветром пустые рукава. Нет, дорогой мой Бистрем, все, что нужно, и все, что вы от меня потребуете, я сделаю... Я-то в этом деле хочу только спасти одного человека, такого же лишнего, как и я. Но на свет вы меня не вытаскивайте, — не из скромности говорю, даже не из боязни, нет... Из чисто санитарных соображений: я не герой... Я—обыватель с улицы Буланвилье. Впрочем с удовольствием, даже с острым удовольствием, окажу услугу большевикам... (Лицо его опять растянулось, хихикнуло...) Это было бы прекрасным завершением...

И он начал бормотать какие-то совсем уже мало содержательные фразы. Бистрем, присев перед ним на корточки:

— Слушайте, план действий таков, по-моему...

Они вернулись в «Ночную вахту» и едва отогрелись черным кофе и водкой. Когда в предутренней мгле зазвонил первый трамвай, Бистрем и Нальмов поехали в главное полицейское управление. Пришлось ждать. В половине восьмого они вошли в кабинет начальника полиции. Он сидел широкой спи-

ной к газовому камину. Все вокруг него блестело лаком, светлым дубом. Вошедшие сели напротив полнокровного лица начальника, с лакированными глазами и лакированными усами. Он был изысканно вежлив. Бистрем сжато и энергично объяснил цель прихода: их друг, Ардашев, находится в руках шайки убийц дорог! каждая минута: нужно немедленно послать отряд полиции на дачу Хаджет Лаше, в Баль Станес.

Ничто не отразилось на лице начальника полиции, не дрогнул волосок гороховых бровей, не затуманились глаза даже, когда Бистрем упомянул о Хаджет Лаше, о лиге, о загадочных убийствах Кальве и Левицкого, «раскрыть которые считает долгом господин Нальмов». Начальник полиции с улыбкой сидел, взявшись за дубовые ручки патентованного кресла.

— Господа, — голос его был трубный и мощный, — господа, я охотно верю, что вы оба — в добром здоровье и твердом рассудке. Если вы пришли рассказывать мне сказки о каких-то таинственных лигах и загадочных убийствах, охотно позабавлюсь вместе с вами, но конечно было бы уместнее заняться этими шутками в неслужбное время...

Он слегка наклонил туловище, Бистрем взглянул на Нальмова, тот пожал плечами. Бистрем, — нахмурясь:

— Вам известно, что у меня был обыск и изъятие журнальных материалов?

— Вот как? Нет, неизвестно...

— Предположим... Но вам известно, что я вернулся из Советской России, куда ездил в качестве корреспондента от больших европейских газет. Я не сомневаюсь, что вы будете пытаться арестовать меня и упрятать подальше... (Лицо начальника сияло.) Поэтому — к сведению: мною уже начата газетная кампания, не здесь конечно: в Лондоне и Париже, в оппозиционной прессе. Материалы о лиге и о Хаджет Лаше и все, что сопутствовало его деятельности в Стокгольме, мною переданы по назначению. Вы конечно осведомлены о перемене общеполитического курса в Европе. Мой арест и ваше странное поведение о делах лиги и Хаджет Лаше послужат тем желанным политическим

скандалом, который ищет сейчас оппозиционная пресса...

— Вы мне грозите? — с тихой медью в горле (перетянутом синим воротником) спросил начальник.

— Да, я вам угрожаю и неприятностями более серьезными, чем вы мне...

В первый раз начальник отвернул лицо от сидящих перед ним и некоторое время смотрел в окно. Затем с приветливой мягкостью:

— Посидите, господа, я наведу справки.

Он поднялся, рослый, облитой мундиром. Вышел. Бистрем тихо засмеялся: «Взяли на пушку»... Начальник отсутствовал минут двадцать. Вернулся красным солнышком. Снова плотно сел:

— Я навел справки. Господа, представьте это дело мне. Знаете, наша работа — ответственная, тяжкая, когда в нее вмешиваются любители детективы (наклон туловища в сторону Налымова) или пресса принимает слишком горячее участие, начинается невообразимая путаница, — много бумаги, много шуму, мало толку. Шведская полиция, как и во всех цивилизованных странах, не интересуется политикой, мы — слепое орудие власти. Мы одинаково гостеприимны и к русским монархистам и к большевикам. Но сводить друг с другом ваши счеты, господа, этого мы допустить на нашей территории не можем, — ступайте за этим к себе домой... Лига занимается политикой, — говорите вы... Да хоть черной магией, это — ее дело. Но если какие-то члены лиги преступили закон, будьте покойны, — меч закона обрушится на них... Господа, верьте в мою искренность, оставьте ваши телефоны, через пару часов я сообщу вам исчерпывающие сведения об Ардашеве.

Начальника несло словоохотливостью. Честный Бистрем даже приоткрыл рот от изумления. Налымов сказал по-русски:

— Валяет дурака, оттягивает время. Действуйте энергичнее.

Тогда (под трубно рокочущий голос) Бистрем быстро на блокноте набросал несколько фраз, вырвал страницу и протянул ее начальнику. Это была телеграмма, она начиналась: «Париж. Юманите. Раппопрту. В Сток-

гольме мною раскрыта террористическая организация...» И так далее. Прочтя, начальник осторожно почесал мизинцем сбоку носа:

— Что это такое?

— Начало борьбы. Через пару минут телеграмма отправится в Париж.

— Я не могу понять, что собственно вы от меня хотите, господа?

— Немедленно отрядить с нами агентов для обыска на даче Хаджет Лаше.

Налымов — учтиво:

— Хорошо вооруженных, господин начальник.

— Знаете, господа, — воротник у начальника, видимо, стал тесен, — все же это — беспримерно. Вы не доверяете мне. Вы пытаетесь руководить моими поступками. Вы грозите мне...

Бистрем перебил:

— Курьер советского посольства Кальве и журналист Леви Левицкий под носом у стокгольмской полиции были подвергнуты ужасающим пыткам и убиты. По этому делу у нас имеются документы и свидетели.

Начальник отвалился на спинку патентованного кресла. С лица его стал сходить лак. Пауза. Он вскочил, отшвырнув кресло на роликах, и бешено:

— Сто чертей им в глотку, бродяги, нищая сволочь! Я покажу проклятым русским эмигрантам политику! (Позволил). Господа, собирайтесь. Я придам к вам шесть полицейских и детектива...

Голые леса с мрачной зеленой хвоей, северные тучи, мрачнее туч — оголенное озеро с полегшим по берегам камышом. Под клубящимся небом дача в Баль Станесе казалась покинутой, — ни дымка на высокой черепичной кровле, часть окон закрыта ставнями, истоптанные дорожки, снежок в поломанной клумбе. Один из полицейских, бросив нажимать звонковую кнопку, долго стучал кулаком в дверь на крыльце. Студеный ветер поддувал под шинели. Агенты ворчали.

Детектив полез по водосточной трубе, сиюсья заглянуть в окно второго этажа, но только ознобил руки, спустился, — подслеповатое лицо его изобразило крайнюю скуку: «Пустая затея, здесь уже неделю никто не живет...» Инструменты для взлома двери



не были взяты, сержант предложил поехать на станцию и переговорить с начальником. Пришлось вмешаться Бистрему и Налымову. Они начали стучать руками и ногами, сержант по их просьбе выстрелил из револьвера.

В доме послышалось шлепанье туфель, зевок. Дверь раскрылась, высунулся Хаджет Лаше, небритый, опухший и заспанный, в туфлях на босу ногу, в ночной рубашке и в накинутом пальто:

— В чем дело?

— А вот сейчас узнаете, в чем дело, — сердито проговорил сержант, отесняя Лаше в переднюю. — Тут у вас, чорт возьми, крепко спят. — Из-за борта мундира вытащил узко сложенную бумагу — предписание об обыске. — Ваше имя?

Лаше пошел за очками: «Закрывайте двери, настудите дом» — крикнул он из столовой. Вернулся, добродушно поправляя черепаховое пенсне на жирном носу: — Покажите-ка этот курьез...

Прочел. «Пожалуйста, господа. (И тогда только царапнул зрачками по Налымову). Сделайте ваше одолжение, здесь все нараспашку».

Полицейские разошлись по комнатам. Налымов сказал сержанту:

— В этом доме — большая женщина. Прошу у ее двери поставить агента, иначе мы найдем ее мертвой.

Бистрем был уверен, что Хаджета Лаше предупредили об обыске. Налымов считал, что это было бы слишком опрометчиво и неосторожно со стороны начальника полиции. Все же как будто Лаше приготовился, может быть, его встревожил ускользнувший из рук Бистрем. Лаше надел штаны и с длинным мундштуком, улыбаясь, ходил за агентами, сам открывал шкафы, ящики, двери. Обыск в первом этаже и в его комнате не дал ничего. Бистрем хмурился. Налымов, безучастно сидя в столовой, ждал, когда дойдут до второго этажа.

На мгновение в столовую заглянул Хаджет Лаше и хрипавато — по-русски:

— Напрасно затеяли. С тобой будет то же, что с Левантом.

— Что с Левантом?

— Найден с перерезанным горлом в Марселе.

— Что вы сделали с Верой Юрьевой?

— Наверху. Плоха. — Лаше убежал и — весело агентам: — Теперь только кухня. Или кухня потом? Пойдемте наверх.

Налымов, не снимая шляпы и перчаток, — руки назад с тросточкой, — последним поднимался по лестнице. Он чувствовал, что боится встречи с Верой Юрьевой. Он необычайно легко (человек со сломанным стержнем) приспособивался к любой, самой невероятной обстановке, с тонким искусством извлекал всюду (даже в сточных канавах под Парижем) хоть каплю услужения. Но с такой же легкостью он и отряхивался, забывал. Но в этот раз отряхнуться не удалось: часть его самого оставалась в этом памятном доме, и даже то, что он охладел к Вере Юрьевне, сильнее обостряло связь с ней.

Впереди по лестнице поднимался Лаше, бойко подшучивая над самим собой. Кое-кто из полицейских ухмылялся. Внезапно Бистрем — громко:

— Прошу обратить внимание, лестница — свежо замыта.

Все остановились. Подслеповатый детектив сердито взглянул на Бистрема и нагнулся, рассматривая растоптанный окурок. Лаше раскатило засмеялся:

— Bravo. Лестница действительно вымыта и не дальше, как вчера утром... (Сержанту.) Натаскиваешь с улицы грязь — не могу привыкнуть к северному обычаю: сапоги снял в прихожей, а дома — в шерстяных носках...

Сержант согласился:

— Это практично.

— Господа, здесь — музыкальный салон. Как видите, пол также замыт... (Захотел)... Здесь — две спальни для приезжающих. Здесь — комната больной... Начнем с салона?..

Налымов остался у запертой комнаты Веры Юрьевны, — там не было слышно ни звука, ни дыхания. Лаше издали, мимоходом поглядывал насмешливо. Бистрем ходил за агентами, сурово сжав рот. Наверху тоже не обнаружили существовавшего, только в музыкальном салоне — на обивке кресла — невыясненного происхождения

темное пятно, сильно в одном месте поцарапанный пол и в камине, в золе, пряжку, повидимому от собачьего ошейника. Все вернулись к двери Веры Юрьевны.

— О-ла-ла, — Хаджет Лаше отыскивал ключ на связке, — здесь самое тяжелое, господа.... Я бы просил, если возможно, не входить всем, — дама душевно больна, положение очень, очень тяжелое.

Налымов спросил:

— Быть может, у неета именно форма заболевания, когда больной отказывается от еды?.. Это очень тяжелая форма.

— Да. Вы угадали, она наотрез отказывается от еды и питья. (Пониженным голосом). Пожалуйста, господа...

Налымов — опять позади всех — тихо Бистрему:

— Теперь берите агента и — на кухню... Или там, или на чердаке...

Вошли на цыпочках. Пустая комната, закрытые ставни, холодно, непроветрено. «Ай-ай-ай» — пробормотал сержант. У стены на кровати — очертание тела, закрытого с головой грязной простыней. «Припадки бешенства, мы все отсюда вынесли» — прошептал Лаше.

Налымов стащил перчатку и, продолжая держать левую руку с тростью за спиной, подошел к постели. Осторожно откинул простыню. (Лаше зашипел. Бистрем придвинулся к Налымову).

Вера Юрьевна лежала на правом боку. Голова ее была обрита, полуседые волосы отросли на сантиметр. Налымов положил ладонь на ее лоб и почувствовал, как медленно раскрылись и закрылись у нее ресницы. Нагнулся:

— Вера, это — я.

Ресницы затрепетали. Лоб был холоден. Он осторожно провел по лицу, ощутил острый кончик носа, прижал ладонь к сухим, будто шерстяным губам. Они пошевелились, он почувствовал, как зубы ее чуть-чуть укусили ладонь. Он отдернул руку, повернулся к сержанту:

— Прикажете принести воды... Ее убивают жаждой...

— Что ты сказал? — Жирная маска

Лаше задвигалась, будто отдираясь, заплясали морщины и желваки. — Кто ты здесь! Шантажист! Апаш!

Налымов переложил трость в правую руку и изо всей силы ударил Хаджет Лаше по лицу, по голове и по пальцам вздернувшейся его руки. Лаше гортанно негромко крикнул и кинулся на Налымова. Оба покатались на пол. Сейчас же их растащили. Лаше весь содрогался в руках агентов... «Ана-насанна, ананасанна» — бормотал он шопотом. Налымов, подняв шляпу и трость, силился унять трясущиеся губы.

— Господин сержант, я дам все показания в протоколе, — сказал он, — прошу позвонить начальнику о разрешении остаться мне с этой женщиной, безразлично, будет или не будет арестован Хаджет Лаше.

Он поставил трость к стене и снял вторую перчатку.

Поступил ли Налымов обдуманно, или разум был только искрой, взорвавшей то, что давно копилось в подсознании и ждало взрыва? Во всяком случае удары палкой сразу повернули дела Хаджет Лаше к худшему. Он потерял самообладание. Агенты во время возни вынули у него из кармана пальто револьвер. Сейчас Лаше стоял у каминна (в музыкальном салоне) и, не отрываясь, глядел на Налымова, сидевшего боком к нему в кресле у стола, где сержант (надев очки и расставив локти) неторопливо писал протокол.

Лаше настолько был поглощен бешеными ощущениями, что не заметил даже отсутствия в комнате Бистрема и одного из агентов. Налымов всею щекой чувствовал его упорный взгляд и был настороже. Когда сержант спросил Налымова, что он знает об образе жизни Хаджет Лаше, и когда Василий Алексеевич заговорил, Лаше начало трясти. При словах: «Внизу, в столовой, они совещались и поджидали жертву, в этой же комнате...» Лаше живо нагнулся за погнутыми каминными щипцами, но один из агентов успел схватить его за руку и с трудом отнял щипцы. Их положили на стол. Правда Налымов треснул Лаше палкой, почему бы Лаше в свою очередь не треснуть

его каминными щипцами? Это было, так сказать, частное дело русских. Неожиданно все осложнилось: подслеповатый детектив, заинтересовавшись щипцами, обнаружил в лупу на одной из их лапок прилипшие вместе с засохшей кровью человеческие волосы. Сержант сказал «ого» и из-под низу очков строго посмотрел на Лаше. Протокол отягчался. Лаше, наотрез все отрицавший, настоял, чтобы в протоколе поместили просто: «волосы», без упоминания «человеческие», так как эти волосы собачьи, что и покажет экспертиза.

Затем в комнате появились Бистрем и агент, они несли кучу мешков, бечевки и четыре десятикилограммовые гири. Эти вещи были найдены на кухне, в потайном стенном шкафчике, заклеенном (повидимому совсем недавно) снаружи обоями. Мешки большие, из джута, девять штук. На трех — надписи масляной краской. На одном: «По постановлению лиги спасения Российской империи — большевистский комиссар Красин». На другом: «По постановлению лиги — большевистский комиссар Воровский». На третьем: «По постановлению лиги — журналист Карл Бистрем, агент большевистской контрразведки, агент Чека». Эта последняя надпись была свежая, — краска липла к пальцам.

На вопрос, что означают эти мешки и надписи на них, Лаше закрыл лицо руками и силло задышал. На повторный вопрос он, клятвенно протянув руку, в повышенном тоне ответил, что его принуждают к бесчестью, он не в состоянии, даже спасая свою жизнь, разглашать тайн, в которых замешаны лица, играющие в настоящее время руководящие роли в европейской политике...

Все это было более чем странно. На вопрос Бистрема в лоб: где находится Ардашев или его тело, не в одном ли из таких мешков? Лаше снова несколько подтянулся и ответил с наглой усмешкой, что об этом с большим успехом можно спросить у постового полицейского, у содержателя любого из ночных притонов, или, что еще вернее, в большевистском посольстве.

Закончив протокол, сержант, сопро-

вождаемый Бистремом, пошел вниз переговорить по телефону с начальником полиции, как поступить с Лаше? Вернулся, строго нахмуренный:

— Господин Хаджет Лаше, на основании данных протокола господин начальник счел нужным арестовать вас и препроводить в тюрьму, впрочем без накладывания наручников.

— Могу я по крайней мере одеться? — вызывающе крикнул Лаше. И, затрясавшись всей маской, Налымову и Бистрему: — Через неделю выйду из тюрьмы, включите это в ваши расчеты!

Лаше увезли. Бистрем и Налымов остались на даче. В бывшей Лялькиной спальне затопили печь и перенесли туда Веру Юрьевну, от слабости она не могла даже говорить. После обсуждения решили вымыть ее в ванной и сегодня же перевезти в гостиницу. Бистрем позвонил об этом начальнику полиции, тот ответил: «Делайте на свою ответственность».

Бистрем отнес на руках завернутую в простыню, легонькую, как ребенка, Веру Юрьевну в ванную. Простыню и рубашку сочли за лучшее тут же сжечь. Желтое, с проступающими ребрами длинное тело Веры Юрьевны все было в кровоподтеках. (Бистрем пробормотал: «Это надо бы тоже в протокол».) В горячей ванной она блаженно закрыла глаза. Ей вымыли стриженные волосы, и голова ее стала похожа на реденький брововый мех. Уложили в чистую постель, дали крепчайшего кофе и два бисквита. Она задремала. Бистрем и Налымов спустились в столовую.

Надо было признать, с обыском они просыпались. Кроме надписей на мешках и каминных щипцов, никаких безусловных улик не найдено. Преступление не установлено. Даже если Вера Юрьевна оправится и даст показания, Хаджет Лаше при могущественной поддержке вылезет сухим, — вне всякого сомнения он запасся врачебным свидетельством о душевной болезни Веры Юрьевны, и ее показания предстанут как бред сумасшедшей. Бистрем формулировал: «Если мы не найдем трупов Кальве, Левицкого и, быть может, Ардашева, наше дело битое. Пока что

мы только растревожили осиное гнездо».

Они еще раз обшарили весь дом, подвал, чердак. Бистрем некоторое время бродил вокруг дачи. Внезапно, топая, как лошадь, взбежал по лестнице, крикнул Налымову:

— Слушайте, мы идиоты! Я знаю, где трупы. Мешки и гири, вы поняли? Трупы — в озере... И конечно с надписями на мешках. Но это Лаше не спасет. Он-то уголовник чистой воды. И даже еще будет пикантнее связать сто-процентного бандита с французским генеральным штабом и английской контрразведкой...

На следующее утро Бистрем, зайдя на квартиру Ардашева (фру Вендля по снятии показаний была выпущена на свободу), сделал еще чрезвычайное открытие: в кабинете Ардашева наткнулся на неразрезанную книжку с надписью от автора и датой — август 19 года, «Хаджет Лаше. Убийца на троне»<sup>1)</sup>. С первых же страниц Бистрем почувствовал, что напал на настоящий след. Книжка была тем удивительным явлением (хорошо известным в уголовной практике), когда преступник, часто даже рискуя головой, возвращается на место преступления. Эта психическая необходимость происходит, может быть, из инстинктивного желания «растормозить рефлексы», болезненно возбужденные в торопливой и напряженной суеде преступления.

В книжке Хаджет Лаше рассказывал (в полубеллетристической форме) о делах тайной полиции Абдул-Гамида: как намечалась жертва (обычно — богатый турок, грек, левантинец), заманивалась в дом на пустынной улочке в Стамбуле и там угрозами и пытками жертву заставляли выдать чек или денежное письмо, ключ от сейфа и так далее. С удивительными подробностями и мелочами Лаше рассказывал о пытках и муках, — человеку надевали ошейник, резали лицо, вырывали волосы, выжигали глаза, всовывали иголки под ногти и прочее. Затем его засовывали в мешок и бросали в Босфор. На

<sup>1)</sup> Книга издана в русском переводе самого Хаджет Лаше в Петрограде в 1917 году. Большая редкость. — Т.

даче в Баль Станесе было повторено повидимому с теми же деталями то, что десять-пятнадцать лет тому назад проделывалось в Константинополе.

Но для какого чорта Лаше подарил да еще с надписью эту книжку одной из намеченных жертв? Здесь — расчет тончайший, но какой? В честных мозгах Бистрема не находилось объяснения. Но он понимал, что если выступит на суде с этой книжкой как с одной из улик, прежде всего должен будет ответить именно на этот вопрос: для чего Лаше принес Ардашеву книжку?

Он ходил по кабинету, бормотал, выворачивая губы, вращал глазами, корчил страшные гримасы, какие, по его соображениям, должны быть у матерых убийц и бандитов, силился влезть в эту черную психику. Ничего не получалось. Разболелась голова. И, когда только с досадой отмахнулся («драматург какой-нибудь, романист, тот бы сразу с восторгом влез в шкуру Лаше»), чрезвычайно простое объяснение явилось само собой: да, именно поэтому-то Лаше и подарил Ардашеву книжку, чтобы этого поступка и нельзя было объяснить в случае, если на Лаше падет подозрение... «Ах, дьявол, ах, гениальнейшая голова» — бормотал Бистрем, в восторге потирая руки.

На предварительном следствии Хаджет Лаше заявил следователю, что его арест не что иное, как происки большевиков, исчезновение Кальве, Леви Левицкого и Ардашева устроено заграничными агентами Чека с целью создать политический процесс и дискредитировать лигу, учрежденную для вербовки добровольцев для белых армий в России. Эти три лица похищены чекистами и переправлены в Россию, при чем Левицкий и Ардашев расстреляны, Кальве — на свободе, как бывший бунтовщик. Документальные сведения Лаше обещался к следующему дню доставить из архива лиги.

По поводу волос на каминных щипцах сказал, что защищался от взбесившейся собаки, рыжего сетера, — собака убита и брошена в озеро. О надписях на мешках (прося не заносить в протокол) дал такое объяснение: один из членов Лиги оказался провокатором, подкупил Бистрема и Налымова и перед

обыском, в отсутствие Лаше, сделал надписи на мешках, о чем Лаше узнал только во время обыска и, вполне понятно, ужасно взволновался и даже не помнит, что говорил. Мешки были приобретены для хозяйственных надобностей.

Следствием чрезвычайно заинтересовался граф де-Мерси, — приехав в камеру следователя, долго и значительно разговаривал с ним, подтвердив между прочим предположение о провокационном увозе агентами Чека трех упомянутых лиц на территорию Советской России. Затем, как и обещал Лаше, русский офицер Биттенбиндер вручил следователю письмо генерала Сметанникова к генералу Гиссеру, где сообщались подробности о Кальве, Левицком и Ардашеве, привезенных на рыбацьем паруснике в Петроград. Следователю оставалось признать факт и выпустить Лаше на свободу. Но следователь колебался, — Бистрем передал ему книгу «Убийца на троне» (указал на параллельные подробности) и по поводу письма Сметанникова твердо заявил, что такого генерала не существует в природе, — письмо сфабриковано шайкой Лаше.

Все же дела оборачивались скверно. В сумерках на улице к Бистрему подошел незнакомец, прикрывший лицо воротником, и вполголоса отчеканил: «Ты (трах тарарах) уходи с нашей дороги, если жить хочешь (трах тарарах)». Единственным успехом было только то, что следователь после разговора с Бистремом дал ордер на обыск в квартире Извольского. Но тут-то все неожиданно и круто обернулось.

Извольский исчез из Стокгольма в день обыска на даче в Баль Станесе. Следователь узнал об этом, подписывая бумагу об освобождении Хаджет Лаше на поруки (поручился граф де-Мерси). Следователь перечеркнул бумагу и позвонил начальнику полиции. Получался скандал. Бистрем отправил телеграмму в Париж. Честь полиции была затронута. Отправлено радио во все порты и на море. На четвертый день после исчезновения Извольский был арестован на яхте у Аландских островов и препровожден в Стокгольм.

Вначале он отрицал все, даже бегство: он страстно любит море, представлялся случай прокатиться и тому подобное... Бистрем напомнил ему о встрече у Ардашева, о разговоре с Ардашевым в кабинете и о телефонном звонке. Извольский замолчал, теребя слабыми пальцами то бородку, то галстух. Бистрем уперся в него очками:

— Что вы сделали с моим другом Ардашевым?

Пальцы затрепетали. Щеки Извольского задергались мелким тиком. Потянулся к графину с водой и в отчаянии уронил руку:

— Я расскажу все... Господин следователь, я был втянут в преступную шайку. Я — морской офицер. Я присягал Андреевскому флагу... Я мечтал о борьбе с теми, кто издевается над моей родиной, уничтожает все святое, все святыни... Меня погубила слабость, сознаюсь... Я должен был взять винтовку... Мое место там, где сражаются... Я сознаюсь... Я искренно хотел... А впрочем... (Исказился от омерзения.) Меня шаг за шагом втянули в грязь!.. (Внезапно обернулся в Бистрему...) Ваш друг замучен пытками... Он выдал чеки на пятьсот тысяч крон. Убит и брошен в озеро... Он и сейчас кричит у меня в ушах, — этот крик у меня в ушах... Я не спал пять суток... Едемте сейчас, я покажу место, где его бросили...

На первой лодке крикнули: «Есть! Попало!» В ней стояли понятия, вытягивая длинный багор, другие заводили второй багор под то, что попало. Поспешно подошла лодка, где сидели следователь, врач, Бистрем и Извольский. Из глубины всплывало серое и бесформенное, облепленное водорослями. Мешок с телом трудно было поднять на борт, его пробуксировали к берегу, выволокли на смятую траву. Это была третья находка, — вчера и позавчера извлекли из озера полуразложившиеся трупы Кальве и Леви Левицкого. Люди устали и продрогли, и сейчас, выбросив из лодок весла и багры, уселись на берегу, закурили, пошучивали.

Окончив внешний осмотр (на мешке та же надпись: «По постановлению Лиги» и так далее), следователь прика-

зал развязать мешок, но это не удалось и его осторожно разрезали. Обнажилось распухшее лицо, оскаленное, как у собаки, перееханной колесами. На щеках — порезы, на месте глаз — черные впадины, череп проломан. Извольский сказал упавшим голосом: «Это Ардашев». Труп понесли на дачу. Извольский засуетился было помочь тащить, но следователь прикрикнул на него. Бистрем буркнул:

— Что вы за жизнь-то цепляетесь... Хорошо завтракать любите... Вас тогда Николай Петрович с хорошим завтраком ждал, с шампанским.

Извольский, как будто передохнув астмическое удушье:

— Эта мелочь мучает меня невыносимо... В последнюю минуту, когда мы ехали сюда, я понял, какой это обязательный человек...

Так начался большой судебный процесс об убийствах в Баль-Станесе. Извольский выдал всех. Были арестованы и привлечены к делу (кроме Лаше и Извольского) Биттенбиндер, Эттингер, Гиссер с сыном и еще два-три серых лица. Стараниями графа де-Мерси, американского атташе и внезапно появившегося в Стокгольме английского майора Вууда остальных членов лиги привлекли только как свидетелей. Мадам Мари арестовали в Варшаве во время циркового представления, когда она готовилась исполнить соло на метле. Долго не могли разыскать следов Лили, покуда в кабачке «Ночная вахта» один не попавший на борт матрос не объяснил, что ее нужно искать не ближе Бискайского залива, а, может быть, и Порт Саида, но в каком трюме, на каком корабле уплыла девчонка за счастьем, сказать он не мог.

Еще при следствии обнаружилась борьба за окраску процесса. С одной стороны, Бистрем, выступавший как гражданский истец со стороны Веры Юрьевны (она лежала в тюремном госпитале), по-большевистски раздувал политическое пламя процесса. С другой стороны, защита группы Хаджет Лаше, — два видных шведских адвоката и заинтересовавшийся загадочным делом, прибывший из Парижа, чтобы выступить бесплатно защитником Хаджета

Лаше, знаменитейший адвокат Анри Рошефор, — эти три блестящих ума сворачивали весь процесс в сторону чистого психологизма... Фрейд, Шпенглер — вот вежи, по которым можно было подобраться к жуткой загадке Баль Станеса. Бистрем отчаянно боролся против психологизма, но не в силах было справиться с десятком понаехавших шикарных журналистов. Его выслушивали без возражений, вежливо и, отойдя, смеялись:

«Сентиментальный немец вывез из России вместе со вшами Карла Маркса, хочет заставить считать его чудотворцем».

«Если большевики приходят к нам с таким оружием, то это право только мило с их стороны».

Бистрем думал о рупоре на всю Европу. Вместо этого не было газетной заметки, где бы его не высмеивали под тем или иным видом, изображали в карикатурах, перевирали его слова, приписывали идиотские поступки. Когда в первый день суда он появился в ложе для журналистов, раздался смех в публике: Бистрема узнали по карикатурам. Он покраснел и еще раз назвал себя дураком — идеалистом.

В зале присутствовал весь дипломатический корпус. Первые ряды заняты нарядными женщинами. Из видных русских — генерал Юденич, в штатском платье, гладкий, усадый, важный, без видимых следов недавнего разгрома. Следовательно он дал письменное показание, что действительно некий Хаджет Лаше однажды являлся к нему, но он был занят и его не принял... Больше ничего не мог прибавить к показаниям.

Вошли подсудимые. Они вели себя, как все подсудимые, — заслонялись рукой от фотографов, с видом равнодушия поправляли галстуки, перелистывали обвинительный акт, не глядели в публику, с особенным вниманием, но безо всякого внимания слушали словоговорение. Один Лаше сидел как будто на сцене перед рампой, — в белой черкеске с малиновой рубахой, — темными глазами обводил зал и, когда замечал на женских лицах впечатление, честолюбиво усмехался. После допроса подсудимых произошел небольшой инцидент. Василий Алексеевич Налымов,

подойдя из публики к барьеру, попросил у председательствующего разрешения занять место на скамье подсудимых:

«Позвольте не объяснять, потому я не заявлял об этом раньше и почему заявляю сейчас. Но мое место там... (Кивнул на скамью, где сидела Вера Юрьевна, без шляпы в коричневом бербери, похожая худым лицом на поседевшего от испуга подростка). Обещаю дать чистосердечные показания, чтобы облегчить участь одной подсудимой, менее других виновной, — менее, чем я во всяком случае...

— Вы можете дать показания в качестве свидетеля, — сказал председательствующий.

— Нет. Так для меня будет гораздо легче и теперь, и в будущем.

Суд удалился на совещание и в просьбе Налымову отказал. На третий день судебного разбирательства выступил Бистрем. Как Робеспьер, он сжимал в руке трубкой скрученную обемистую речь. Он начал:

— Господа судьи, подсудимая Чувашева обвиняется в укрывательстве преступления. Мне безразличны причины, почему она во-время не донесла полиции, — из страха ли за себя или из страха за другого, или по крайней мере беззастенчивому состоянию. Я просил бы проследить ее жизнь. Это жизнь без воли, лист, подхваченный бурей. Кто виноват, что ее занесло в Баль Станес? Мы проследим. Где первоначальная причина... Может быть, это — фонтан нефти, забивший в Баку, угольный пласт в Донецком бассейне, тысячи нефтяных фонтанов, миллиарды пудов угля и прочее и прочее — все к чему протягиваются могущественные силы, посылающие Деникина на Москву, Юденича на Петроград, и прочее и прочее, свосывающие каминные щипцы в руки Хаджета Лаше и прочее... Сумма этих данных очень велика, и высший их синтез, мировой интеграл, это — Версальский мир, подписавший новую войну, но уже не европейскую, — войну всего человечества!.. Час войны пробьет, когда сегодня опустошенные рынки снова наполнятся товарами, когда придется ставить пулемет на крышу вагона с мануфактурой, чтобы пропихнуть ее на

рынок, когда военная индустрия снова задохнется от продукции, когда Франция не будет знать, кому ей дать взаймы, а на берлинских улицах будут умирать от голода...

В публике — голос: «Ну, это еще не скоро». Смех, говор. Судьи переглянулись. Председательствующий строго попросил говорить по существу и на тему. Бистром взъер лоб и продолжал о Вере Юрьевне. Зал слушал внимательно. Но, когда десятая муза снова подхватила его, начался говор, смех... Звонок председателя...

Он не сказал и половины того, что хотел. В коридоре суда к нему подошел худощавый человек, одетый в черное. Глаза его останавливали внимание, — ясные, умные и как бы преодолевшие усталость. Под усами — улыбка, и в улыбке — что-то радостно знакомое. Слегка оглянувшись, сказал вполголоса:

— Вы сделали ошибку, Бистрем. Нельзя было выступать анархически, без связи с местной организацией. И выступать нужно не здесь конечно, а на окраинах. Это можно было организовать. Вы провалили хорошее дело... (Бистрем изумленно моргал, как древний викинг, севший на мель. Человек взял его выше локтя, тряхнул.) Все остальное — хорошо...

Он ясно улыбнулся серыми глазами и пошел по людному коридору чем-то, какой-то чертой, будто отделенный от всех. Глядя ему на прямую спину, с одним слегка упавшим плечем, Бистрем только тут спохватился, что это был Воровский...

Приговор: Хаджет Лаше — к десяти годам каторжной тюрьмы, остальные — от восьми лет до трех. Мари признана невиновной. Вере Юрьевне («виновна, заслуживает снисхождения») из-за ее болезненного состояния дали полтора года тюремного заключения.

Налымов остался в Стокгольме. Три раза в неделю посещал в тюрьме Веру Юрьевну, три раза в неделю ходил в кинематограф. Из гостиницы переехал в недорогой пансион и неожиданно для себя стал скуповат в денежных тратах.

Бистрем... Если житейские события из персонажей этого рассказа хотя бы отчасти пришли к какому-то завершению, жизнь Бистрема только-только начала разворачиваться по огромным синусоидам. Черные фонтаны Баку, куда надвигалась армия большевиков, вызвали взрыв черной энергии в Лондоне. Черные чернила золотых ручек начертали на чеках нужные цифры,

и новая волна кривой исторических событий подняла на гребне синусоиды всадника в конфедератке, — на клинке его запеклась кровь. Ну что же, если не каминные щипцы, то польская шашка повернет дым черных фонтанов на Запад в необъятные ноздри одному из проходящих персонажей...

12 декабря 1931 г.

*Конец*

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

С первых же глав «Черного золота» меня начали упрекать в несерьезности, в авантюризме, в халтурности и еще много кое в чем. Иногда казалось, что это делается для того, чтобы сорвать писание романа. Все же к удовольствию или неудовольствию читателей я его окончил. Мне нужно только прибавить, что все факты романа исторически точны и подлинны, вплоть до имен участников стокгольмских убийств (смотри книгу Воровского). Шведский профес-

сор Т. Т. Александров — теперь директор И МХАТ — сообщил мне подробности этого дела. (Александров был приговорен шайкой Хаджет Лаше к смерти и только случайно избежал ее, — во время обыска на даче в Баль Станесе он нашел приготовленный для него мешок). Остальные сцены романа взяты по возможности документально точно из архивных материалов, устных рассказов и моих наблюдений.

А. Т.



## Испанская песнь

(Песня рыбака из романтической драмы „Путешественник бедный“)

СЕМЕН ОЛЕНДЕР

Ты, мой друг, в театре не был.  
Слушай уличные шумы,  
И на площади прохладу!  
Без улыбки принимай.

Твой неловкий невод беден.  
В очаге тускнеет уголь,  
Но сраженья уголь красный  
Разгорается сильней.

Эти ночи сатанеют.  
Эти звезды лгут невеждам,  
Что гитара и подруга —  
Все, что нужно молодцу.

Нет, неправда, Нет, неправда!  
Знаешь ты иные звуки,  
И на улице широкой  
Отличишь своих друзей.

Вон из Сан-Себастиано  
Генерала Кавальканти!  
Ты глуши севильских франтов  
Андалузским кулаком!

Выходи без разговоров,  
Толстяков ошеломляя,  
Кастаньетами затворов,  
Кастаньетами курков.

Чтоб набилась в невод старый  
Геральдические шуки,  
Чтоб потомки древних грандов  
Накололись на крючки.

Затяни родную песню —  
Ту, что ты певал не часто.

Пой:  
Проклятьем заклеимный  
Мир голодных и рабов!



# Люди и факты

1. С. БОРИСОВ.— В горах Тянь-Шаня. 2. А. И. ЧИЧЕРИН.— Люди нашего севера  
3. М. ГРЮНЕР.— Очерки советского Приморья. 4. П. ПАРФЕНОВ.— Бывшая Лушиловка.

## 1. В ГОРАХ ТЯНЬ-ШАНЯ

О черк

С. Борисов

### 1. Путь на Кок-Ойрок

В старой киргизской песне поется: «В сорока славных котловинах есть ли котловина, где бы не лежали кости киргиза? В сорока березах, растущих на хребте, есть ли береза, которой не коснулся бы топор киргиза?»

С зенита перевала Дюро, в горах Кунгей Алатау, видна чуть ли не вся горная Киргизия и темносиний, беспредельный водоем Иссык-Куля, окруженный необозримой, непрерывной снеговой цепью Тянь-Шаня. И на вершине Дюро, среди хаотически нагроможденных скал, среди искрящихся под солнцем снегов возникает чувство, что ты с глазу на глаз с природой, которой не коснулись тысячелетия, что внизу, в долине, вдоль русла скачущей по камням реки, из ущелий выйдет орда под водительством Чингиз-хана или преисполненный великолепия караван Тимура... Они шли мимо тех же юрт, что прилепились к подошвам гор, мимо тех же могильных курганов с разваливающимися мавзолеями над гробницами родоначальников, по тем же выбитым миллионами копыт тропам в горах, мимо тех же белеющих скелетов лошадей и верблюдов. Но распростертый под нами мир исчез, как призрак. На нас двигался туман, и мы вскоре были окутаны облаком.

Проводник меня торопит.

— Поехали вниз, пока не начался буран...

Кони осторожно спускались с кручи, становилось темнее, но до вечера было далеко. Когда мы вздымались на перевал, июльское солнце жгло нам спины.

Проводник, кутаясь в плащ, предостерегал.

— Как бы не пришлось здесь переночевать, — буран приближается.

Ветер налетал внезапно и резко. Холодно. Рука, державшая повод, коченеет. Мы спрятались от холодного, резкого ветра за обломком скалы. Становилось светлее: облако поднялось выше, окутав вершину перевала, и пошел град, густой пеленой закрыв ближайшие горы. Спускаться было невысказано — в нескольких шагах впереди ничего не было видно.

— Пошли, — предложил проводник, — кони с тропы не собьются.

Начали осторожно спускаться, но когда мы обогнули скалу и начался на открытом месте крутой спуск, лошади стали идти медленнее и, дойдя до небольшого, ровного камня, вовсе остановились. Пошел снег. Сперва мягкие хлопья, упав, сразу таяли, но, когда поднялся северный ветер, снегопад превратился в буран... Снежная масса кружилась вихрем, все стало белым, уходящая вниз тропа исчезла... Снег шел так густо, что голова лошади то появлялась, то исчезала в белом мареве. Холод и сырость начинали пронизывать, но куда-либо спрятаться невозможно: куда пустишь лошадь, когда все покрыто сне-

гом и даже под брюхом лошади ничего не видно?

— Занесет нас, — кричал рядом проводник, который неясным силуэтом возник из снега, — надо спускаться...

Я слышал, как щелкала камча (плетка) по лошади, как понукал проводник и мягко зацокали подковы. Мой жеребец Дунган (контрабандист, выходец из Китая), осторожно перебирая ногами и похрапывая, стал спускаться в белую бездну. Пришлось всецело положиться на чутье киргизской лошади, которая даже в ночной тьме чувствует тропу и не сбивается с ее извилистого пути. Я только слышал, но не видел моего проводника. Изредка он покрикивал.

— Э, дьявол, не спотыкайся...

Начал спотыкаться и Дунган: тропа была занесена, и часто копыта соскальзывали с камней, покрытых мягким снегом. Бурая кружил. Иногда ветер рвал снежную пелену, и были видны нагроможденные скалы, покрытые снегом, трава, торчащая из расщелин камней, но тропы не видно, только следы коня проводника да дымившийся паром помет. Но падающий снег уже таял. Мы спустились к долине, где было тепло. Внезапно снег, пронзенный лучами солнца, заискрился, и, когда мы огибали последнюю скалу, снег превратился в дождь. Позади нас, с перевала, текли ручейки — снег таял... Дорога была усыяна камнями, снесенными с гор весенними потоками и снежными обвалами, но лошади шли увереннее, и скоро мы их пустили рысцой. За рекой лежал луг, покрытый травой и цветами, сверкавшими в последних лучах солнца, которые падали из-за горы. В воздухе тепло, но платье намочило, и пробирала легкая дрожь. Перейдя неглубокую и спокойную реку в брод, мы пустили коней по лугу карьером, и это нас немного согрело. Время — шестой час, но проводник поглядывал на небо и беспокоился.

— Засветло добраться бы до переправы.

Хотелось курить, но табак и спички намочили, а по пути юрт близко не было. Кочевники спустились по ту сторону гор. Дорога была славная: луга, холмы, покрытые сочной травой, и по волнам этого застывшего зеленого моря бодро бежали кони. Навстречу приближался гро-

хот, который все усиливался. Солнце садилось, закат багровой полбсой лежал за хребтом Кунгей Алатау, а облака над нами меняли свои цвета опала на яркие фиолетовые. Мы перекрывали последние километры и шли по последней гряде холмов, кончавшихся слева отвесным обрывом с растущим по низу лесом, а справа, с круто вздымавшейся горы, бежала вниз узкая серебряная полоска.

За крутым спуском, поросшим кустарником и деревьями, показалась грохочущая по камням река Джонды Су (бешеная вода). Мы подошли к берегу. Вода коричневого цвета с яростью разбивалась о камни, край берега был устлан желтой пеной, у торчащих из воды камней крутились воронки, и над порогами сверкал каскад брызг.

Проводник постоял в раздумьи, проехался вниз и вверх по течению и решительно заявил.

— Переходить нельзя, день был жаркий и воды натаяло много. Придется заночевать.

Мы отехали в кусты, достали из переметных сум пахнувший конским потом хлеб, намочили его в воде и, нарвав дико растущий лук, пообедали. Коня тасили, но еще не были расседланы.

— Тут недавно о такую же пору киргиза-пастуха при переправе понесло и разбило вместе с лошадьо, — рассказывал проводник и бережно, по-крестьянски подбирал мокрые крошки хлеба и отправлял в рот.

С холма на маленькой лошадке спускалась киргизка в красной бархатной жакетке и большом белом тюрбане. Из-за пазухи у ней выглядывала голова киргизенка. Проводник что-то ей по-киргизски прокричал, но за грохотом воды она не расслышала, только улыбнулась и, подойдя к реке, ударила камчей лошадь и вошла в воду. Скоро лошадь погрузилась по брюхо, хвост понесло по воде, ноги киргизки, обутые в высокие ичиги, ушли по колено в воду, но лошадь по диагонали переходила реку... Лошадь была на том берегу, всадница ударила кнутом и поскакала.

— Э, чортова баба, — смущенно сказал проводник и стал подтягивать у лошадей ослабленные было чресседельные ремни. Мы вошли в воду, лошади осторожно ступали, выскивая твердую опо-

ру для копыт, река неслась яростно, поток напирал на лошадь, было мгновение, когда у лошади проводника стало заносить зад, но сильные удары камчей выровняли лошадь. Вода дошла до седла, сапоги были полны ледяной водой, но лошади уже шли увереннее, лавируя меж камнями, вокруг которых бурлила вода. Мы перешли Дженды Су, и, когда доехали до первой юрты, стало темно. Из юрты вышли киргизы.

— Аман (здравствуй)!

— Аман!

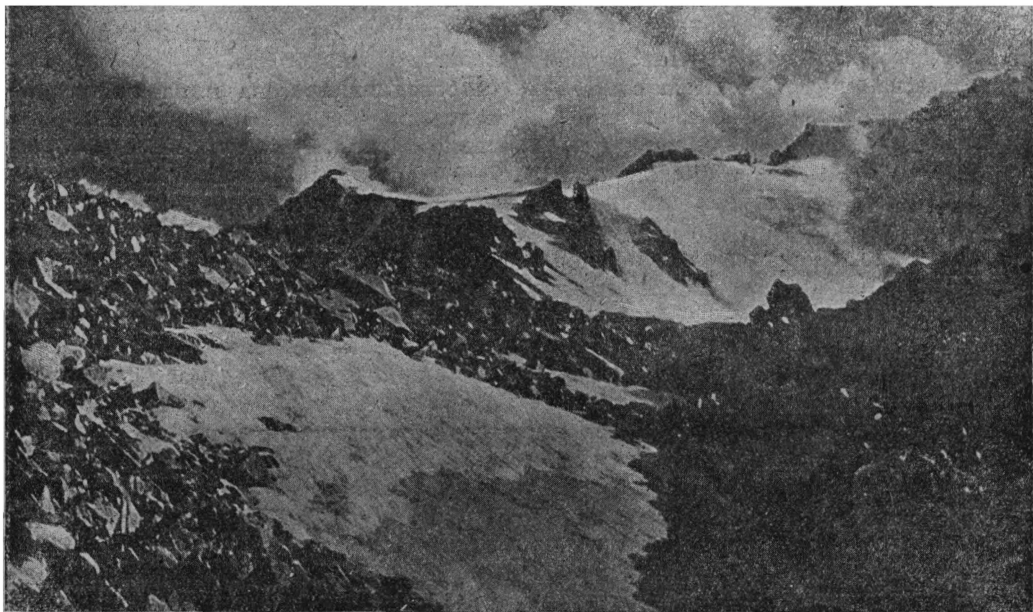
Затем, спросив, откуда я еду и как здоровье моей семьи, с присущей всем горным киргизам вежливостью, взяли

шубу и укрытый одеялами: повидимому больной. Он посмотрел тусклыми глазами на нас, сделал усилие улыбнуться, пошарил рукой по земле и, найдя зубную щетку, разгладил усы и бороду, затем стал щеткой чистить зубы. Видя мое любопытство, проводник мне пояснил:

— Насчет зубов они очень аккуратны. Только откуда у него щетка? Обычно они надергают у лошади из хвоста волос, сделают жгутик и жуют. И правда зубы после этой жвачки становятся белые.

Больной, опираясь на руки, с трудом приподнялся с постели.

— Правда, — спросил он, — в Мо-



На линии вечных снегов

коней под уздцы, помогли сойти с седла и привязали коней к юрте отстояться, раньше чем пустить их пастись. Вошли в юрту. По неизменному праву гостей мы заняли почетные места на кошмах против входа у пылающего очага. Сбросив верхнюю мокрую одежду и сапоги и укрывшись шубами, мы предались сладостному отдыху и теплу. Юрта была небогатая: кошмы, покрывавшие стены, были потерты, на простых сундуках лежали пестрые ситцевые одеяла и подушки. В углу стоял кожаный мешок, в котором бродил кумыс, тут же горшки и кувшины из кожи. У входа, головой к огню, лежал киргиз, одетый в волчью

шубе есть лошади, которые по знаку человека ложатся, встают, считают и отличают красное от белого?

Я не понял вопроса, и переводчик мне объяснил, что сидящий рядом молодой киргиз сопровождал гурт скота в Мо-скву и рассказывал о виденных чудесах, в том числе о дрессированных лошадях в цирке. В большинстве случаев этому киргизу не верили, считали его лгуном, но когда он мне стал несвязно рассказывать о виденных впечатлениях, то я понял, что их излишек был подобен не в меру принятой пище, киргиз не мог всего переварить. Больной и молодой с волнением ждали мой ответ. Я им рас-

сказал о существовании дрессированных лошадей.

Больной облегченно откинулся на подушки.

— О, как велика премудрость аллаха!

Молодой возбужденно вскочил.

— Нет аллаха...

У больного от волнения начался припадок удушливого кашля. Вся юрта стала упрекать молодого.

— Джаман... Джаман (нехорошо)...

Нам байбиче (хозяйка) дала по пиале чая, более похожего на бульон, — с бараньим жиром и солью.

Пламя очага ярко горело. Жена хозяина с медно-красным лицом недвижно сидит у огня. Ее муж лежит больной. Быть может, он умрет, тогда она по наследству вместе с юртой и баранами перейдет к брату умершего. В глухих районах, в горах, киргиз не лечится, а со стоическим спокойствием ждет, пока болезнь пройдет или кончится смертью. Иногда приглашают знахаря, и он, по-

слушав пульс больного, назначает лечение.

— Мало стучит — режь барана и ешь... Много стучит — пей воду...

В прошлом если киргиз и хотел лечиться, то разве он мог? На всю Киргизию было 6 больниц с 36 больничными койками. Советская власть за эти годы открыла 100 больниц с 1.542 койками.

Небо над дымоходом юрты потемнело, заискрились звезды, в долине утих ветер, слышно, как блеют овцы, спускаясь с гор, мягко шуршит по камням Большая Кебин, и неугомонный рокот Дженды Су подчеркивает величие наступившей ночи. Пастух садится на корточки, берет с подушек домру, струны начинают петь... Печальны, как одиночество в горах, киргизские мелодии: в них неумершая грусть прошлого, когда киргиз-кочевник мог песне только доверить свои жалобы. Запел и пастух о страшной власти манапа.

Власть манапа рухнула только в последние годы, с решительным проведе-



В горном ауле у озера Иссык-Куль



Делегатское собрание женщин-киргизок

нием национальной политики партии, с развертыванием работы по изменению культурно-бытового уклада и с укреплением новых социалистических форм хозяйства, но говорить об окончательной ликвидации манапства еще не приходится: сброшенные с вершины социальной пирамиды, манапы, используя родовые влияния, пытаются еще сохранить свою власть над букарой (черной костью).

## 2. Совхоз

Еще солнце не взошло, только ледники на востоке порозовели, но мы уже оседлали коней. Отары сплошной волнистой массой подымались в горы. Трава серебрилась от ночного инея. Мы в долине Кок-Ойрока, лучшее джайлау (летнее пастбище) района — альпийские луга покрывают отлогие склоны гор душистым цветочным ковром. Чистый, сильно разреженный воздух, нежаркое горное солнце, — мы на высоте 3.000 метров над уровнем моря, — сочная трава, близость воды — все это вместе взятое особенно привлекает киргиза-кочев-

ника на такое пастбище после долгой зимы в дымной юрте. Пастбище открыто на 3—4 месяца в год от снегового покрова. Мы проехали мимо табуна маток Чалпанатинского конесовхоза к отарам овец исык-кульского совхоза Овцевода.

Киргизы говорят:

— Каждый киргиз может пасти стадо.

Но не каждый может быть хорошим пастухом. Лучшим пастухом киргизы считают такого, который «все время гоняет стадо, а не просто ходит за стадом». Социалистическое хозяйство требует от чебана большего, чем гонять стадо. Чебан — ответственный мастер на фабрике социалистического животноводства. Таких мастеров не могли оставить байско-манапские хозяйства. Силами совхозного технического персонала и партийцев были организованы двухмесячные курсы для чебанов, где им преподавали общие положения о зоотехнике, политграмоту и задачи социалистического животноводства. Сейчас эти курсанты являются основным чебанским кадром.

Совхозные чебаны — вчерашние батраки баев и манапов. Вчерашний раб становится активным участником социалистического строительства. Зависимость батрака от манапа доходила до того, что даже женитьба и развод не могли произойти без разрешения манапа. За послушание манап мог отобрать жену, и право манапа, опиравшееся на неписанный степной закон «кизил-челик», хранителем которого являются «акса-калы» (белые бороды), казалось непоколебимым. Чебан у бая влачил полуголодное существование, находясь в дождь и снег при стаде (совхозные отары зимуют в кошарах). На ничтожный заработок «саан» — молоко в течение 3—4 месяцев, от 10 баранов шерсть, старые кошмы, остатки обедов, т.-е. буквально обглоданные семьей бая кости и 6 молодых баранов в год, — при переводе на современную рыночную цену это составит не более 150 руб. в год — чебан должен был содержать семью, без надежды выбиться из тисков нужды...

В полдень мы достигли крайней отары у реки Кой-Су (овечья вода). В юрте чебана после пиалы кумыса я спросил у хозяев:

— Кто из вас ударники?

Чебан, сверкая зубами, улыбается и отвечает:

— Мы ударник.

Вошедшая с подойником киргизка, улыбаясь во весь рот, тычет себя пальцем в грудь и говорит:

— Менеке (я)...

Потом она с гордостью говорит, что ее сын — комсомолец.

Чебан показывает мне бумажку — договор на социалистическое соревнование с оттисками пальцев — подписями неграмотных доярок-киргизок. Отары Кок-Ойрока соревнуются между собою. Впереди по выполнению договора идут отары чебанов Османа Джанузакова, Асан Гаджи Байкачукова и Самара Уркумбаева, — в их отарах наименьший падеж, овцы хорошо упитаны и лучше подрунились. Некоторые из чебанов премированы. Так, один из них рассказал мне, как на общем собрании в совхозном клубе, под музыку, получил одну пару галош «за самоотверженную работу, не считаясь с отпусками, за подвозку фуража во время сильного бурана»...

Чебан при совхозной отаре имеет 3 помощника-пастуха, третьяка и арбыча. Труд нормирован, помимо ставки по колдоговору, выдается обувь, теплая



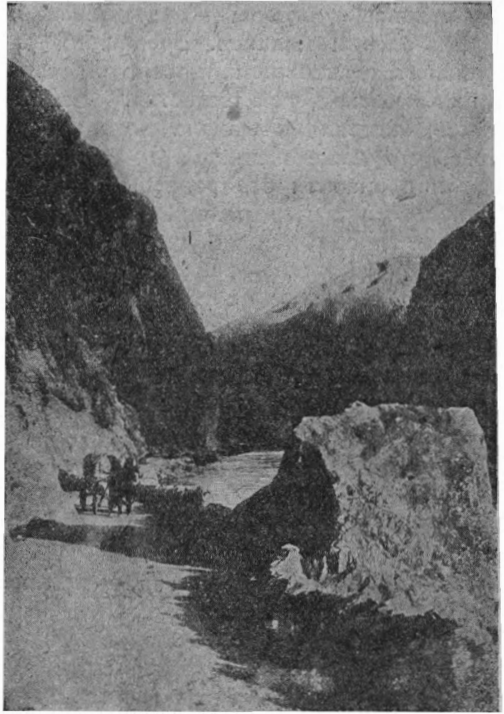
Батрачки

одежда, продукты, ежегодно отпуск, и с переводом чебана на сдельщину их заработок значительно увеличился и улучшилось состояние стада. Чья овца лучше? У манапа или в совхозном стаде? Несмотря на то, что на голову совхозной овцы падает содержание большого штата на каждую отару, — овцеводы, ветперсонал, контролеры, контора, подсобные предприятия, — себестоимость овцы в ценах текущего года составила за 1930 год 8 руб. 55 коп. Этот год дал дальнейшее снижение, что является результатом правильной организации труда и развития социалистического соревнования и ударничества.

Киргизка, которой по алату не разрешалось сидеть рядом с мужчинами, разговаривать с ними (когда я был в малодоступных местах на пути к озеру Сон-Куль, то видел еще женщин, которые ютились в углу юрты и не смели не только есть вместе с мужчинами, но были рады, когда им передавали не совсем обглоданные кости барана), вступает в ряды ударных бригад, вызывает брызговаренный завод на социалистическое соревнование и выдвигает от имени джарок Кок-Ойрока встречный план по дойке овец. Киргизки, которые всего несколько лет назад были предметом купли и продажи, становятся председателями аульных советов... Ужасы крепостного права для русского крестьянина как-то поблекли в исторической ретроспективе, но в киргизских горах каждый юноша помнит бая и его владычество. О, средневековье, царившем несколько лет назад в Киргизии, рассказывают факты, взятые из материалов джайлаунного суда.

1. В 1925 году два манапа увезли жену одного киргиза и «продали» ее другому киргизу за одного верблюда, одну лошадь, две кобылы и 350 р. денег (дело № 28).

2. Манап Туркмен объявил в 1925 г. своей букаре в с. Сусамырском, что его сын в припадке ревности откусил нос своей жене, и за это родственники жены должны были уплатить 500 руб. Этот же манап убил жену пастуха и для уничтожения составленного местной властью протокола потребовал от букары 120 баранов на подкуп властей. Эти ба-



Буамское ущелье

раны были насильно собраны с населения (дело № 27).

...Догорал огонь. Смолистые ветки джирганы превратились в золотистые змейки. Старуха-киргизка закрывала угли пеплом, чтобы на рассвете снова развести огонь. Время сна. Все мужчины по обычаю вышли из юрты, оставив одних женщин приготавливать постель. За стенами юрты стояла ночь, благоухающая пряной богородичной травой. Снег на горах казался тусклой серебристой пеленой, окаймлявшей горизонт. Мы улеглись на одеялах и ими же укрывались. Одеяла теплые, на верблюжьей шерсти. В юрте темно, тихо, только изредка хозяйка проснется и начнет взбалтывать мешок с кумысом — чтобы к утру был крепче... И внезапно шорох, как от сильного порыва ветра в лесу, заставил пастухов вскочить и огласить ночь дикими воплями.

— Ау-у-у-у-у...

— Го-го-го-го...

Вбежал чебан и крикнул мне:

— Стреляй!

Я выскочил из юрты и разрядил ружье. Крик, свист, вой раздались из



других юрт, и вся долина завывала, загоготала. Овцы подошли к самой юрте, а собаки жались к людям...

— Что это?

— Волк.

Вдали в темноте сверкнули две огненных точки и скрылись. Отара снова отошла от юрты, заблели ягнята. Дремота, обволакивавшая нас как паутина, была разорвана ночной тревогой.

Еще солнце не взошло, только ледники на востоке порозовели, но мы уже оседали коней. Отары сплошной волнистой массой подымались в горы. Трава серебрилась от ночного инея. С нами ехала молодежь — киргизские парни, вступившие добровольцами в Красную армию.

Пятнадцать лет назад царское правительство объявило набор киргизов в армию. Этот набор переполнил чашу терпения угнетенных и обездоленных трудящихся, и они ответили восстанием. Восстание 1916 года потерпело поражение. Оно было подавлено царской властью с такой же жестокостью, с ка-

кой ею была подавлена революция 1905 года. Карательные отряды наводнили Киргизию, и палачи расстреливали вплоть до грудных детей. Около 150.000 человек пало жертвой царской расправы. Тысячи бежали и гибли по дороге в Китай. У оставшегося населения по приказу генерал-губернатора Куропаткина отбирались «все земли, политые русской кровью»...

А сейчас киргизские части Красной армии укомплектовывались исключительно из добровольцев батрацко-бедняцкой и середняцкой молодежи. По настоянию трудящихся съезд советов Киргизской республики принял решение о введении закона об обязательной военной службе.

Ехавшая с нами молодежь прошла военную подготовку в совхозной ячейке Осоавиахима.

Было светло, когда мы подъезжали к юрте, что на берегу Дженды Су, где я провел первую ночь на Кок-Ойроке. У закрытого дынковой входа в юрту с одной стороны в ряд сидели киргизки в белых чалмах и с другой — киргизы в тубетейках. Их фигуры выражали скорбь. Только у самого входа сидел сияющий маленький киргизенок и мусолил зубную щетку... Большой умер, и родня справляла поминки — «аг».

Мы переправились через Дженды Су. Сантар скомандовал добровольцам:

— Пой, Киргизия, наша берет!..

И величавое, словно хранимое столетиями молчание снеговых гор было раздроблено задорными звуками.

Смело мы в бой пойдем  
За власть советов...

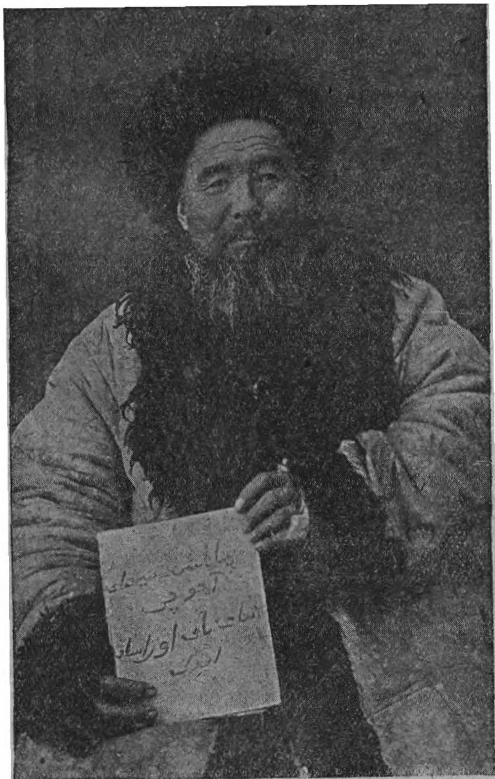
Ветер уносил далеко песнь — к границам Китая и Индии.

Мы провели день в дюрокской долине, и когда мы спустились с последних гор Кунгей Алатау, солнце было еще низко, но жгло камни, желтую степь с редкими кустами джирганы, покрытые пылью домишки и чахлые деревья у арыков. В долине было сурово и неприятно.

Мой проводник Ахмат указал на домишки:

— Совхоз.

Ахмат равняет свью лошадь с моей и, наклоняясь, говорит:



Бродячий поэт

— Куда пришла совхозная овца, — киргиз должен снять кибитку и перекочевать.

— Кто это говорит?

— Баи...

В'езжаем в поселок и у крайней юрты поим из арыка коней. Две русские женщины возятся у костра, — молодая и постарше. Молодая жалуется.

— Проклятое место, все бегут отсюда, помощи нет, фершал был и сбежал...

— Помер маленький-то?

— Нет еще, ходила смотреть — теплый...

— Какое здесь место — никакого украшения: камни, степа, ветер. С зимы только раз кина приезжала.

Совхозная жизнь началась. Гудят тракторы, грузовики, тянутся подводы, караван верблюдов отправляется в горы, скачут верховые, на лесах строек идет кладка кирпича. Недавно здесь бегали зайцы, а в кустах еще сейчас водятся фазаны. Из слияния совхозов Тон и Тамчи 1 мая этого года организовался Иссык-Кульский совхоз. В совхозе — четыре хутора: Тон. Тамчи, Саракамыш и Ичкитор, которые разбросаны по обеим сторонам озера, расстояние от хутора до хутора — от 40 до 180 километров. Промфинпланом установлено поголовье в 50 тыс. голов, но коллектив работников совхоза выдвинул встречный — 60 тыс. голов, и к 1 августа поголовье достигло уже 54 тысяч.

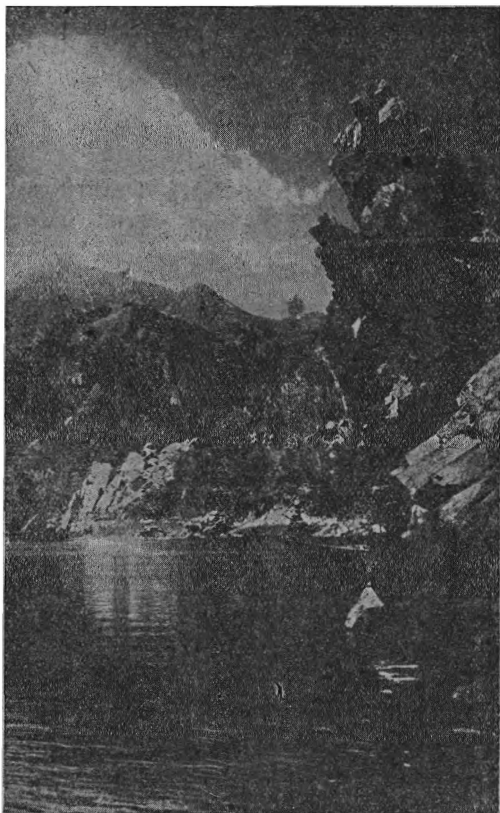
Директор совхоза Алексей Алексеевич Денисов знакомит меня с хозяйством и с первых же слов жалуется.

— Нет людей... А тем, что имеются, нехватает времени для работы. Сейчас только подвели вступительный баланс. Все хутора перевели на хозрасчет, а с балансом запоздали...

Совхоз находится в стадии реорганизации и бурного количественного роста. К первому октября совхоз будет иметь свыше 6 тыс. га пахотоспособных земель, около 9 тыс. га сенокосов и 140 тыс. га выпасов.

Я спрашиваю директора: за чей счет вы расширяетесь? — и передаю слова проводника о совхозных овцах...

— Это байские сплетни. Центральный хутор расположен на угодьях бывшего манапа Галия Узбекова, но главные массивы — это все неиспользованные пло-



Берег озера Иссык-Куль

щади. Смешно говорить, что мы ведем захватническую политику. Там, где единоличник пас сотню баранов, мы ставим тысячи баранов...

Совхозы — это головной отряд социалистической реконструкции сельского хозяйства Киргизской республики. Организация труда в Иссык-Кульском совхозе значительно выше, чем в единоличном хозяйстве, и является образцом для животноводческих колхозов, которым совхоз оказывает организационную и материальную помощь. Сейчас Иссык-Кульский совхоз среди окружающих колхозов ведет разъяснительную кампанию, за метизацию овец и в текущую осень ставит в колхозы Берлик и Джана Аиль 200 баранов-производителей. Совхозы — немаловажный фактор, содействующий переходу от кочевья к оседлости, и вся сумма влияний на окружающее население не может конечно происходить без обострения классово-борьбы вокруг совхоза. Манапы и баи, исполь-

зую родовые влияния, агитируют против совхоза, пуская в ход не только клевету, но и терроризируя киргизских рабочих: угоняют последних лошадей и овец у чебанов, подстреливают из-за камня партийцев.

Условия жизни в совхозе чрезвычайно трудные. Но текучести рабочей силы нет. Дезертировали ничтожные единицы, которые не пожелали мириться с тяжелыми жилищными условиями, плохим снабжением и суровостью резко континентального климата: днем жара, а ночью нужно одевать полушубок. Работники живут в юртах, даже байский склеп приспособлен под жилье, но работники не унывают:

— Мы строимся.

Строительство идет на всех участках. Возводятся ветамбулатории, изоляторы, чебанские дома, жилые квартиры, столовые, школы, клуб, баня, детские ясли, хозяйственные постройки, и по генеральному плану степь должна быть оживлена арыками, разбит парк, сады, огороды. Первые десятки га огородов уже дают овощи. Строительный материал есть, подвезли лес, — выюком на верблюдах за 90 километров. Директор совхоза, обойдя со мной строительный участок, с уверенностью заявил:

— У нас есть все возможности к концу этого года довести стадо до 75 тыс. голов и вполне реальная возможность, без опасения за бескормицу, довести в следующем году стадо до 150 тыс. голов.

Мы перешли в контору. Директор указал мне на четыре папки, набитые бумагами.

— Одолеает бумажный поток. Я или должен руководить совхозом, или же бросить производство и читать эти бумажки. Это все запросы разных учреждений по одному и тому же предмету или анкеты с десятками глупейших вопросов. Вот управление водным хозяйством Кир. АССР требует сведения об оврагах, скалах, ледниках — их площадь и название. Если этим заняться, то надо года на три остановить всю работу в совхозе... Вот госземтрест угрожает прекратить работу, если мы не внесем аванса, и пишет, что отзовет рабочих. Вся штука в том, что к работе трест еще не приступил и рабочих не присылал, а

только заключил с нами договор и не знает даже, что делается для выполнения договора... Кстати и деньги уже нами давно переведены...

Совхоз растет... В этом году совхоз ставит на случку 50 тыс. маток и получит 45 тыс. приплода, а в будущем году будет поставлено 90 тыс. маток и в такой прогрессии стадо будет расти каждый год... Поток мяса и шерсти все будет увеличиваться...

В с. Рыбачьем я встретил бригаду Средазбюро ЦК ВКП(б), которая окончила обследование совхоза. Я спросил у руководителя бригады т. Давыдова, в каких выводах пришла бригада.

— Совхоз имеет несомненно большие достижения и перспективы роста. Заслуга тов. Денисова в том, что он сумел создать крепкий рабочий коллектив. Но совхоз имел бы большие достижения, если бы партийная и профессиональная работа не хромала...

### 3. Буамский ветер

Вырываясь из Буамского ущелья, ветер, встретив на пути первую преграду, — село Рыбачье на берегу Иссык-Куля, — бросается на это село с особенной яростью.

В с. Рыбачьем находится пристань, здесь скрещиваются шоссе и дороги на Фрунзе (Пишпек), на Каракол, на Нарын, на Кочкорку. Пять лет назад в селе было несколько рыбацких хижин, сейчас это — маленький городок, в котором расположились базы Овцевода, Союзшерсти, Азияхлеба, Союзтранса и другие. По единственной широкой улице села беспрерывно носятся окутанные облаком пыли автомобили, медленно проходят караваны верблюдов и тянутся подводы в течение дня и ночи. Саманные домики с маленькими оконцами еще господствуют на селе, но уже начинают расти двухэтажные европейские дома, а пока что жилищный кризис ужасный. Живут на дворах, под навесами, прибывающие служащие неделями ночуют под открытым небом, а большинство учреждений давно превращено днем в канцелярии, а ночью в ночлежки. Село похоже на лагерь, в котором задержался на этапе обоз большой армии.

В безветренный час, под вечер, у дверей чай-хане я сижу с моими случайными спутниками. Один из них, приемщик скота, жалуется:

— Какая наша жизнь: лошадь, винтовка, седло...

Другой, степенного вида, пожилой, жует белый калач.

— А я двадцать лет лакеем в вокзальном буфете служил. Я природный холуй. Сейчас по закупкам на столовую работаем. Заведующий у нас хороший, правильный человек — поровну с ним делимся. Раньше лучше было: дадут тебе задание и цены, покупаешь государственную скотину, а сколько закушил, у тебя не спрашивали: начальство у нас нелюбопытное было. Теперь трудно. — заканчивает он со вздохом.

Сидящий тут милиционер хлопает его по плечу:

— А и жулик ты, пробы ставить некуда.

Подсаживается киномеханик и рассказывает о покраже динамо.

— Хвать — нет машинки... Это тот, который вертелся. Нанял автобус и в догоню.

— Догнал?

— Догнал.

— А кто же за автобус заплатил?

— Он, вор.

Внезапно вздымается ветер. Облако пыли несется по земле. гремит железо на крышах, срывает с телег сено... На улице что-то жуткое... Ветер словно упирается руками в грудь, не дает идти, засыпает песком, сухим пометом. В рике встречаю партработника из Ташкента т. Давыдова и инструктора рика т. Джинбаева, с которыми едем на южный берег озера. Механик моторной лодки Володя и рулевой Стась уверяют нас, что выехать на рассвете безопаснее, — удастся проскочить до «улана» — штормовой ветер, который обычно начинается около полудня, когда солнце согреет землю.

— С нашим мотором, — говорит механик, — вообще нельзя ехать. Если шторм — гиблое дело... Мотор пора давно на свалку, он выпуска 1906 года и не судовой, а автомобильный.

— Зачем же вы рискуете собой и пассажирами?

— Э! Возить на чем-нибудь надо.

В холодный рассвет мы пришли к озеру. Зеленая гладь воды была спокойна. С нами еще ехала жена механика Оля с ребенком. Лодка «Успех» не внушала доверия, а тем более мотор: склепанные части, связанные проволокой трубки и в некоторых местах даже просто забинтованные тряпкой. Началась длительная канитель с пуском мотора, который не хотел заводиться. Рулевой Стась, бывший черноморский матрос, посматривал на край неба над ущемлем и рассуждал философски:

— Ежели успеем, — богато доедем, а поймает «улан» (местное название буамского ветра), то туго придется. От судьбы не спрячешься...

Выехали в 8 часов утра. И через час уже началась легкая килевая качка...

Ветер был попутный, гнал волну, и лодка шла быстро. Скоро ветер переменялся и началась боковая качка. Ветер крепчал, вздымал волны. Озеро шириною в 60 и длиною в 160 километров было взбудоражено, тяжелые волны медленно напоздали, стараясь друг друга догнать, а вода бурлила, кипела, хлопья белой пены носились по воде, словно мы были в гигантском котле, который вот-вот закипит. Горизонт заложено тучами, медленно плывшими вдоль снеговой линии, а вода вдали была покрыта белыми барашками.

— Это и есть «улан»? — спрашиваю я.

— Нет, это из Тур-Агирской щели. Тут каждая щель имеет свой ветер. «Улан» посерьезнее...

Стась не успел закончить фразу. Внезапная волна чуть не опрокинула лодку.

— Ветер меняется, — закричал рулевой, — «улан» идет... Надо уходить в открытое море, а то сядем на мель или выбросит на берег.

С трудом удалось вывести лодку из бокового положения по отношению к волнам в килевое. Качка началась ужасная. Вода на дне лодки, смешанная с нефтью, и брызги волн заливали нас и сверху, и снизу. Мы все дальше уходили от берега. Рулевой, заливаемый волнами, изредка кричал механику:

— Подбавь масла!

Из отводной трубки стала пузыриться горячая вода.

— Помпа, Володя, вода не идет.

Щель в трубе замазывалась мылом и забинтовывалась тряпкой, которую Оля отрезала от своей юбки.

Мы начинали привыкать к качке.

— Оля, сверни покурить, — попросил ее муж, механик, лязгая зубами от холода.

Оля попыталась свернуть папироску, но махорка вылетела из рук, и она чуть не очутилась за бортом: успела только прижать к себе ребенка, который впервые закричал от страха.

Механик стоял по шиколотку в воде, защищая мотор от брызг мешком. У ног рулевого на корме сидела Оля с поспевшим лицом, и прижимала к груди ребенка, но брызги залили ее окончательно: она сидела мокрая, сжавшись словно перед прыжком, и ее глаза тщетно искали над водой полоску мыса, за которой была спокойная бухта. И внезапно, как зверь из засады, набросилась волна, залила всех, и, отпрянув, оставила лодку, наполненную водой. Вода доходила уже до скамеек... Приближалась вторая волна с яростным ревом, высокая, в два человеческих роста и с косматым гребнем.

— Спокойно! — закричал рулевой.

Волна ударила в корму, высоко взметнула лодку и сбросила вниз. Мы начали ведрами откачивать воду, но волны делали нашу работу бесполезной. Лодка, словно одержимая паучей, прыгала по волнам. Становилось холодно, мы по пояс сидели в воде... Рев волн то приближался, достигал своей силы и спадал, и тогда были секунды затишья, во время которых был слышен плеск воды о борту. Лучи солнца прорвались сквозь тучи, несли тепло и надежду. Берег вдали тянулся каменистой грядой, и узенькой полоской лежал на воде мыс, защищавший вход в Тонскую бухту. Механик что-то вдали заметил и схватился за бинокль. По волнам прыгало огромное бревно, то ныряя глубоко в воду, то вздымая зловеще свой ствол над водой. Бревно приближалось к лодке.

Полузатопленная лодка двигалась медленно, и уйти от бревна было трудно: у нас были неравные скорости, а взять другой курс мы не смели: боковая волна зальет окончательно. Так мы шли рядом, то сближаясь, то удаляясь.

Волны нами играли.

— Мыс близко! — закричала Оля.

Мы были близки к спасению от коварных волн и бессмысленного бревна, которое грозило обрушиться на нас. Но на бурной воде в полузатопленной лодке близость берега не равна близости спасения. Мы приближались к бухте, видели ее спокойные воды, но неутрачивая ярость волн не выпускала нас из своего плена. Резкий поворот поставит нас в незащищенное положение, волна захлестнет, и мы пойдем ко дну у входа в бухту. Это каждый из нас понимал, даже не моряк. Вход был узок, и требовался крутой поворот. Отходя все дальше от бухты к открытому морю, — киргизы правы, когда они называют Иссык-Куль «Киргизским морем», — наши надежды снова были отравлены горечью неизвестности.

Бревно приближалось и удалялось, но расстояние между нами и бревном все уменьшалось. Мы советовались:

— Принять на багор?

Рулевой решительно возразил:

— Попробуй, оно тебя сразу опрокинет вместе с лодкой...

Еще одно-два приближенья, и удар в борт прекратит нашу тяжбу с волнами. Так мы прошли первую бухту и были ей благодарны за то, что она завлекла в свою тихую заводь это проклятое бревно. Мы снова шли морем вдоль берега, мимо сияющих под солнцем снежных гор — величественных и прекрасных... Ветер — как же внезапно, как поднялся, стих, но волны, потеряв ярость, все же сохранили силу, которую они медленно расточали у каменистых берегов. Как вестник спасения мимо нас проплыла стая белых лебедей.

К вечеру мы вошли в бухту Ак-Терек.

В палатке рыбака, у пламени костра, над которым в ведре варилась уха из османок, мы обрели тепло и отдых...

#### 4. Потомки Чингиз-хана

Санташ — ночной бриз — утихает, холм ледников Хан-Тенгри падает росой, воды Иссык-Куля светлеют. Красное знамя восхода пламенеет над миром. Над горами Терской Алатау парят орлы, выискивая в зарослях фазана или перепелку. Мы покидаем палатку рыбаков и едем берегом реки Тон. Путь идет

вверх, по краям тропы кусты арчи и цветочное раздолье: анемоны, тюльпаны, ирисы, астрагалы. За первой грядой небольших гор, на высоте 4.000 футов, раскинулась благодатная цветущая долина—десятки гектаров засеяны маком, который цветет... Мы—на земле колхоза имени Сталина. В долине развалины четырех крепостей—остатки стойбища орд Чингиз-хана. В четырехугольнике крепостных руин—аул Торт Коль (Четыре крепости). Поля и пастбища колхоза—на земле жившего здесь могущественного манана Кенейского рода. Глава рода в дни гражданской войны убит и похоронен в пышном мавзолее, окруженный каменным валом, который возвели представители 18 зависимых родов. Только в прошлом году прекратилось дежурство муллы над гробницей. В Киргизии нет геральдических записей, но генеалогию хранят старики и передают из поколения в поколение. Некоторые ведут свою родословную вплоть до Чингиз-хана и Магомета... От Кенейского рода идут пять ветвей—Кеней, Атагол, Салтана, Бергоджа и Джанбек.

Колхоз возник из бедняцкого коллектива в 30 хозяйств в 1929 году. Организатор—нынешний секретарь партячейки Конуров. Когда-то Конуров был продан в эти места вместе со стадом баранов в уплату калыма за красивую киргизку...

Времена калыма—купли и продажи невест—прошли, но кое-где еще сохранилось умыкание невест, при чем похищение девушек превращается больше в обряд, чем кражу по существу. Почин этой кражи принадлежит похищаемой.. Киргизская девушка, избрав себе друга сердца, является к своему избраннику и заявляет:

— Я люблю тебя и хочу быть твоей женой... Если ты согласен, то укради меня у моих родителей...

При взаимном согласии назначается день «кражи», и невеста отправляется к себе в юрту, укладывает в сундук свои пожитки и ждет ночь, когда милый придет на коне и украдет ее...

Утром обнаруживается покража, мать похищенной примерно поплачет, отец подозрительно посмотрит на эти слезы, а потом вместе отправятся через

день или два к похитителю в качестве почетных родственников есть барана...

Но ростки нового быта неукоснительно тянутся вверх, и пережиткам прошлого не заглушить этих ростков. Колхозы являются той почвой, на которой хорошо прививается новый быт—это мы видим и в колхозе имени Сталина.

Поля, как цветочные ковры, вправлены в изумрудные рамки ячменя, овса. Идет полка технических культур. Все население колхоза, кроме перекочевавших на джайлау, занято полкой. Засеяно 180 га, и на каждое га нужно 25 человек, а способных к труду и третьей части нет. С большим трудом удалось привлечь женщин. На женском собрании старуха киргизка Малаева потеряла голос, уговаривая «байбиче» (хозяйка) отдать свое потомство в детский сад. Легкое дело, отдать детей, когда из соседнего аула приходила старуха и клялась именем пророка, что:

— Большевики два-три года подержат в саду, откормят хорошо, а потом отправят в Москву на фабрики...

Малаева вскочила на коня и не хуже джигита посакала к юртам бедняков и партийцев.

— Вы что, тоже сказки старых баб слушаете?..

Детский сад—пустая сакля—наполнился первой клиентурой. Малаева надела на кооператоров, обругала их бездельниками и вернулась в детский сад с добычей: посуда, крупа, мануфактура. Местные швейки нашли всем халаты, а Малаева стряпала, мыла ребят, утирала им подолом носы, а байбиче, освободившись от забот, вышли на работу в поле и получили книжки, в которые им записывают трудодни. Это повляло на остальных женщин, и все подрастающее поколение попало под опеку Малаевой. Я видел эту старуху с неизменной молодой улыбкой на лице и веером морщин у глаз: теперь у ней есть помощница и она весь день трусит на своей лошаденке и не пропускает ни одного собрания—даже пионерского...

Новый быт завоевывал и следующую позицию: общественное питание. Надо знать бытовые условия кочевника, который до сего времени еще не привык обращаться с ложкой и вилкой. Не только мясо едят руками из общего

котла, но и жидкую лапшу с кусочками мяса едят пятерней. И это блюдо так и называется «биш бармак» (пять пальцев). Все знают, что в Киргизии очень распространен сифилис. И вот однажды, сидя в юрте кочевника за ужином, когда все, присев на скрещенные под себя ноги, окружили казан с «биш бармаком» и выгребали пятерней содержимое и, обливав пальцы, снова запустили их в казан, в юрту вошел гость.

По законам гостеприимства ему было предложено принять участие в ужине, и гость сел в общем кругу. Пламя очага озарило его лицо: это была ужасная маска с провалившимся носом и гноящимися глазами—сифилис в своей страшной и разрушительной стадии... Но ужин продолжался. Эту нелепую и вредную традицию едят руками, правда их перед едой моют теплой водой, но вытирают общей сомнительной чистоты тряпицей, поддерживают и прибывающие из городов киргизы, прошедшие на партийной и советской работе школу городской культуры. Я спрашивал у многих, почему они с этим пережитком не борются?

— Это наш старый национальный обычай, и население оскорбляется, если этот обычай нарушают...

Урок этим хранителям «национальных обычаев» дала колхозная беднота. Летом на пастбищах и на полевых работах индивидуальная резка баранов для еды стала принимать большие размеры. А по киргизским обычаям баран варится целиком, на части его не делают, да и невозможно, т. к. негде хранить мясо. И баран таким образом семей с'едается в один присест...

На общем собрании колхоза беднота внесла предложение: запретить индивидуальную резку скота...

Поднялась буря.

— Что же мы есть будем?

И беднота вносит второе предложение: открыть колхозную мясную лавку. Колхоз утвердил это предложение и постановил открыть мясную лавку.

На следующем собрании беднота внесла предложение организовать общественную столовую.

— Довольно возиться каждой хозяйке у своего очага. Освободим ее для работы и разожжем общий колхозный очаг...

Ожесточенная классовая борьба ведется вокруг колхоза, и сами колхозы становятся ареной этой борьбы. Байство и манапство сделали последнюю ставку, чтобы сорвать социалистическую реконструкцию животноводства. Используя родовое влияние, баи и манапы ведут подпольную агитацию за разбазаривание колхозного стада, или, пользуясь недостаточной бдительностью районных организаций, толкают колхозников на частичное обобществление стада—от 25 до 50 проц., независимо от количества скота у колхозника, что в первую очередь ударяет по бедноте, между тем как обобществлению подлежит весь скот, за исключением части, необходимой для удовлетворения индивидуальных потребностей.

Население Торт-Коля коллективизировано на 80 проц. Я спрашиваю у предправления колхоза т. Аспаева.

— Кто же остальные 20 проц.?

— Единоличников, которых можно принять в колхоз, вообще больше нет, есть кулаки, лишенцы, исключенные из колхоза...

Но юрты кулака и колхозника расположены рядом, но скот пасется вместе, так как пастбища не размежеваны...

Это нас заставило заинтересоваться социальной характеристикой колхоза.

В ауле 578 хозяйств: батрацких—3, бедняцких—383, середняцких и зажиточных—143 и кулацких 49. Проследим теперь хозяйственную мощь первых трех групп, из которых и состоит колхоз.

У батраков нет ни скота, ни посевной площади, кроме юрты с дырявыми кошмами,—это мирабы (поливщики полей), обреченные на раннюю инвалидность, так как все ночи они бродят босые по арыкам, распределяя воду.

Колхозник Дукул Алчинбеков—бедняк. Имеет 10 коз, 3 коровы и 2 лошади (одна из них кумысная и на работу не определяется).

Колхозник Рысалы Арстамбеков—его одинаково можно считать и середняком и зажиточным, так как эти определения тут крайне запутаны. Имеет 9 лошадей, 3 коровы, 98 баранов и 3 козы.

Я спросил Арстамбекова:

— Почему вы вступили в колхоз?

Он мне откровенно ответил:

— Не вижу никаких видов на развитие единоличного хозяйства.

Арстамбеков—активист. За участие в ликвидации басмаческой банды он получил премию—иноходца.

Скот в колхозе обобществлен на 50 проц. А на общих собраниях колхозников неоднократно выступали представители бедняцкой группы и заявляли:

— Обобществим весь скот...

Середняки молчали, а ячейка сохраняла нейтралитет. Бедняк не в состоянии ухаживать и за своим скотом и за обобществленным, а середняки для ухода за своим стадом нанимают пастуха—члена колхоза, и создается внутри колхоза странное отходничество...

В то время как в индивидуальных хозяйствах поголовье скота сократилось на 25 проц., колхозное стадо растет. Но не за счет приплода, а от приема конфискованного байского скота.

— Нет хлеба и режем баранов,—говорит мне предправления колхоза.

К уничтожению скота причастен и комсомол. Вечером к моей юрте прискакала старуха Малаева, схватила меня за руку, указала на мою лошадь и закричала:

— Айдайте...

Мы поскакали на другой конец аула. С окружающих гор спускались всадники. Скоро целой кавалькадой мы въехали во двор кооператива на собрание комсомольской ячейки. Все, поджав под себя ноги, расселись кругом на земле, и позади стояли кони, привязанные друг к другу поводьями. Секретарь ячейки т. Суро сделал доклад о посылке в соседний колхоз бригады для организации учета труда. Во время прений выступила Малаева и ехидно спросила:

— А почему это вы, красавцы, ничего не скажете о «шерне»?

«Шерне»—поочередное угощение участниками друг друга. Члены «шерне» избирают постоянного «бья»—организатора пирушек из сыновей бая или зажиточного хозяина. На «шерне» пьют бузу и режут барана...

— Это вы так заботитесь об увеличении стада?—напирала Малаева.

Большинство комсомольцев было смущено. Но ячейка постановила запретить комсомольцам участвовать в «шерне» и за нарушение исключать из комсомола.

«Шерне», организаторами которого является зажиточная верхушка, заставляет бедноту, когда доходит до нее очередь, угощать, залезать в долги или отработывать за богатого..

Среди колхозников ликвидирована неграмотность, посевная площадь дала увеличение за счет посевов технических культур, и для обеспечения себя кормами колхоз вырыл 6 силосных ям.

Для лучшего управления и организации труда колхоз разбит на 5 секций. Эти секции нас особенно заинтересовали.

— Что же они по производственному принципу организованы: полеводческая, овцеводческая?

— Нет, по территориальному,—ответил т. Аспаев.

Я спросил у бедняка, что такое секция, и он мне ответил:

— Это старые друзья друг друга нашли.

В прошлом году в этом колхозе была разгромлена родовая группировка.

Я поставил предправлению т. Аспаеву вопрос в упор:

— Не являются ли эти секции отдельными родами: Кеней, Атагол, Салтана, Бергоджа и Джанбек?

Аспаев мне ничего не ответил. Я узнал только, что он из рода Джанбек...

Родовые группы—проводники родовых влияний, которыми для своей подпольной работы пользуется бай-манапский элемент,—это в Киргизии хорошо известно. Для сохранения родовых влияний из представителей родов выделяется актив, который, нелегально действуя, стремится проникнуть во все поры советского и партийного аппарата и использовать его в интересах своей родовой группы, которая в свою очередь опирается на весь род в целом. Родовые группы, организуясь для защиты якобы родовых интересов, в процессе классовой борьбы становятся агентурой баев и манапов и орудием борьбы против национальной политики партии, против социалистической переделки хозяйства, против пролетарской диктатуры под лозунгами буржуазно-демократических устремлений, сохранившихся еще среди национальной интеллигенции, вышедшей из байско-манапских рядов и не порвавшей своих классовых и родовых связей.



Я воспользовался приездом из Фрунзе двух комсомольцев—Бек-Турсунова и Курман-Алиевой (участники бригады Средазбюро ЦК ВКП(б) и мы ознакомились с составом секций. И оказалось, что одна секция—это род Атагол, другая—Салтана, третья—Джанбек. Остальные секции были на сыртах, и время не позволяло нам туда отправиться.

На обратном пути в районном центре мне сообщили, что меры для оздоровления колхоза приняты...

В горах Тянь-Шаня, на развалинах феодального строя, в невероятно трудных условиях — бездорожье, бескультурье, суровый климат и т. д. — строится социализм. Против 560.000 га до ре-

волюции посевная площадь в этом году составляет 1.040.000 га. поголовье скота с 4.800.000 голов выросло до 7.513.000. Коллективизация достигла 45 проц. Раньше в Киргизии не было ни одного трактора, а сейчас только в МТС — 665 тракторов. Из аграрной страна превращается в аграрно-индустриальную: заложены новые угольные шахты, строится сахарный завод-гигант, заводы сурьмы, ртути, хлопкоочистительный, кожевенный и мясохолодкомбинат... За годы советской власти киргизия добилась того, чего не могла добиться за многовековой период своей истории...

Сентябрь. 1931 г.

## 2. ЛЮДИ НАШЕГО СЕВЕРА

### Очерк первый

#### А. Н. Чичерин

Представьте себе деревянное некрепкое здание, в которое на полном ходу врезался грузовик: не осталось ни одного вертикального бревнышка — все покривилось, с'ехало, расплозлось... и — консервированно застыло.

Такова современная Вологда.

Странствовавший по России в 1701 году голландец назвал Вологду «украшением Русской страны».

Вологда 1931 года это самый кривой город СССР.

К крыльцу одного дома на Советском проспекте вологжане даже приколотили малюсенькую записочку:

«Не подходите к крыльцу — оно валится».

Любопытствующие шарахаются.

Дома, особенно с дворовых изнанок, — старинней кремля, бревенчатее — деревянней: цветливо играют они разными наличниками, гнутыми входами, узорчатыми причелинами и похожи на великостюжские берестяные поделки. Диковинные дома.

Во дворе 23-го дома на том же проспекте увидите покосившийся призрак каких-то приснившихся или выдуманых хором. А где-нибудь подальше — в заречьи — в случайную щель неприкрытых ворот померещится древний по-

сад: из-под отставшей обшивки пругновгородские бревна, узорится флигелек, двор с досчатым настилом, «с простыма, тесовыма ворóты», скоба, колотушка и пёсий заливчатый лай.

\*\*\*

Река Сухона: исток — озеро Кубенское, устье — Двина.

560 километров тянется эта каменная колыбель.

На пространстве от истока до устья падение ее 55 метров... — Стремительное падение.

Наохренное яйцо просыпающегося светила желтит голеновские берега: немислимые цвета на головоломных откосах. Крутые обрывы. Подгарины. Плещи. Лом. Ветровал.

Через каждые 7 километров — челюсть с вывороченными зубами от берега к берегу, — перебор. Что ни 3 километра — оскалина. Двумястами таких перебористых челюстей и оскалин щерится Сухона.

Горы виляют в материке, русло — в горах; фарватер виляет по руслу, плывущие — по фарватеру.

Осторожно, как бомбу, огибают они стотонные камни.

Становятся поперек русла и идут в кривую грудь берега... Поворачивают и... — «С-са-м-мой ти-хой!..» — проходят Гибралтар цветных мергелей.

В недрах ледниковых наносов легендарных эпох покоятся мамонты, носороги, широколобый и мускусный бык.

В недавние времена здесь охорашивалась куница, чернобурился лис, лаял песец; хоронилися от императорских поползновений торжественные горностаи; удивлялся всему новому лось.

От тех пор остались в Присухонье: летучая белка, простодушный рябок, пардус (рысь), мишуха и неисправимое тетеревьё: ранними, протальными вёснами, в родоначальных смятениях оно здесь бесцелно чуфыкает и тотёкает, — токует.

Береза с осиною живут на дальних задворках — на вырубках, гарях, в захолустьях славных рек и окольных болот. Как человек в шестьдесят лет, они уже загнивают, уступая место свое твердым, смолистым породам.

Коренные насельники Сухоны — ель и сосна.

Нужно прожить две березовых, человеческих или осиновых жизни, чтобы увидеть, как ель и сосна станут деловым, пиловочным деревом. Мелкослойчатая сосна и ель Сухоны становятся им в 120 лет. Они — нынешняя слава Сухоны и надежда на будущее ее.

Три моря соединяет собою эта величественная река.

Но только два месяца в течение всей навигации она может быть использована с полной нагрузкой: единственный по экономическому значению для севера путь с июля местами превращается в лужу; ее вброд переходят мальчишки.

Для того, чтобы пройти пятисоткилометровую Сухону в июле и в августе, надо затратить полторы пятидневки: плыть на паршивеньких пароходиках, иногда таща их на себе — лямкой, на баржах, в лодках и чуть ли не на плотах...

Летнее мелководье, а вследствие его парходство и сплав губят икру и рыбную молодь, по-здешнему «сёгду», — рыба в Сухоне исчезает.

Уже почти нет знаменитой сухонской стерляди, которую еще очень недавно

доставляли в Ленинград и Москву в живорыбных садках.

Чтобы возродить эту реку, оживить и использовать всю прилегающую к ней, богатую и громадную часть края, надо ее шлюзовать.

Тогда пойдут по Сухоне большие суда с двухметровой осадкой. Повезут сотни тысяч тонн наших товаров в Балтику, к Белому морю, за Каспий.

На даровой силе воды вырастут электростанции и поднимутся лесопромышленные комбинаты.

С мест, где до сих пор не бывал человек, поплывет пятнадцатиметровый, двухобхватный мачтовый лес на наши и заграничные верфи.

Бумажные и целлюлозные фабрики насытят голодные ротационки страны северным «просвещением на корню».

Из пестроцветных недр мергелей извлекают цемент и известь.

На знаменитом сухонском льне станет ткацкий массив.

14 июня 1924 года на реках Иде, Кунаже, Ельшме, Ничме и Мёзе пролетел ураган. Ураган повалил пять миллионов кубических метров великопленной деловой и дровяной древесины. Древесину эту не вывезли. Теперь она сплошь больна короедом и заражает леса. Убыток — около четырех миллионов рублей.

В 1925 году убыток от бурелома, неиспользованного прироста, перестойного и мертвого леса в районе одних только этих речушек составил восемнадцать с половиной миллионов рублей.

Когда будет шлюзована Сухона, пересыхающие притоки ее превратятся в сплавные пути и будут использоваться в течение всей навигации.

Шлюзование и подездные железнодорожные ветки — в этом спасение Сухоны и будущее ее неисчислимы богатств.

В старину добывали здесь железные руды. Писцовые книги первой четверти XVII века свидетельствуют:

«В Печенегской же волости домня, а идут в ней железь, а руду железную копают под деревнею Подлипним в болоте Толшемские волости крестьяне кузнецы Авдейко Семенов с товарищи, а оброку с той домни и железные руды платят государю в казну со 131 году по шти алтын по четыре деньги в год».

Соляные варницы, находящиеся в Присухонье, принадлежат к самым древним заводам России. Они давно утратили свое промышленное значение. На месте их в гор. Тотьме теперь сделан курорт: тысячи рабочих, колхозников и трудящихся СССР лечатся в нем от ревматизма, костного туберкулеза, нервных и женских болезней, малокровия, золотухи, рахита, подагры...

В этом маленьком городке когда-то жил в ссылке известнейший большевик.

Двадцати восьми лет, среднего роста, он имел темнорусые волосы, глаза карие, лицо худощавое («нос обыкновенный, особых примет нет»).

Состоя под гласным надзором в гор. Кадникове, он «согласно телеграмме господина управляющего губернией от 27 марта 1903 года» был препровожден «в г. Тотьму для проживания в сем последнем».

«Получив проходное свидетельство, он выбыл из г. Кадникова по почтовому тракту на Тотьму, а затем, проехав несколько верст, свернул с дороги и направился к железнодорожной станции Мёрженга, а оттуда уехал с поездом в Вологду, где и был вечером того же дня задержан полицией».

Попавший «не по прямому своему назначению», он был водворен в Тотьму.

«Поднадзорный, с женой вместе, посещал из проживавших там секретаря земской управы Васильева, чиновника почтово-телеграфной конторы Исаева, учительницу женской прогимназии Крушен и провизора Пономарева».

«По негласно собранным сведениям, оказалось, что квартиру поднадзорного кто-либо из проезжающих не посещал, жизнь вел он более правильную, а не разгульную, в квартире у себя занимался чтением книг и газет».

Свидетельства о жизни этого всеми уважаемого человека в «узорной красавице Тотьме, расположенной на берегу громадной реки...» (так он сам описал это место впоследствии), о попытке бежать и «водворении по назначению», принадлежит «перу» исправников и надзирателей. Хранятся они в местном музее, носящем теперь его имя: «Тотемский музей имени Анатолия Васильевича Луначарского». Это самый умный

по построению музей из всех виденных мною в Северном крае. Заведывает им образованный коммунист Н. А. Черницын. Чуждый церковных и буржуазных пристрастий, тов. Черницын отделался от культа помещичьего шурум-бурума и кусткамерной пустяковины; он энергично работает над превращением музея в орудие коммунистического просвещения масс.

В этом музее находится одно замечательное художественное произведение.

Автор — крестьянин Тотемского района (б. Тотемского уезда, Заборской вол., деревни Сметанинской) — Ф. Русинов.

Произведение — деревянная резная фигурка: полметра — от пальцев ног до волос — высоты и 40 сантиметров — между пальцами раскинутых в стороны рук — ширины.

Фигурка сделана автором в 80-х годах прошлого века на память об убитом в Турецкую войну сыне Иване.

Односельчане прозвали ее «Иванушка-Алефанушка».

От сокрушительного в грудь удара — навзничь падающий человек.

Сильно удлиненное туловище опирается (между лопатками) на небольшой столбик; фигурка висит на этой опоре, едва прикасаясь правой ногою к подставке.

Руки раскинуты в стороны: левая — выпрямленная, правая — согнутой.

Ноги, слегка скарёженные в коленях, свисают.

Кисти рук, пупок, ребра, ягодицы, икры и пальцы показаны схематично.

Миндалевидный овал громадных глазниц, четкий нос, тонко стиснутый рот и закругленный подбородок детализуют калмыковатость (или зыряноватость) лица.

Изображение контурно и схематично и вместе с тем реально и экспрессивно.

«Иванушка-Алефанушка» — единственная работа Русинова — ставит ряд художественно-психологических загадок:

Во-первых, почему эта работа единственная у Русинова?

Говорят:

— Потрясение горем вдохновило Русинова; без этой «вспышки» он не смог бы творчески проявиться.

Это неверно. Условия прежней единоличной жизни высасывали из крестьянина все силы и мешали развиться творческим задаткам многих Русиновых... Вот в чем разгадка единственности «Иванушки-Алефанушки».

Во-вторых, как этот крестьянин, видя перед собой натуралистическую архаику северно-русской резьбы, избежал ее вульгарных деталей и создал — в 80-х годах прошлого века! — работу, которой может позавидовать нынешний высококвалифицированный экспрессионист?

В-третьих, откуда взялось у Русинова его замечательное мастерство?

О Русинове социологам и искусствоведам надо подумать, а его «Иванушку-Алефанушку» включить в историю искусства.



Усть-Толшемского района, Кожуховского сельсовета, село Ихалица — пристань, колхоз.

— Много ли у вас сёдня народу работаат?!.

Выпяченные толстогубые челюсти и расширяющийся, как свекла, овал кругоскатого лба обнаруживали ее вологодское происхождение. (Конусная лобастость иконописных «святых» типична для всех вологжан.)

Торчавший у пристани какой-то остролицый чудак прокричал:

— Оч-чень м-мал-лло-о-о!.. По-шти ни-ко-го!!

Женщина заволновалась.

Находившийся рядом с ним человек с приплюснутой переносицей (классическая черта вологодских мужчин) поспешно-надрывисто прояснил:

— По слу-ча-ю ре-ли-ги-оз-но-го пра-здни-ка-а-а!.. И-ль-ин де-энь!.. Народ весь — кол-хоз-ни-ки, — по-сле о-бе-дни гуль-ляй-йу-у-ут!!.

— Разве религиозные праздники — дело колхозников!?. Это единоличники пусть дурачатся, если хотят! Вы! «председатели!» — она кисло скривилась, — наверное сами с ними гуляете!?.

— Мы при-ни-ма-ли все мер-рры-ы-ы!.. Да-жа — го-ло-со-ва-ни-е рук про-из-

ве-ли!!.. — Не-по-мо-гаат!.. Сорва-то!.. Вто-рой де-э-энь!..

Угрожающий смерч саркастических выкриков и траурных шуток перекатился по палубе парохода, на котором была вологжанка, и перешел в ехидные замечания:

— Слышь, парень! Даже голосование рук не помогают!..

— Драповые языки.

— В этих местах по трое суток ильин день справляют; это у них «местный праздник»...

— А потом опохмеляться столько же будут... Вот тебе и вся неделя готова... Женщина клокотала.

Она кричала на берег остролицому и приплюснутому о том, что преступно растрчивать горячее время на глупые предрассудки.

С беспокойством настороженного человека она надрывалась:

— Колхозники Ихалицы наверное хотят сорвать всю уборочную!?.

Настаивала на немедленных мерах... Жалела, что не может остаться, и обещала:

— Приеду назавтра в моторке.

Она оказалась инструкторшей районного колхозсоюза и объясняла случившееся плохой культпросветработой в этих местах.



Зелотились примятые грозами, требовавшие уборки хлеба. Истощало питательные соки пересыхавшее сено... Печально качались на тонких, крепеньких стебельках голубые цветики льна...

Ихалица гуляла:

У меня миленков тридцать,  
Я не знаю, куда скрыться  
Побежала на реку —  
Все сидят на берегу.  
И-и-х! ты-ы-ы...

Действительно — «миленками» Ихалицы был усеян весь жаркий берег реки.

Горячее время, считанные деньки... Расфуфыренные колхозницы посиживали в холодках; пьяницы слонялись в обнимку; гулячки и бабники под визг не ко времени разъяренной гармошки выбрыкивали:

Не пришла — и наплевать  
без тебя найдется пять  
Неужели из пяти  
токой дряни не найти,  
У!х У!х У!х У!х...

Говорят мне изменушка —  
мене не на диво

Я на эту на изменушку  
поставлю радиву-у...

Жала рожь, жала овес

Циган циганюдько провез

Циган не белого лица,

Циганюдька кьясявиця!

Дайте мне бутылки стьянку —

коллектив заводитьця

О веселых о гулянках

думать не приходитьця.

Расцвеченные в домотканину девки  
вопили:

Одьчиво-о

Поциму-у

Поциму

то

цьки

не любовь

у

нас

только сю

то

цьки

Ц вместо Ч было их краевое достоинство,  
С вместо Ш — девичий недостаток.

Им вторил валявшийся поперек улицы  
шалопаи; его одолевала икота: спотыкаясь  
после каждого полуслова, ревел:

От

тчиво

Пот

тчиму

Пот

тчиму

тот

тчки

— Колькаа...

Милиционер-от

уведает

так прогопнет тебя-а-а...

Но «Колька», очередно срыгнув, продолжал:

Время-от

нет

тут

у нас

нимь

минут

тот

тчки

— Колькаа...

Милиционер-от

уведает

ак...

оО!ньт...

à-à-à-à...

Приближался тот час, когда не отличить уже белой нитки от черной: тупо уткнулись в ночь остановившиеся плоты; ляпал валёк — шлепала, хлюпала, лопотала, ляскала и переплескивалась вода; неожиданно и непривычно белело белило берез.

\*\*\*

За несколько перегонов до Ихалицы на пароход ворвалась партия ехавших на архангельские заводы и двинские лесобиржи колхозников.

Грузно сопя, взбирались на верхнюю палубу монументальные мужики с деревянной тяжестью нош. Они ступали вразброд, угловатой походкой, с тяжёлым навалом направо. Сбросили с освинцовевших плеч окованные железными полосами, крест-накрест перевязанные сундуки; сняли лубяные короба; поскидали стиранные мешки и лыковые лукошки. Хозяйственно расположились. Поели огурцов с хлебом и лепешек с крупой; попили горячей водицы. Потом, немного освоившись, помогли друг другу разуться и стали пригатавливаться к ночлегу.

Молчаливый, сосредоточенный человек, медленно распоясываясь, говорил:

— Всяки бывают колхозники!.. Мы из «Победы». Наш колхоз стоит на Порозовице... Может, слыхали? Возле пристани Благовешенье! Там наша «Победа», — колхоз.

Распоясавшись, он подтянул падавшие штаны; сел, поджав ноги, на домодельный пиджак; почесывая бородку и изредка жестикулируя продолжал:

— Мы этого пророка Илью давно отменили. Ишшо два года назад поставили вопрос — отказацьця от глупых религиозных обыцяёв и от приёма попа. Постановили отказацьця единогласно. В колхозной массе «Победы» такого заведения нет, — бросать роботу для религиозного праздника. У нас сёгода для уборки покосов сбраты все средства. Роботали и старой и малой. Робята со взрослыма. Комсомольцы ходили там-от-ко роботать головными, друг перед другом наперегонки, кто скоряз, —

ударниками! Председатель был впереди всех! Даже сторуки-горбушницы и те мало-мала ковырялись. Не убратое на сеновалы—сдвинено в стóги... Сделато все во-время. Не сгноино ни телеги... Посмотри-от как у нас роботат народ!— кол-хоз-ни-ки!! А это разве колхозники? (тут он употребил такое веское слово, которое имеет хождение нарравне со звонкой монетой по всему необ'ятному союзу наших республик) другого названия таким «колхозникам» нет.

\*\*\*

Между бóенками с какой-то чудной на запах и вкус северной рыбой «треской» полулежал очень красивый, ломоносовского типа крестьянин.

Рядом с ним растянулась, храпя, мускулистая, плотная женщина, должно быть — жена.

Я видел их перед посадкой.

Появились они из-за крутого пепельного откоса и спустились желтыми склонами к пологому месту реки. Она стала на вытарчивавший из воды грифельный камень, нагнулась... и в глянцевои гледи реки отразилась бабий испод.

Баба была сочная, рыжая... вода рыжими радостями заколебалась, ржавчиной расцвела.

Он взошел на приткнувшийся к берегу плот.

Старательно перегибаясь, точно кланяясь глубине, они бережно черпали заскорюзлыми пригорошнями потевшую воду и осторожно, боясь расплескать, поособенному — по-заревому: торжественно опрокидывали на свои лица рыжую влагу реки.

Он утерся полою рубахи, она—исподнею юбкой.

Чинно и глубокомысленно поглядели на восход солнца и молча, как-будто думая каждый о затаенном своем, пошли на посадку.

Утвердив многогранную голову на цементной пятерне и выпучив немигающие глаза, «Ломоносов» зорко слушал колозника из «Победы». Когда «победовец» конил, «Ломоносов» вдруг встал (мачтовый рост) и неожиданно мягким, сердечным баритоном пропел:

— Не нужны нам такі люди, котóры не хотят приносить пользу Республিকে!..

Нагнулся. Показал несуразную латку. Смяк и провалился в треску.

— Звонкой кокой! Рожóной мой! Дрбля!..

Затрепетало контральто.

«Какой звонкий, родной мой, милый...» вот на нашем, московском, наречи смысл этих таинственных слов.

★

— Зьзи-ммо-гор...

«Зимогор — такой цёловек, котóрому зимой буэт пло!хо: придецьця ёму горевать...» (Это голодранец, бедняк — «зимогор».) «До колхозов мы все зимогорами были...» (рассказывали колхозники).

Что это?

Галлюцинация тревожного мозга?

Новый способ передачи на расстоянии, которую может принять даже неприспособленный слух?..

Нет!

На гнутых гадюках канатов сидели, прислушивались к разговору, рыжий и соломенный мужики. Изредка они, медленно и непонятно, как лесное озеро на заре, колебались.

У рыжего мужика медные руки были покрыты соломенной шерстью; у соломенного — желтые — были покрыты рыжею шерстью.

У рыжего глаза были карие, у соломенного — голубые.

Рыжая шапка-катынка, порыжевший брезентовый пыльник и рыжие сапоги были на рыжем.

На соломенном был стеганый, почти что не до колен, ватный пиджак, невыясненного цвета штаны и такие же сапоги. Кепка с большим козырьком была нахлобучена на глаза.

Рыжий слушал натужно и глядел, как человек, который идет сквозь опасность.

Соломенный видел и понимал все, но так же, как и его рыжий спутник, напряженно и глухо молчал.

Кто эти люди?

Дальний колхоз.

Передо мной черненький человек — он похож на маленького ершишку или горбатенького окунька. Украдчиво переминается, точно приплясывает на хвостике. Он было когда-то «средняцк-

ком». Теперь он бедняк. Сколько-то времени он даже батрачил:

— Конюхом при совещкой больнице...

При колхозниках или на расстоянии слуха от них, он—

— Всем премного доволен...

Но в «безопасности» — подальше — его.

— О-би-жа-ют.

Фактов обиды нет. Просто:

— Неудовлетворенность...

Он:

— В колхозе то́ко с 1 мая—недавно.

Разговоритесь с ним:

— Если бы (у него) была землячка с скотинкой (он-от знает, как ухаживать за скотиной),—на что сдался ему этот колхоз!

Он:

— Хороший кустарь и вполне работник токой, которым и завод не побрезгает...

Да его и—

зовут на фабрику в Вологду и везде примут. И ни в каких таких колхозах (он) не нуздацьця, сам работает скоряэ...

Такой «колхозник» глядит мимо товарищества, вон из колхоза. Он уйдет из него.

«Не раз уже на наших предприятиях обнаруживался пробравшийся на производство кулак, с умильными лицом радетеля за судьбы социализма кричащий о «вредительстве» специалиста, пытаясь таким путем замаскировать следы истинных виновников прорывов и недостатков на производстве» («Известия»).

\*\*\*

Многие спали: было похоже на кукол в детдоме и на разбросанных мертвцов.

Исходили тяжелым, трудовым духом. Рыкали. Фукали. Спросонья кряхтели. Держали грешные свои пятерни в ржавых штанах... Шарили в дебрях деторождений.

В черном дыме трубы золотились огненные мотыльки.

\*

Я был в «Победе»: за озером Кубенским, на взметнувшемся берегу речки

Порозовицы — Вб́локе Слово́нском — к Белу морю пути — в Волокославинском, древнем селе. Это образцовый колхоз Кирилловского района. Все, что говорил о нем колхозник на Сухоне, — верно. О многих достижениях «Победы» он не упомянул, может быть, потому, что не пришлось к слову.

В «Победе» есть школа коммунистической молодежи.

В «Победе» есть общественная столовая—обед, ужин: сытные с мясом щи, отличная каша и молоко (от обобществленных коров).

В «Победе» работает трактор, молотилки, жнейки, косилки, клеверотерка и другие машины.

Есть детские ясли на 40 ребят. Ясли содержатся чисто. Уход за детьми и питание отличное: колхозницы охотно несут в них своих малышей.

Есть мельница (в роде тех вологодских красавиц на курьих ногах, которые вертящимися привидениями натыканы по всему Северу).

Маслобойка... И маслобойка же! — бревно в три обхвата с деревянным винтом. Один конец упирается в стену, другой навинчивается на продукт, и—масло готово.

Даже свой, для местных нужд, какой-то чудной «кирпичный завод»: из высохшего сырца складывается большущая печь с замысловатыми дымоходами; печь топится до тех пор, пока не обожгутся все составляющие ее кирпичи (больше недели). Потом она разбирается, и кирпичи пускаются в дело. В лето успевают обжечь две печи по 13.000 штук каждая.

Большой на 100 голов скотный двор, овин и конюшни—колхозные достижения «Победы» в 1931 году.

\*

Но были в «Победе» и черные дни. Тогда самым стойким колхозникам приходилось «очинно плохо».

Когда происходил переход на устав сельхозартелд, кулаки не жалели ни сил, ни средств, чтобы подорвать идею колхоза. Они распускали всякие небылицы о порядках в соседних коммунах: ходят-де разуты-раздеты, в грязь, женщин насилуют, люди и скот дохнут с голоду, на работе круглые сутки.

Для того, чтобы подсесть агитацию, правление «Победы» организовало экскурсию из колебавшихся в то время некоторых колхозниц в коммуну «Просвет». Коммуна эта стоит на берегу Бородавского озера в 10 километрах от «Победы». На берегу того озера, где находится гениальный и страшный памятник феодальной Руси, с фресками Феррапонтова монастыря.

Вместо рассказа о результатах этой экскурсии привожу подлинный документ — протокол общего собрания членов «Победы», на котором были заслушаны впечатления экскурсанток. Протокол этот обладает летописною простотой.

### ПРОТОКОЛ № 40.

общего собрания членов колхоза «Победа», имеющего быть 15 января 1930 г.

Председатель — Ражева, М. С.  
Секретарь — Малюгин, С. Я.

С л у ш а л и: Информация о поездке группы женщин в коммуну «Просвет».

Тов. Серафима Тихова говорит, как они прибыли в коммуну и обошли скотный двор, осмотрели ихны порядки.

Крупного рогатого скота 39 штук, из них 17 коров дойных. Корм задают каждой корове по норме, исходя из живого веса и если которая корова прибавляет удой, то тем коровам прибавляют усиленных кормов.

Овец у них 38 штук при двух баранах.

Свиней находится 17 штук больших и 4 штуки маленьких.

Уход за крупным рогатым скотом — 8 человек женщин и 2 женщины за мелким скотом.

Двор теплый.

Молока для прокормления людей вдоволь.

В коммуне находится 108 человек взрослых и малолетних.

Лошадей 8 штук рабочих и 3 жеребенка племенных.

Насчет содержания — общий стол превосходный так что пьют и едят хорошо и продовольствия вдоволь, без чаю и сахару не живут.

Одежда, обутка у всех одинакова и хорошая. Женщины все в белых платках

и одеваются прекрасно, потому что их советская власть снабжает мануфактурой.

Поросят кормят разными отбросами. Жилые помещения хорошие и в них чисто.

Баня на два отделения — одно для мужчин, а второе отделение для женщин.

При коммуне имеется красный уголок и часто ездаят из Кириллова с кино.

Анна Николаевна Кузнецова. Сказать я могу то же самое, что сказала Серафима Тихова.

В коммуне имеются кустари: сапожники и гармонщики, и портные, а кузнец временой, когда есть работа только тогда и зовут какой есть ремонт.

Хлебом у них в коммуне обеспечили сами себя на год и дали государству 300 пудов.

Женщины вбеременности освобождаются от работы на 4 месяца.

Тов. Ражева обрисовал положение о поездке на экскурсию с женщинами, какое положение и порядки в коммуне «Просвете». По приезду в коммуну как их радостно встретили и как наши курсанты (т.-е. экскурсанты. — А. Ч.) расспрашивали о порядках и существовании в коммуне.

Коммуна организовалась и работает два с половиной года. Организовали коммуну на первом начале 8 семей, а особенно из гр-н Талицкой бывшей волости, а в настоящее время находится 25 семей и много дают из ближайших деревень заявления для вступления в коммуну, но пока приходится воздержаться в виду малого помещения.

Обработка земли машинами потому что у них имеются все машины.

Племенных коров 11, а 28 коров простой обыкновенной породы.

Рогатой скот кормят по норме, а особенно дойкам.

Работа коммунаров идет по плану и распределяется по специальности, как в летний период так и зимой.

Уход за телятами хороший, но не перекармливают.

Женщины несут каждая свою обязанность и по окончании своей работы они свободны, хватает время отдохнуть и почитать газет.



Работают во время сенокоса косилкой, а гребут большими граблями и жнут все жнейкой.

Севооборот девятипольный и порядок идет по очереди: так что 2 поля ржи, 2 поля яровых и т. д. по культурам.

Доход от хозяйства дало 1.400 рублей.

На работу выходят по звонку.

★

После этого была открыта запись желающих вступить в сельхозартель. Все экскурсантки высказали решительное желание немедленно перейти к коммунистическому устройству (минуя форму сельхозартеля) с полным обобществлением всего имущества, живого и мертвого инвентаря.

Правлению не только что не понадобилось разъяснять преимущество социалистической организации жизни перед единоличной, но пришлось выдержать значительный натиск со стороны новообращенных коммунаров.

Правление остудило пыл поспешных решений, поступило выдержанно и этим еще больше укрепило колхоз.

★

Кто же те люди, которые без колебаний вынесли трехлетнюю тяжесть борьбы за колхоз?

Зачинатель «Победы» и первый председатель ее, селькор, Алексей Федорович Ражев. Бедняк. Он был центром политической борьбы за «Победу». Когда Кирилловский райколхозсоюз хотел сделать его районным инструктором по колхозостроительству, колхозники из «Победы» бурно протестовали:

— Не отдадим Ражева! нам с ним светляэ и крепшэ.

Ражев районным инструктором райколхозсоюза все-таки стал.

Председатель «Победы» — Федор Иванович Суслов. Бедняк. Хозяйственная и организаторская сила «Победы»... Про него сказал колхозник на Сухоне:

— Председатель-от впереди всех!

Спросите у Суслова — чем же победили колхозники? Он ответит:

— Примером: единоличник носил хлебушко решотцем и к весне голодал, а мы возами возили и едим досыта все — не бедствуем.

Сулов кандидат в члены ВКП(б).

Руководительница делегатских собраний колхозниц. Член редколлегии стенгазеты. Скотница — Мария Самойловна Ражева.

Когда под влиянием агитации кулаков колхозный скот стал беспризорным, Мария Самойловна девять месяцев ухаживала за ним без чьей-либо помощи и оплаты. Ударница. Член ВКП(б).

Александр Григорьевич Зорин. Ударник. Бывший пред. ком. бедноты. Беспощадно и яростно нападает на всех тех, кто явно и скрыто стремится развалить колхоз. Ликвидировал свою малограмотность и написал в районную газету «Ленинское знамя» следующее письмо:

#### ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ДЕДА ЗОРИНА

Ко всем беднякам и середнякам единоличникам

В 1929 году учтя преимущество ведения сельского хозяйства коллективно, нас небольшая кучка крестьян С. Волокославинского, задаясь целью организовать колхоз. В феврале 1929 года мы добились своих желаемых целей из 36 хозяйств села Волокославинского вошло в колхоз 12 хозяйств; теперь же выросли до 84 хозяйств.

И вот, работая 3-й год хотя мне от роду 59 лет, в семье 4 едока, из них 2 нетрудоспособных но обеспечиваю семью всем. В прошлом году по распределению урожая получил одной ржи—80 пудов. В настоящем году до 1 сентября заработал: ржи—53 пуда 9 фунтов, ячменя—11 пуд. 33 фунт., гороху—8 пуд. 35 пунтов, семя льняного—4 пуд. 20 фунтов, картофеля—50 пуд. 11 фунтов и следует получить денег 35 руб. 45 копеек.

Зная, что уже моя семья обеспечена продуктами питания на целый год, и еще мне дано задание до 1-го января выработать 60 трудодней, за которые я должен получить 32 пуда продуктов. Это является излишки и я передаю колхозу в его распоряжение, а 60 дней выработаю хотя и стар, но это нужно.

При пашне доводил выработку до 0,47 га, рассевал до 2 и свыше га. Работаю в бригадах, сделно.

Ценю колхозную работу свыше всего, что через колхоз могу сам себя и семью обеспечить — при своей сознательной и добросовестной работе.

Я, Зорин, обращаюсь ко всем единоличникам беднякам, середнякам, ведущим сельское хозяйство единолично до сих пор, вступайте в колхоз немедленно, активно и добровольно уча-

ствуйте и направляйте колхозную жизнь, что себя и семью вполне обеспечит по потребности несмотрн же на кулаков, подкулачников и всех прихвостней, которые стараются еще подбивать вас, страшат всевозможными видами и неладами. Это испытывали и мы, но им не верили, а давали своевременный отпор на кулацкие вылазки. Хотя я и стар, но одиночники, давайте вместе строить наше будущее, хорошее социалистическое, крупное хозяйство.

*С приветом ЗОРИН.*

Воспитатель молодых коммунаров. Зав. ШКМ Николай Александрович Преображенский. Передовой боец с кулаками и подкулачниками. Ведет всю культпросветработу колхоза.

«Самая активная старушка» — Катерина Васильевна Ражева (так рекомендуют ее сами колхозники). 60 лет. Была первой ударницей по вовлечению женщин в колхоз. Это она организовала общественное питание и выдержала борьбу за него:

— Бывало брыкались! а теперь их (колхозников) от общественного стола волоком не отдерешь!!.

Вот имена тех людей, чьими заботами и страданиями укрепилась «Победа». Этим товарищам слава и первая честь.



В наших «центрах» существует самouverенное и предвзятое мнение о со-

циальной отсталости и некультурности Севера.

В представлении многих Северный край, это—либо былинные старины, либо сплавная экзотика.

И я решительно опровергаю все предвзятости о социальной и культурной отсталости нашего Севера.

Даже в самых далеких медвежьих углах — «каргополях»: в Кокшеньге; Важских, Двинских и Пинежских «добрях»; на Вычегде, Выми, Мезени; окрест Печоры...— люди живут чисто, свободно, по времени сытно, умно...

Край живет полнокровной политической жизнью.

Там хорошо знают, где делается погода Европы:

— Погода делаецца на Севере, а Север принадлежит нам!..

Люди нашего Севера—в основном их массиве — повсеместно свидетельствуют о том, что избранный и проводимый партией и правительством путь правилен, без него было безвыходное положение, петля, тупик...

Так думает весь наш Северный край—от Уральских гор до Карелии и от Земли Франца-Иосифа до Костромы.

Июль — август 1931 г.

### 3. ОЧЕРКИ СОВЕТСКОГО ПРИМОРЬЯ

М. Грюнер

#### I. Охота за водорослями

Есть остров на том океане.

Пустынный и мрачный гранит...

*Лермонтов.*

Близ острова Формоза постоянно клубятся туманы. Они ползут с океана, на тысячи километров закрывая небо, воду и скалы.

Теплое течение Куроcиво сталкивается здесь с холодным, идущим из Охотского моря, из полосы вечных льдов. Поэтому и весна на берегах Тихого

океана, одетая в молочный туман, так медлительна и бесстрашна.

В 1931 году она была особо медлительной: Приморье три месяца не видело солнца, и штормы долго не расставались с океаном.

...В бухте с двумя узкими горлами, где на берегу еще в прошлом году шумел лес и в лесу, на сопках, бегало зверье, — теперь рыбный промысел. Работники рыбного промысла почти оторваны от мира: здесь с весны по бухтам ходит пароход раз в месяц, раз в две недели, и с трудом — с неправильными рейсами — раз в неделю.

Обманутый туманами, сбитый с толку подводными скалами и узкими бухтами, пароход долго плутает среди скал и только после тревожных гудков, иногда только при помощи прилива, направляется дальше.

Со следующей весны бухты будут иметь воздушное сообщение, — это так же верно, как то, что в прошлом году здесь была тайга, — а сейчас здесь строится маленький, в сто домиков, городок.

Ветер крепчает, и шлюпка кажется до крайности ненадежной, но компас твердо указывает путь в опаловой мгле гуманов. Остров в девяти километрах от бухты, но на веслах против ветра это очень долго. Над океаном — сплошные сети дождя. Точно ли сейчас июль месяц? Точно ли мы на широте Крыма? Если зажмуриться, на один единственный миг представляется теплое, как бульон, море и знойный песок, обжигающий ноги. После этого мига остро чувствуются окоченевшие руки, отяжелевший от сырости дождевик и ноги, застывшие в резиновых сапогах.

Где остров? Вокруг только сырая ва-та тумана да серая клеенка океана,

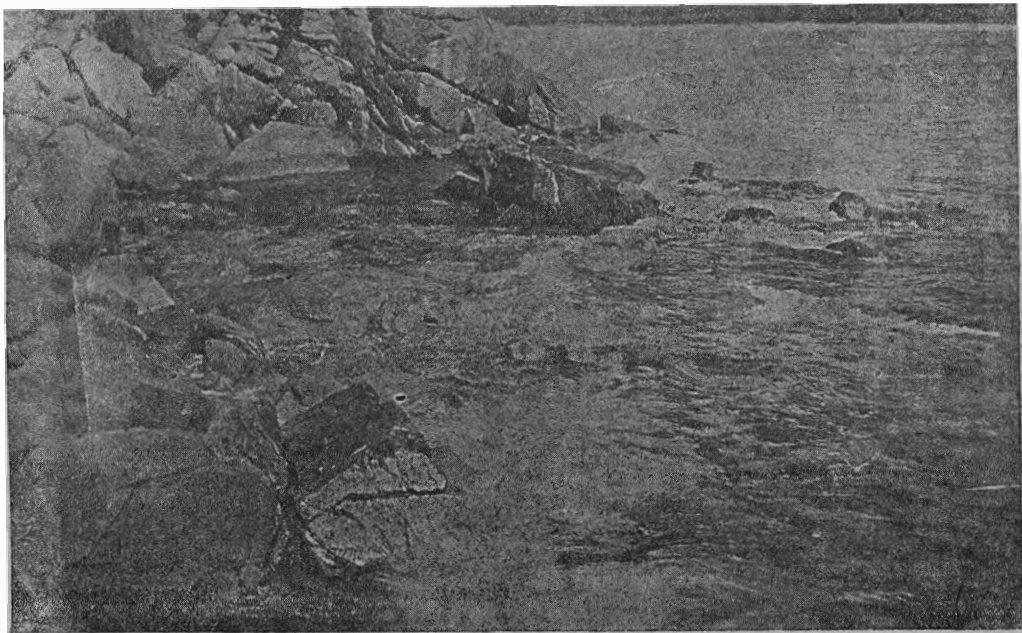
которую капли дождя и капли, падающие с весел, делают узорчатой.

Когда лодка очутилась у берега, остров стал сразу виден: туманы здесь бессильны. Остров всегда виден с одного края до другого. Он зеленый, мокрый, с огромными камнями на берегу.

Несмотря на дождь, нас встречают. К лодке кидаются овчарка и две свинки. Люди — островитяне — молча и корректно стоят на берегу.

#### Водорослевая экспедиция

Советское Приморье тянется на тысячи километров. Там есть чудесные гавани и бухты: Золотой Рог, Де-Кастри, Советская гавань, Цурхада, Майет, Томахеза. Берега покрыты девственным лесом, океанские глубины — мощными зарослями водорослей. Водоросли океана и морей — то же, что трава на земле. Но разница между ними огромна: земные растения усиленно дышат и теряют много полезных веществ, водоросли же дышат мало и потому сохраняют большое количество углеводов. Один гектар морской капусты содержит вдвое больше углеводов, нежели гектар пшеницы.



Остров Петрова. Северо-восточный берег

Океан хранит для нас сказочные богатства, нужно только суметь взять их.

У нас в Союзе немало людей, стремящихся изучить свой край, научиться использовать все его богатства и возможности. На тихоокеанском побережье, за 10 тысяч километров от Москвы, с 1928 года начали по-настоящему изучать морские богатства.

Дальгосторг (с июля 1931 года не существует) в 1928 г. обратился в Тихоокеанский институт рыбного хозяйства с просьбой изучить водорослевый пояс побережья в целях правильной эксплуатации и для создания первого советского иодового завода. В начале июня 1928 г., доехав на пароходе до бухты Ольги, молодой ученый Гарри Гайл в китайской лодочке шампуньке с одним гребцом китайцем начал изучение водорослевых зарослей. Дальгосторг главным образом интересовался ламинариевыми водорослями (морская капуста), — из них добывается иод. Нужно было строить иодовый завод: необходимо было знать, каким количеством сырья мы располагаем и где всего удобнее поставить завод.

Гарри Гайл, латвийский подданный, закончив образование в Германии, получил там работу. В 1927 году он совсем уезжает в Советский Союз, принимает советское подданство, так как по его глубочайшему убеждению только в СССР можно работать плодотворно, с размахом, не доступным ни одному капиталистическому государству.

Немецкое упорство, терпение и тщательность — все это было вложено в водорослевые экспедиции 1928 и 1929 гг. Гайл гребет по очереди с китайцем, они делают в день не более 10 километров, так как все время ведется работа по исследованию зарослей. К концу ноября, к началу сильных штормов, они доезжают до Советской гавани. Нужно знать суровую весну Приморья, ветры и туманы океана, высоту соленых волн, заливающих лодку, и тысячи иных опасностей, чтобы понять и оценить все трудности подобной экспедиции.

Оба они отдыхали лишь тогда, когда могли поднять парус. Возможно, в минуты отдыха у Гайла и зарождалась

мысль охватить все многообразие океанской флоры, начав разведение водорослей, — плановое водорослевое хозяйство. Гайл также согласно поручению Дальгосторга делает обследование водорослей, которые могут дать Советской стране агар. Согласно его подсчетам, от Советской гавани до мыса Поворотного можно собрать количество водорослей, дающих 200 тонн агара.

Заросли ламинариевых водорослей находятся в 300 метрах от берега. Гайл исследовал дно, делал промеры, обозначал площадки, изучал мощность гектара. Наконец было выбрано место для иодового завода.

Это была бухта «Владимир», удобная, не замерзающая зимой, с достаточным количеством пресной воды (есть большое озеро). Поблизости — мощные заросли ламинариевых водорослей. Бухта «Владимир» находится в центре промышленного района, недалеко угольный район и Тетюхе с серебряными и медными рудами, Тетюхе, ожидающая железной дороги, еще не имеющей до сих пор на Приморье.

Богатый опыт Гайла позволил ему найти редкое место для дальнейшего изучения водорослей, где бы можно было поставить правильное и плановое водорослевое хозяйство.

Водоросли — водяные растения — любят прибойные места. Прибойность увеличивает газовый режим воды и понижает температуру; все эти условия необходимы для развития водорослей.

Гайл нашел остров, вокруг которого имеются все степени прибойности. Южная сторона его открыта океану. Днем и ночью в ясную и тихую погоду там всегда кипят веселые волны. Они играют со скалами, забираются в щелочки и углубления и с шумом выливаются обратно. Остров с этой стороны пустынен, мрачен. Гранитные скалы обточены волнами, раскиданы в страшном хаосе, брошены прямо в океан.

Скалы, взнесенные вверх, напоминают грубо изваянные божества Египта. Стены отвесны, и к острову нет подступа. Пустынный гранитный остров особенно мрачен в шторм, — океан ревет, и громадные, чудовища, белоснежные и свирепые, кидаются на остров.

С востока у острова — риф, там тоже всегда кипит вода, но за рифом так тихо и спокойно, как будто это не кусок океана, а большая плавная река.

Этот крохотный остров с девственными зарослями тиса, пробкового дуба, железного дерева, манчжурского клена, японской ели, с папоротниками вышиной в рост человека чудесным образом приспособлен природой для первого в мире водорослевого хозяйства.

### История острова Петрова

Островитяне, встретив гостей, легко идут по огромным камням, они привыкли к ним, и они не будят уже никаких ассоциаций. На самом деле они напоминают громадные камни, оставшиеся после битвы великанов согласно исландским сагам.

За камнями — шиповник. В конце июня на острове Петрова самая пышная, самая нежная весна. Цветут земляника, дикie яблони, желтые крупные лилии и синие ирисы. Крупные пунцовые розы шиповника сильно пахнут. За шиповником — круглый вал. Вал сильно зарос травой и слился с лесом, заполняющим остров. Тысячи лет тому назад здесь была китайская крепость. Может быть, остров тогда еще не оторвался от материка, может быть, это был наблюдательный пункт, и океан, как и теперь, лежал как на ладони, показывая каждую мачту каждого суденышка.

Гайл находил близ вала осколки стрел, писем на камне, черепки. Очевидно тысячи лет тому назад, может быть, в период Яо и Шунь, остров был обитаем.

В 1930 году, во второй год пятилетки, перед хабаровским крайисполкомом было возбуждено ходатайство о передаче ТИРХ (Тихоокеанскому институту рыбного хозяйства) двух островов: острова Петрова и совсем крохотного острова Бельцова, находящегося рядом с о. Петрова.

Крайисполком отдал острова, и со второго года пятилетки остров опять стал обитаем. В этом же году на строительство первой на ДВ научной альгологической станции Дальгосторг отпустил 10 тысяч рублей.

Гайл не стал ждать, когда будет построено жилище. Весной 30-го года он переехал на остров совсем, поставил палатку и начал одновременно и научную работу, и строительство.

В это лето, достопамятное для острова, из водоросли иридея был сварен агар. Ему далеко было до белоснежного, блестящего, упругого японского агара; агар из тихоокеанских водорослей был серого цвета, мало прозрачен и менее упруг.



Остров Петрова. Скала Книпа

В это же лето изучаются бурые и багряные водоросли. Из всех багряных пробуют получить агар. Наконец найден новый вид морской травы для набивки тюфяков и мебели. Свойства ее таковы, что паразиты в ней не заводятся.

Нужно удивляться, когда Гайл успевал работать и строить. На 10.000 рублей ему нужно было создать научную станцию. Но Гайл недаром так любит океан, — океан приносит ему бревна и доски для построек. После шторма в свободную минуту едут ловить лес, — лов бывает очень удачным.

Нужно знать реки Дальнего Востока. Они так бурны, что срывают свои долины, и весь сплавной лес разносится не по назначению. К счастью Приморье теперь обитаемо, и почти везде в новых поселках можно услышать: «Построили сарай, столовую, дом из бревен, подаренных океаном».

### Будни острова Петрова

В 1931 году на острове Петрова — 4 домика. Пятый домик-палатка для гостей заканчивается. Домики утопают

в зарослях тиса, прямо за валом идут тисовые аллеи, тис образует сплошную крышу, и можно под ней прятаться от дождя. Тис цветет, красные шишечки выглядывают из темной зелени, а под окном лаборатории пушится дикая яблоня. Но это неправда, что весна здесь пышная и нежная: она скучна, медлительна, пропитана сыростью океана и жеманна, — любит закутываться в формозские туманы и больше всего дружит с восточным ветром.

На острове, как и всюду на Дальнем Востоке, мало людей: здесь вместе с Гайлом — три научных работника. Но в 1930 году открылся во Владивостоке первый Дальрыбвтуз, и весной 1931 года на остров приехали три студентки-практикантки для неугоминой возни с водорослями, а, кроме того, Москва прислала научного работника для постановки производства агара и одного журналиста. Выходит — всего восемь человек! Рабочие же на острове не удерживаются: скучно!

...В три часа — до солнца это час дня — работы в лабораториях кончаются. Наступают часы отдыха, — по вечерам даже происходит игра в волейбол (сетку пожертвовали рыбаки).

Гайл возится со старым кунгасом, который он выменял на выловленные в море бревна. Если его прошпаклевать и осмолить, можно будет далеко уезжать за водорослями. И вот Гайл сидит на корточках, тихонько пихает паклю в щели и разговаривает с Джеком. Джек, огромная овчарка, любит ездить на лодке.

— Джек, собачка, тебя чушки обидели, чушки поесть не дали!

Джек благодарно виляет хвостом.

Мяч летит — бух! — и прямо в воду. Джек стремительно за ним, мяч пойман, и волейбол продолжается, продолжается и шпаклевка кунгаса.

Гайл, сидящий на корточках у кунгаса, и Джек похожи на Робинзона и Пятницу, но оба они чрезвычайно счастливы.

### Утопия претворяется

Рано утром ездят за водорослями. Какие мощные заросли водорослей вокруг островов! В настоящем году это — действительно настоящий водоросле-

вый заповедник. Второй год не истребляется здесь морская капуста, и как она размножилась. Перевесившись за борт лодки, видишь лес морской капусты, жирные, толстые листья длиной более 2 метров, кажущиеся такими питательными и вкусными!

На острове Петрова впервые будет приступлено к культуре, к разведению подводных плантаций морской капусты.

Водоросли растут круглый год, и надо только суметь приспособиться к ним. Станция острова Петрова стремится использовать морскую капусту целиком, пустить ее не только на иод, но суметь извлечь и другие ценные составные ее части. Морская капуста — очень вкусное и питательное блюдо. Надо победить колючую и вводить ее в нашу советскую кухню. Все эти знаменитые китайские блюда цхо-ю, цхоан-бе-ю не обходятся без морской капусты, и уже сейчас из морской капусты изготавливают желе, цукаты и пр. всего до 20 различных кушаний, не говоря о тех, где капуста служит вкусовой приправой.

Нужна неустанная, творческая научная работа, и океан может подарить еще какое-нибудь чудесное растение. Но ничему в мире не уступит фито-планктон. Фито-планктон — это микроскопические водоросли, самый мощный производитель углеводов на земном шаре. В океане фито-планктоном питаются все рыбы и животные организмы. Каждый кубический метр воды в океане производит в год 200 граммов сухого фито-планктона. Это поистине огромное количество. В Германии предлагали в случае кораблекрушения спасшимся от гибели пассажирам вылавливать платком из океана фито-планктон, высушивать его и есть.

Больше всего фито-планктона в январе и феврале; ловят его шелковой сеткой; его так много, что в сетке остается густая кашка. Состав фито-планктона меняется в зависимости от времени года; зимой и летом он различен. Каждая рыба питается своим видом фито-планктона. Изучая движение фито-планктона, можно изучить и понять движение рыб, потому что каждая рыба идет за своим фито-планктоном. Создав культуру фито-планктона, можно

увеличить количество рыб. Это — ближайшая задача острова Петрова. Но на острове идут еще дальше: если можно разводить фито-планктон для рыб, почему его нельзя разводить и для людей? Почему не использовать для пищи этот чудесный запас углеводов и жиров?

Пространства океана не требуют тракторов для вспашки, семена не нуждаются в протравливании, но зато сколько потребуется пытливого исследовательской работы: как ловить, как сушить, как претворять в пищу! И могут ли все это выполнить три человека? Ведь и студенток через полтора месяца работы забрали под предлогом практики по ихтиологии; их оторвали от занятий с водорослями и отправили на показательный рыбный промысел ТИРХ.

На острове вскрывали желудок иваси, в желудке нашли фито-планктон. Иваси — самая вкусная, самая жирная рыба Тихого океана. Селедка-хищница, она питается маленькими рыбками, но те в свою очередь опять-таки пожирают фито-планктон.

Фито-планктон — насущный хлеб обитателей океана. Если на земле колышатся нивы спелых колосьев, то в океане фито-планктон занимает пространство от поверхности в глубину на 200 метров. Можно подумать, что глубинные рыбы не питаются фито-планктоном. Но это неверно. Мертвый фито-планктон непрерывно — дождем — падает вниз и пожирается придонными рыбами.

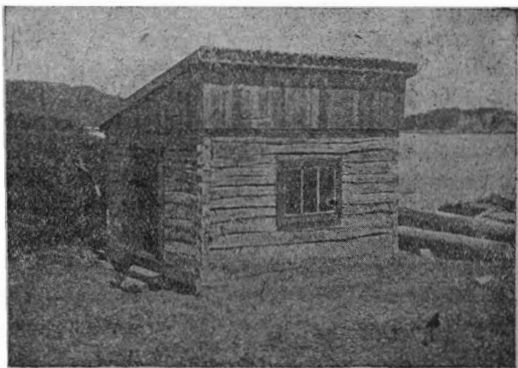
Камбала с двумя глазами на одной стороне, слепой стороной, обращенной ко дну, — пожирательница фито-планктона.

Дождь фито-планктона особенно обилен в местах, где сталкиваются морские течения разных температур: там можно встретить особенно много рыб.

Альгологическая станция на острове Петрова, помимо рационализации промысла морской капусты, способов добывания и обработки, постановки и ведения подводных плантаций, намерена разводить и фито-планктон.

Конечно три человека не в состоянии будут выполнить все эти неслыханные до сих пор задачи, имеющие такое

огромное значение для рыбной промышленности и для эксплуатации богатств океана. Но недаром эти люди в то время, когда остров был еще необитаем, собирали ценнейшие гербарии водорослей Тихого океана. Имеется их здесь до 300 видов, преобладают диатомы. Сборы определялись, изучались срезы водорослей и впоследствии, в химической лаборатории, делали анализы. Осенью 1931 года в Дальрыбвтузе будет введен новый курс морской ботаники, и Гайл, вооруженный прекрасными коллекциями острова Петро-



Химическая лаборатория острова Петрова

ва, будет готовить новые кадры морских ботаников, новых советских альгологов, которых так ждет Приморье — остров Петрова и его водорослевые заповедники.

#### Лов иридеа.

За островом, на юго-западе, опускаются занавески тумана, и одна за другой открываются сопки, кольцом лежащие на материке. Остров Бельцова радостно показывается в голубой воде. Сразу становится жарко.

Джек прыгает по огромным камням, направляясь к лодке, в которую осторожно ставятся жестяные банки для водорослей.

Надо переехать на ту сторону острова, туда, где кипит немолчный прибой и где на скалах обильно растет иридеа. Остров с той стороны, где стоят домики, пологий, покрытый цветущей зеленью, пышной шапкой возвышается над океаном. Заросли тиса, липы, бересты, мелколистный клен, перевитый лиан-

нами дикого винограда, — все это видно из лодки. Лодку сильно качает, и когда от скал отбегает волна, надо спешно рвать иридеа, плотно прикрепленную к скале. На скалах лежат яйца бакланов, черные миниатюрные уточки с белой головкой ныряют на волнах. На камнях живут крохотные черные раковинки, они жадно дышат и хлопают дверцей, закрывая свой домик, когда их берешь в руки. Приходится все время смотреть в воду: там, на водорослях, видна икра, отложенная рыбами, она то желтая, то красная, и водоросли служат колыбелью десяткам цветных икринок. Они укачивают их, отдавая течению океана, и крохотные синие, розовые и белые медузки, как миниатюрные китайские фонарики, качаются вместе с ними. Иридеа — розовая, упругая, с листьями, надутыми воздухом, похожими на диванные подушечки. Иридеа — мелкая водоросль, но ее так много, что она вполне может служить сырьем для производства агара. Океан здесь вечно кипит, и медленные, тяжкие волны отвратительно укачивают лодку. Сердце замирает, голова кружится, и нестерпимо хочется попасть на землю.

## II. Краболовы

Охота к перемене мест  
 Весьма мучительное свойство  
 И многих — добровольный крест.  
 Пушкин.

Зимой на полумертвой океанской глубине держится ровная температура — от 1 до 3 градусов тепла. На земле проходят опустошительные, ледяные ветры, но тихо дышат глубины океана, и зримая жизнь расцветает повсюду: там круглый год растут и множатся водоросли.

Тихоокеанский краб, одетый в панцырь, почти не имеет врагов. Он сидит на дне, правая его клешня крупнее левой. Он насыщается моллюсками — большими и маленькими раковинами. Они дают ему все: жиры, белки, известь для панцыря. Он не брезгает актиниями, пестрыми, как цветы на земле. Приправой к этой животной пище служат донные водоросли.

От берега далеко — пятьдесят кило-

метров, а до поверхности океана — не менее полукилометра. Целые полчища крабов занимают позиции от залива Петра Великого до гавани Декастры, и на Камчатке от мыса Лопатки до 59° сев. широты со странным, неслыханным названием «Палана».

Больше всего любит краб холодную воду, но, когда весной согревается воздух и лучи солнца проходят в океанские глубины, им овладевает безумие.

Он идет к берегам по дну океана со скоростью одного метра в час. Он все время словно поднимается на большую гору, и если снять океанские глубины, то на всем протяжении от залива Петра до гавани Декастры и на Камчатке от мыса Лопатки до Палана неуклонно, как маленькие окованные броней танки, движутся крабы. Самка в три раза меньше самца, ею первой овладевает безумие, и она ползет по дну океана, пробираясь сквозь заросли водорослей, поднимаясь по каменным уступам.

Однажды попался краб с овальной костяной дощечкой, прикрепленной к ноге, и на ней было написано: «Институт рыболовства. Япония». Буква «и», везде перевернута вверх ногами, и «т» в «Япония» сделано из двух «п».

В Японии крабовый промысел запрещен, крабы там охраняются законом, изучаются японскими учеными, — изучается миграция крабов, их размножение, — и крабы окольцовываются, как птицы.

В 1928 году в СССР появились два первых пловучих краболовных судна. Мы их сделали сами и сделали неглохо. Но своей рабсилы у нас не было, так как до сих пор краболовного промысла с переработкой тут же на судне на консервы не существовало.

Рабочую силу получили из Японии.

Все на судне было приспособлено для японцев: вместо коек — цыновки, низенькие столы, табуретки, а главным пищевым запасом был рис.

Японцы работали добросовестно, оплачивались валютой, за жестяные баночки с крабами тоже шла чистая валюта.

В 1929 году работало уже четыре краболовных судна, все с японской рабсилой.



В 1930 году работает 6 краболовов, но картина меняется: у нас появились свои кадры, и только на двух краболовах работают японцы.

В 1931 году японское земельное ведомство запрещает давать рабсилу: краболовы возвращаются из СССР иными! Им не нравится, что синд (старшина) бьет их, им не нравится работать по шестнадцать часов в сутки. Они начинают говорить о культуре, о красном уголке, о разумном отдыхе. Нет, это совершенно лишнее в японском укладе, и краболовы в СССР больше не попадут! Но, как говорится, нет худа без добра. Пришлось понатужиться и в 1931 году снабдить русской рабсилой 8 из 10 краболовов.

\*\*\*

Он, краболов «Коряк», стоит в порту, грузится углем. На пути к нему преодолеваются горы из соли, угля, канатов, экспортного леса.

В июне бывает на Приморье тихие и мягкие дни: ветер с ледяного Охот-

ского моря стихает, туман расходится, и четко возникают вдали бухта, сопки, морские просторы. Вырезанная фестоном и фестончиками, окаймленными голубой водой и небом, переполненная судами, радуется владивостокская бухта «Золотой рог».

Краболову «Коряк» теперь надо бы плавать в Охотском море: льдов нет больше, штормы затихли, и по дну неудержимо и неуклонно движутся безумные крабы.

Но «Коряк» стоит в «Золотом роге», грузится углем, а потом в бухте Улисс будет брать пресную воду,—и все это в середине июня, в разгар краболовья!

Дело в том, что Кработрест работает скверно: он не знает, что промфинплан, после того как он составлен на бумаге, проводится в жизнь. Темпы также не даются Кработресту, — здесь господствуют бюрократизм, волокита, дезорганизованность и головотяпство.

Поэтому-то краболов «Коряк», чудесное краболовное судно, завод в 7 тысяч тонн, с машиной в 2.200 сил, с якорем,



На краболове. Выбирают крабов из сетей

весьшим 6 тысяч английских фунтов, до сих пор не в Охотском море, не на крабовом промысле. Но наконец краболов дрожит от напряжения, огромный вал, идущий из машинного отделения к винту, бешено вращает его,—краболов, преодолевая простанство, идет на промысел.

На краболове 350 человек рабочих завода и 50 человек матросов.

Новый промысел сразу привлек женские силы, до революции не использовавшиеся. На «Коряке» — 122 женщины. Они одеты в штаны, сапоги, головы их выбриты: нехватает пресной воды для мытья тонких девических волос! Однако мужской их облик никого не обманет; в спальне, где одна к другой прикреплены койки, стоят на столе цветы, зеркала, а под столом сидит жеманная кошка. За спальней находится душ и сушилка для белья. Там очень жарко, и белье успевает высохнуть без помехи для других. У мужчин в каюте нет цветов, занавесок и кошки, но чисто везде. Вид у всех цветущий: розовощекие, сытые и жизнерадостные. Объяснение этому: чистые столовые и кухня, где готовятся и едаются сытные обеды и ужины. В прошлом году такой стол обходился рублей 13—15 в месяц, в этом году будет подороже. Девчата необычайно веселы и полны сил.

Ловцы выезжают на кавасаках — на больших моторных лодках с маленькой каюткой внизу. На каждой кавасаке имеется шкипер и моторист. Кавасаки нагружаются диковинными сетями. Ячейка сетей очень крупна; сети ставятся на дно на глубине до 200 метров. Ловцы волнуются: дело в том, что самое ответственное — ставить краболовные сети.

До сих пор это было специальностью японцев, а ловцы «Коряка» уже знают, что в этом году сети ставились из рук вон плохо, вплоть до того, что грузила, небрежно привязанные, отрывались, крабы не попадались, и дорогие импортные японские сетки погибали.

Кавасаки суетливой флотилией окружили «Коряка» — он дымил и стопорил машину, капитан смотрел в бинокль. Но скоро и в бинокль капитана не стало видно кавасак.

Ловцы возвращаются иззябшие, облитые солеными волнами океана. Напряжение так велико, что они долго лежат на койках с закрытыми глазами, а судно, поставленное на якорь, скрипит цепями, качается и все же не может укачать их.

Вахтенные сменились, пробило шесть склянок: «Коряк» умывается и чистится. В машинном отделении вытираются и смазываются маслом части, кое-что ремонтируется тут же, на собственном станке. Каюты подметаются, в кухне варится суп с луком, гречневая каша, а в пекарне пекаря вынимают хлеб с золотыми, поджаренными корочками.

Только в лазарете и в ванной, где все — и двери, и принадлежности — выкрашено в белый цвет, пустынно и тихо: медперсонал спит.

У капитана с утра — толчея. У капитана две комнатки, они уютны и удобны. Капитан моется, захлопывает умывальник и с полотенцем в руках выходит в первую приемную комнату. Обязанности его очень сложны: он капитан, но он же и директор крабового консервного завода, и первый мастер. В его приемной стоит, держась за живот, рослый детина. Капитан понимает сразу.

— Иди к доктору; ко мне приходится незачем.

В дверцах больной сталкивается с другим рабочим.

— Капитан, в городе паши же успел получить, дозвольте сейчас.

Капитан болезненно морщится.

— Ко мне незачем ходить, иди к завхозу.

Капитан садится на маленький диванчик, нервно играя карандашом. Он думает о том, как недисциплинирован коллектив «Коряка», и как все эти люди так еще мало приспособлены для морской жизни. Не легко быть капитаном, но быть к тому же и директором завода — задача еще более сложная.

Но это так, «мысли». А что было в прошлом году на «Тунгусе»? Из 350 рабочих специалистов насчитывалось 25. В числе этих 25 было четыре обыкновенных повара, четверо помбухов и восемь мотористов. Немудрено, что с такими специалистами капитану при-

шлось стать первым мастером консервного завода. И что же—работали правда плохо, хуже японцев, выполнивших план на 100 проц., зато научились и верно в этом году уж не отстанут от японцев.

Капитану становится весело. Он принимает одного за другим посетителей, отдает точные, ясные распоряжения, а потом уходит в каюту штурмана. Штурманская каюта большая, стены ее уставлены полками с лощиями, лощи, как водится, на английском языке. Они разворачивают карты, углубляясь в долготы, широты и прочее.

Перед обедом капитан заходит к радистам, с удовлетворением осматривая три радиостанции «Коряка»: коротковолновую, длинноволновую и аварийную. Все в порядке.

Первая кавасака подходит к пароходу. Сети поднимаются наверх, наваливаются на палубу. Вот она, долгожданная работа, вот он, промфинплан: в сетях, поднимая правую крупную клешню, шевелится валюта.

С крабами обращаются беспощадно: рабочие, наступая одной ногой на брюшко, отрывают ноги и клешни, а круглое забронированное туловище тут же выбрасывается за борт. Капитану, как хозяйственнику, жалко отбросов: в Японии из них готовят тук для удобрения полей и корма птиц. На некоторых японских краболовах рядом с консервным помещается туковый завод, использующий отбросы.

Капитан круто поворачивается и подходит к варочным котлам. После того, как крабов вымыли в деревянных чанах, их варят тут же, на палубе, в больших котлах с морской водой. Сваренный краб поступает на стол к рубильщицам. Они ловко перебрасывают краба одна к другой; рубильщицы и вытряхальщицы сперва вырезают розочку (верхний передний сустав)—самый ценный кусочек краба. Работают опрятно и бережно: девушки несравненно аккуратнее мужчин, и потому советские консервы, приготовленные женщинами, лучше японских, сделанных исключительно мужчинами.

Сваренное вторично—без оболочек—крабовое мясо спускается прямо с па-

лубы вниз—в консервный завод. На заводе его моют опять, и оно ползет по конвейерам к сортировщицам и весовщицам. Сортировщицы сидят у неугомонно ползущего конвейера, раскладывая мясо по сортам.

К упаковщицам идут три конвейера. Девушка ловко снимает тарелочку крабового мяса с верхнего конвейера и не менее ловко опрокидывает ее в баночку, услужливо поданную ей другим конвейером. Все это делается мгновенно. Баночка выстлана пергаментной бумагой. Пустая тарелочка ставится на тре-



Пойманные крабы на берегу

тий конвейер, и он поспешно увозит ее в мойку, чтобы потом опять подать сортировщицам.

Приходит очередь машин. Круглая баночка с пергаментом, закрывшим розочку и лапшу, поступает в первую закатку, оттуда конвейер направляет ее в вакуум-аппарат: он высасывает воздух, чтобы баночка легко могла войти во вторую закатку. Вот она готова, плотно укупорена, и ей не страшно пойти в темное, жаркое нутро автоклава. В автоклав идет одновременно 12½ ящиков. Здесь баночки задерживаются час: внутри автоклава все кипит и шумит, при чем аппарат сам контролирует и себя, и рабочего, — стрелка указывает давление, «температуру», контролер записывает, и недобросовестному рабочему деваться некуда: сразу обнаруживается ошибка, недосмотр, халатность. Нужна определенная температура, давление, иначе—брак.

Распаренные вышли баночки из автоклава, но путь их еще не кончен. Те-

перь очередь музыканта,—этот рабочий действительно похож на музыканта с безукоризненным слухом, — металлической палочкой, с шариком на конце, он стучает по баночкам, и чем однообразнее, однотипнее мелодия, тем довольнее лицо мастера-музыканта. Если в баночке остался воздух или переложено, или не доложено мясо, звук получается иной, и банка беспощадно идет в брак.

Краболов работает почти полгода: с конца апреля до середины сентября. Японские краболовы, работающие согласно договорам в наших водах, уходят после 16 августа.

Краб не любит теплой воды. В августе на Тихом океане жаркое лето: туманы исчезают, и океан блестит в избыточных лучах солнца, а вода делается теплее. Безумие кончается, теплеющая вода противна, и краб уходит обратно на морские глубины. С каждым днем их становится меньше, и японцы правы, что уходят. Но советские краболовы тоже правы: каждый лишний день означает лишнюю валюту; пусть 20 ящиков крабовых консервов в день, пусть 10 ящиков.

Капитан стоит с записной книжкой. Десять тысяч ящиков должен выпробовать за сезон пловучий консервный завод, в ящике 96 баночек. Капитан знает: краболовы с японской силой изготовляли в разгар работы 250 ящиков в день, русские рабочие до сих пор не могли превзойти их,—более 200 ящиков в день сделать не могли.

Что будет в этом году? Капитан отмахивается от объективных причин: энергичный, не знающий усталости, он не хочет думать о штормах, тумане, о плохом ходе краба. Он знает—у него 25 проц. комсомольцев, рвущихся работать и до крайности возмущенных затянувшимся ремонтом и неполадками на судне, задержавшими их выход. На судне началось соревнование и ударничество.

Капитан спускается по стальным отвесным лестницам в машинное отделение. Какое оно сложное и могучее, это сердце парохода!

Четвертый младший механик—секретарь судовой ячейки, он вымазан в масле, и пот грязными каплями стекает по лицу. Капитан пришел поговорить с ним. «Коряк» скоро снимается с яко-

ря,—и наступит страдная пора краболовов! Теперь они будут работать иногда круглые сутки, в зависимости от количества пойманных крабов,—летомдохнуть некогда. Культурная работа летом невозможна, но тем нужнее она зимой. Зимой на Русском острове, в 10 километрах от Владивостока, живут сезонники-краболовы. Помещений нехватает, дома разваливаются, не отапливаются, общественного питания нет; положение незавидное — и краболовы убегают. Каждой весной краболовные организации маются с рабсилой.

Полгода выдерживают люди работу на краболове, переносят штормы, туманы, ненастье, работают и день, и ночь, но жизни на Русском острове выдержать не могут. Об этом надо подумать и, создавая квалифицированную силу нового промысла, необходимо улучшить жизненные и бытовые условия.

В трюме лежат ящики с готовыми консервами. Баночки отлакированы и дожидаются только одежды—кремовой блестящей бумаги, плотно пригнанной к стенкам.

На палубе, за варочными котлами, шутят забайкальцы. Они говорят, напирая на «о», и все, как один, брезгают крабом, сравнивая его со своим омулем — Пожирней омуль-то.

— Повкусней и не поганый.

Краболовы, за исключением наварбанных новичков-забайкальцев, увлекаются крабом. Первые дни едят крабов и на обед, и на ужин. Краб, сваренный в соленой воде, вкуснее экспортных консервов. Но быстро надоедает крабовое блюдо, и краб изгоняется из кухни.

«Коряк» снимается с якоря, лебедка с грохотом тащит якорные цепи.

— Полный ход!—слышен голос капитана, пловучий завод, неустанно работающий день и ночь, трогается в путь.

На месте, где стоял «Коряк», плавают огромные — синие, лиловые, золотые — морские звезды. Хищники океана приплыли полакомиться падалью — крабовыми брюхами, сброшенными с корабля.

«Коряк» идет полным ходом навстречу ветру и синим тучам. Соленые брызги долетают до работающих у котлов.

— Зачинатся, — шепчут забайкальцы. — зачинатся смертный кач.

## 4. БЫВШАЯ ЛУПИЛОВКА

(По кустарному району)

П. Парфенов

По бумагам, Лупилова уж больше пяти лет значится деревней Красный Союз, но к этому новому названию не привыкли даже сами ее жители, и до сих пор они говорят про себя: мы — лупиловские, совсем не подозревая, как много позорного и крепостнического звучит в этом слове. Настолько сильна и крепка здесь привычка.

Очень много лет назад на месте теперешней Лупиловки была только скромная охотничья сторожка, куда важный боярин и князь Путятин изредка заглядывал во время большой охоты на медведей; его угощали тут жбаном душистого липового меда, ему приготавливали тут постель из шкур диких зверей.

Внук этого князя попал в опалу при Петре I, был сослан на жительство в свою отдаленную деревеньку Путятинку, которая находилась в четырех верстах от лесной охотничьей сторожки и теперь называется селом Путятино, а вместо скромной сторожки через некоторое время завел большой псовый питомник, косяк охотничьих лошадей и наездников. Когда ему наскучила лесная поэзия, стал он забавляться травлей крепостных, сгоняя их сюда за мелкие проступки и просто по капризу со всех многочисленных своих поместий. Отсюда и получила Лупиловка свое символическое название — от слов: лупить, травить, драть, пороть!

От князя Путятина Лупиловка перешла по наследству к графу Апраксину, от графа — к генералу Аверькову, от генерала — к графу Коновницкому, а от последнего — к разным купцам: Чернышевым, Аксеновым и др., которые, всякий по-своему, тоже оставили на лупиловцах следы своего воздействия и соседства, не менее хищнического и жестокого.

К началу империалистической войны Лупиловка наконец совсем осталась «без барина», соседние земли все оказались в руках мелких хуторян, купцов и кулаков, и поэтому, когда началась

Октябрьская революция, а вместе с нею повсеместная прирезка земли, лупиловцы заявили свои права на поместья Коновницкина и целую неделю сражались за них, имея убитых и раненых, с соседними мужиками, но были побеждены; те с графом жили по соседству и поделили землю между собою без свидетелей. Теперь в Лупиловке имеется девяносто дворов, сельсовет, школа, избачитальня, контора и правление старинной артели по выделке куля.

Дворов в Лупиловке было бы несомненно больше, если бы могучие вековые липы и дубы, которые раньше вырастали здесь в таком изобилии, не были давно вырублены, если бы лупиловскую землю не заносило зыбучим песком. Уже с давних времен земля, освобожденная от леса, перестала кормить лупиловских жителей, и поэтому лупиловцы говорят:

— Наших где только нет! И на Тереке, и в Семиреках, и в Сибири, и в Закаспийском краю, и на фабриках, и на заводах. Везде есть наши, лупиловские!

Несомненно давно разбежались бы отсюда и все остальные лупиловцы, как разбежались многие соседние деревни, если бы Лупиловка не знала своего ремесла — выделки кулей. Только по этой причине, несмотря на малоземелье и зыбучий песок, Лупиловка живет и развивается, и не только развивается, но является деревней весьма известной: на соседних, путятинских, базарах лупиловских баб узнает даже гордый потребиловский приказчик. Лупиловка имеет свою, лупиловскую, промышленность, и называется эта промышленность лупиловской рогожей.

\*\*\*

За долголетнее свое существование лупиловский рогожный промысел не мало пережил невзгод, воздействий и влияний, расцвета и упадка, и к началу

войны, когда на куль—и хлебный, и соляной, и рыбный—появился очень большой спрос, к нему подобрался ловкий и опытный предприниматель, купец Чуев. Тацкие рогожные станки появились в каждой избе, работали на них день и ночь, и работали не только взрослые мужчины и женщины, но и подростки, и дети. В такой же мере загружены были выделкой рогожи две соседних деревни,—Екатериновка и Сергеевка,—с той только разницей, что весной и летом они работали на земле, а лупиловские занимались этим производством круглый год.

На лупиловском пустыре, на том месте, где когда-то находилась огороженная высоким частоколом огромная барская конюшня, Чуев выстроил вместительные сараи, амбары, контору и дом для приказчиков. На ближайшую железнодорожную станцию уездное земство под его давлением проложило вымощенную щебнем широкую шоссеюную дорогу, а на Шиловской пристани Чуевым был посажен постоянный агент по сбыту товара и приему сырья.

Тринадцатый год был самым высоким в рогожном производстве. За этот год лупиловские и соседние кустари превратили в рогожу свыше 80.000 пудов сырья и сдали купцу Чуеву больше миллиона разных кулей.

Когда началась война и в солдатские шинели были одеты все годные мужчины, выделка рогожи снизилась почти наполовину: работали одни женщины, старики и дети. Чуев добивался, чтобы кустарям дана была отсрочка по мобилизации, но, несмотря на то, что рогожа почти полностью поступала на нужды военного ведомства и от интендантства в Лупиловке жил специальный приемщик, отсрочки кустарям не дали, хотя и было признано, что работают они на оборону; получили такую отсрочку только сыновья и племянники самого Чуева. Когда началась гражданская война и общая голодовка, производство рогожных кулей совсем прекратилось.

Лупиловка совсем захирела, совсем срослась с землей, хотя земля эта, как и раньше, кормила ее очень плохо. В огромных чуевских сараях и амбарах от голода подошли даже крысы, а под карнизом опустелого чуевского дома

быстрокрылые ласточки начали разводить птенцов.

Здесьние мужики отличались в те годы от других только тем, что они первые, по своей непосредственной инициативе, твердо установили, что ходить в Москву пешком гораздо выгодней, чем ездить по железной дороге, потому что при «хорошей ходьбе» все триста с лишним верст можно пройти за неделю. Лупиловские же столетние старухи отличались от других тем, что отслужив панихиду по умершему в революцию соседнему барину.

Так жила Лупиловка почти до самого двадцать третьего года, перебиваясь с хлеба на квас, с кваса на воду, с воды на тюрю и проклиная тот день, когда мать у плетня на соломе показала лупиловцам божий свет.

Но в конце этого года в Лупиловку возвратился из Красной армии боевой командир и коммунист Филипп Александриков.

Началось с того, что Филипп Александриков на первом же сходе поставил перед земляками вопрос: хотят ли они взяться опять за выделку рогожи? И лупиловцы конечно не только все согласились, но единодушно выбрали Александрикова своим уполномоченным и послали его ходатайствовать в город о кредитах, о сырье и прочих нужных вещах.

Филипп Александрович с'ездил в город и раз, и два и наконец при помощи своей краснокомандирской настойчивости договорился с кустарным союзом, чтобы нагрузить лупиловцев работой. Написал даже докладную записку, доказывая в ней, что мешок из рогожи значительно выгодней делать, нежели из полотна. Инструктор союза организовал в Лупиловке артель, председателем которой был избран Александриков, помог артели получить небольшой кредит, закупить сырье и необходимое оборудование. И артель приступила к работе.

Ткать рогожу — работа очень нелегкая, особенно для тех, кто стоит на биле и у челнока. Платит союз за эту работу больше, чем платил купец Чуев, но все же, чтобы выработать достаточное средств на семью, надо выстоять у станка и день и ночь.

И тем не менее лупиловцы сразу ожили. Возврат к привычному ремеслу показался им великим счастьем. Для того, чтобы заработать больше, они становятся к ткацкому станку всей семьей. И конечно такими усиленными темпами увеличивают свой заработок значительно. Есть семьи, которые вырабатывают в месяц сотню рублей.

Сначала лупиловцы работали в одиночку, надрывая силы, чтобы только не делить свою работу с другими деревнями. Но когда они наконец наелись хлеба до-сыта, а нагрузку союз все увеличивал, так как спрос на рогожу и куль все рос, лупиловцы предложили екатериновским, а еще год спустя и сергеевским кустарям вступить к ним в артель.

Теперь лупиловская артель объединяет три деревни, в состав ее членов входит больше двухсот дворов, при чем сами лупиловцы состоят членами все без исключения. Продукция артели равняется почти миллиону кулей в год и на подвоз сырья из районного центра Шилово и других мест часто нехватает лошадей у артельщиков,—их приходится нанимать в ближайших деревнях.

Теперь лупиловцы крепко стоят на ногах. О хлебе насущном они уже больше головы не ломают. В избах у кустарей можно встретить городское печенье, баранки, рыбу и консервы. Многие бабы обзавелись шубами и шальями; ребята ходят—и не только в праздничные дни—в ситцевых рубахах; на многих мужчинах появились или валенки, или кожаные сапоги. А семьи лупиловцев нет-нет, да и лакомятся в щах кусками жирной свинины. И поэтому лупиловцам все завидуют, даже путятинские. Когда спрашиваешь соседних кустарей: «Ну, как живете-можете?»—они неизменно отвечают: «Мы плоховато живем, а вон лупиловские, те все в буржуев превратились: мясо по будням жрут, наш мясник только на лупиловских теперь и работает. Вот подвалило людям счастье? Поди ж ты!»

Вот почему, когда сомовский мужик даже после вступления в колхоз, иногда вдается в резкую «критику», а лупиловец всегда ему возражает, то сомовец обрывает его многозначительно:

— Тебе хорошо рассуждать! Ты мо-

сая отстоял у челнока, у тебя и деньги в кармане. Да баба твоя столько же работает. Да и мальчонка, смотришь, пятерик занадевает. Ты скоро в тулуп оденешься! А каково нам? У нас нет своей промышленности. Обуваться, одеваться надо. Да и щец похлебать хочется. А ты еще рассуждаешь!

Под влиянием лупиловских кустарей изменились даже порядки на ближайшем путятинском базаре.

Площадь базарная с базарными весами и территорией долгое время сдавалась в аренду частному предпринимателю, здоровенному детине в поддевке со сборками. Платил он арендной платы в год две тысячи, а сам выколачивал с мужиков десятки тысяч, взыскивая плату за каждую телегу, за каждую корзину, за каждую мелочь.

Лупиловцы первыми отказались подчиняться таким правилам и заставили районный исполком расторгнуть договор с арендатором.

А бойкие лупиловские девки до сих пор поют:

Пошла с мылым на базар,

Купила там сласти.

Арендатору миленок

Дал по задней части...

Правление и контора лупиловской артели помещаются в том самом доме, который выстроил купец Чуев. Под сырье и товар артель использует бывшие чуевские сараи и амбары.

— Как будто знали мы, что постройки нам еще пригодятся! Сколько, бывало, приходилось мерзнуть зимой, а на них рука все-таки не подымалась. А теперь даже мосоловские нам завидуют,—говорит Александриков, гордый тем; что лучшая в Советском Союзе мосоловская артель прислала к ним свою бригаду, и та осталась довольна лупиловской работой.

— У них правда электричество в каждой избе, но приедем остановиться негде, а у нас для гостей—хоромы целые!—добавляет он, показывая артельные служебные помещения.

На всю бывшую Рязанскую губернию имеются, кроме лупиловской, еще только две артели, которые занимаются выделкой рогожи: тумская и мосоловская. С последней Александриков хорошо знаком, ездил туда не раз, и недавно лю-

его инициативе мосоловцы были вызваны на социалистическое соревнование.

— Я уверен, что мы их обгоним, хотя работают у нас при керосиновых копилках. Но артельщики наши ловчее и к производству с большим рвением относятся. Обязательно обгоним. Вот увидите!—уверенно и горячо заявляет он.

— Кроме того, у нас аппарат меньше. У меня всего сотрудников—приемщик, счетовод и сторож, а у мосоловских—три платных члена правления да служащих девятнадцать, вырабатывают же они только три миллиона, — говорит Александриков, размахивая правой рукой и, как бы для большей убедительности, застегивая на все пуговицы свой скромный потертый пиджак.

Но и у Александрикова есть заботы. Слабо обстоит дело с общественной работой. Не всегда во-время и в достаточном количестве артельщикам выдается керосин. С частыми перебоями поступает сырье для артели, и это его огорчает больше всего.

— Как вы думаете? Не могут нас совсем лишить сырья? Ведь в сущности производство наше не такое уж сложное, и найдется наконец какой-нибудь разумный человек, который сообразит, что куль гораздо выгодней выделывать на месте, чем возить мочало за тысячу верст,—спрашивает он.

Однако в панику от этого обстоятельства Александриков несколько не впадает. На случай прекращения рогожного производства он уже придумал выход и составил план развития в своем районе крахмало-паточной промышленности.

— В наших песках хорошо растет картошка, особенно если их немного посыпать суперфосфатом. Но картошкой жить можно только в том случае, если ее на месте перерабатывать в крахмал и патоку и употреблять на откорм свиней. Поэтому я предлагаю: дать нам средства на восстановление старых крахмало-паточных заводов и на строительство новых заводов, бэконных. Мы создадим здесь особый промколхоз. Мы разовьем такое дело, которым можно будет похвастаться даже за границей,—горячо говорит он.

Александриков является членом бюро путятинской ячейки, к которой он

прикреплен в виду отсутствия ячейки в своей деревне. Ответственный секретарь этой ячейки товарищ Серебряков говорит мне:

— Лупиловскими вопросами мы занимаемся сейчас больше, чем путятинскими. Александриков задумал построить у себя целый промышленный комбинат и, признаться, увлек многих наших ребят. По лупиловским вопросам у нас работают и комиссии, и подкомиссии. Мы в райкоме доклад делали, а в Москву думаем специальную делегацию посылать. Вырабатывать крахмал и патоку и разводить свиней в массовом масштабе у нас имеется так много охотников, что если мы получим хоть малую поддержку, я за успех ручаюсь головой.

\*\*\*

Когда лупиловские кустари наелись досыта хлеба и вообще улучшили свое материальное состояние, у них появился интерес к просвещению, к разумным развлечениям, к здоровым играм.

Раньше у единственной лупиловской учительницы Доминики Тарасовой, очень энергичной и развитой женщины, опускались руки при занятиях в школе, потому что целыми неделями школа была неоплеменной, ребята в ней костенели от холода, нагреваясь лишь в том случае, когда им удавалось наворовать дров или разломать ближайший плетень. Кроме того, в школу многие ребята приходили голодными и выпрашивали у своей учительницы куски черного хлеба, хотя сама она жила на очень скромное жалование, выплачиваемое с большими задержками. В такой обстановке Тарасовой не только трудно было проводить в жизнь комплексный метод обучения, но и вообще думать о работе в школе, когда зуб на зуб не попадал от мороза и горьких раздумий.

Теперь все изменилось. В школе стало тепло—сельсовет сам привозит дрова; в школе стало светло, потому что сделаны вторые рамы, и первые не обмерзают; в школе появились учебники и пособия, потому что правление артели дало на это деньги; в школе стало больше порядка, так как приглашена вторая учительница, и Тарасовой уж больше не приходится заниматься кормежкой своих учеников. Теперь стало возможно не



только учиться по комплексному методу, но даже обогащать это полезное нововведение местным практическим опытом.

И одно только огорчает теперь Доминику Тарасову, что кустары не все и не, всегда отпускают своих ребят в школу, заставляя их вместо учебы надевать берду, окраивать рогожу, нянчить меньших и т. д. Но она твердо надеется, что скоро школа охватит всех детей—кустары все больше начинают понимать и чувствовать пользу грамотности.

Газеты лупиловские кустары читают больше, чем екатериновские: почти на каждые пять дворов выписывается одна газета или журнал. Лупиловца очень часто можно встретить в избе-читальне и в путятинском народном доме, где имеется неплохая физкультурная площадка, на которой устраиваются иногда междудеревенские состязания.

Правда лупиловцы не отвыкли еще и от своего старинного развлечения—массового кулачного боя, но за последние годы выступить против них находится мало охотников, а между собой они дерутся редко.

Между Лупиловкой и Путятиным имеется речка, а на ней выстроен большой казенный мост, который давно требует ремонта. Но так как маленькая Лупиловка благодаря своему ремеслу стала более известной, чем большое Путятино, то всякий проезжий говорит: «Я сломал себе ребро на лупиловском мосту!» А сломать ребро на нем очень просто: перил у моста нет, они давно сломаны, а есть крутые скаты в речку, мчновать которые удастся только отдельным ловкачам и счастливчикам.

Раньше путятинский сельсовет хотел поправить этот мост и даже установил, что ремонт обойдется ему в тысячу пятьсот рублей. Но когда Лупиловка разбогатела, путятинский сельсовет отказался.

— Пусть ремонтируют лупиловские! Они живут богаче нас. Им сделать это—пара пустяков, а нам особую раскладку придется производить,—говорят путятинцы.

Но лупиловский сельсовет за свой счет отремонтировать мост не желает, ссылаясь, и не без основания, на то,

что ездят по мосту по меньшей мере три района, а они, лупиловцы, больше ходят пешком.

Так и стоит этот мост без перил. И стоять без ремонта будет очевидно до тех пор, пока на нем не сломает ребро сам заведующий областным дорожным отделом, в ведении которого мост этот находится.

\*\*\*

Уезжал я из Лупиловки в ясный праздничный день. Навстречу мне по широкой лупиловский улице шло много ребят и девиц. Они весело смеялись, толкали друг друга в песок, сыпали картофельный сухмень за шею. Лица у большинства были задорные, глаза блестящие, щеки горели.

На меня эта молодежь совсем не обратила внимания, но мне подумалось: — Там, где смеются, живется не скучно.

И как бы в доказательство того, что мысль моя верна, что это так и есть, большая двухрядная гармонь в руках одного из ребят заиграла шумную срывистую мелодию, а румяная и высокая девица в дубленой шубе звонко запела:

Эх, вы, лапти мои,  
Лапти липовые!  
Сколько с милым в них гуляла,  
Да поскрипывала!  
А потом с миленьком я  
На завод уехала.  
И оттуда в башмаках  
Побывать приехала.

На обратном пути я задержался в районном центре, чтобы поделиться впечатлениями и результатами поездки с местными работниками.

День был будничным, не базарный, у госспиртовского магазина совершенно отсутствовала очередь и наблюдалась примерная тишина; в районном исполкоме и в райкоме партии также никто не нарушал обычного порядка.

Только по длинным шиловским улицам часто громыхали тяжелые платформы-автомобили, нагруженные всевозможным строительным материалом, да на отдаленной и недавно пустынной площадке слышался постоянный скрип дерева и падение кирпича: там происходила неумолчная стройка капитальных зданий для конторы и жилищ местного плодОВОЩНОГО совхоза.

Ответственный секретарь райкома был в отъезде по служебным делам, и в секретарском кабинете меня встретил волосатый шатен в помятом защитном пиджаке.

Мы беседовали больше часа. Я познакомил товарища со своими впечатлениями, получил от него благодарность за информацию и в свою очередь поинтересовался его мнением по ряду вопросов.

Заместитель секретаря охотно рассказал мне о том, что в работе по укреплению старых и по организации новых колхозов имеется заметное улучшение, кампания по хлебозаготовкам также укладывалась теперь в плановые наметки, но обнаруживался новый и серьезный прорыв: нехватало тары, не в чем было вывозить хлеб из глубинных пунктов.

Последнее обстоятельство меня крайне удивило.

— Позвольте.—спросил я,—вы когда-нибудь заслушивали доклад лупиловской рогожной артели?

— Нет.

— Вы не знаете, что эта артель изготавливает главным образом хлебные кули и отправляет их по нарядам Кустпромсоюза в Самару и Сызрань?

— Нет.

— И вам неизвестно, что направлять работу этой артели и отвечать за нее прежде всего должен шиловский райком?

— Это известно конечно, но лупиловцы до сих пор связаны непосредственно с Рязанью и к сожалению как-то выпали из-под наших взоров. У нас же такая уйма другой работы, более актуальной и ответственной, что заниматься

ими никак не доходила очередь. Живут они, делают кули, ну и отлично!—ответил он спокойно и, казалось, равнодушно, совершенно не задумываясь над тем, что такое пренебрежительное отношение к лупиловским рогожникам имеет непосредственную связь с прорывом на хлебозаготовительном фронте.

Из этого конкретного факта мне стало ясно, что заместитель ответственного секретаря недооценивает значение и роль кустарно-промысловой кооперации, несмотря даже на то, что из-за такой недооценки срывается работа на других участках.

Мне пришлось употребить много сильных выражений, чтобы доказать этому товарищу оппортунистическую природу подобного отношения, к делу и нуждам своего района.

Он был крайне смущен, однако не сдавался, оправдываясь тем, что для работы с кустарями у райкома совершенно нет людей.

— Пусть Всесоюзпромсоюз пришлет к нам на постоянную работу хотя бы двух-трех своих опытных сотрудников! Мы согласны будем предоставить им всю инициативу в этом деле. Но без такой помощи нам трудно охватить полностью работу с кустарями,—сказал он в заключение.

Шиловский район безусловно нуждается не только в хороших, опытных кооператорах-промысловиках, но и в подкреплении выдержанными партийными работниками, которые сумели бы активизировать все участки большой и сложной местной работы и связать их с общей идеей социалистического строительства.

# Литература и искусство

1. КОРНЕЛИЙ ЗЕЛИНСКИЙ — Творческий путь Ромэна Роллана. 2. М. ЗЕНКЕВИЧ. — О повинках английской и американской лагературы. 3. ИНН ОКСЕНОВ. О Прологах В. Каверина. 4. К. ЛОКС. — Книга о Стендале.

## 1. ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ РОМЭНА РОЛЛАНА

### Корнелий Зелинский

Для того, чтобы излучать солнце на других, надо носить его в себе.

*Жан-Кристоф, т. IX.*

Он пока не участвует в наших литературных дискуссиях. Но он все же вошел в нашу жизнь «весомо и зримо». Все чаще появляются его статьи в наших газетах: и в «Литературной», и даже — в «Правде». Начали выходить томы его полного собрания сочинений, первого собрания сочинений Роллана не только в СССР, но и во всем мире. Все чаще глядит на нас с этих страниц тонкий облик поэта. Какие идеи таятся за этой мягкой внешностью? Как отразилось общее, социальное в этих личных чертах? Облик типичного интеллигента. Роллан «исповедуется», мятежится, призывает, он живет какой-то сложной и вместе с тем мучительной жизнью на глазах у всех. Свои духовные боренья он сделал достоянием мира, всех людей. Он приглашает принять в них участие. Он жалуется, обвиняет и протестует. В чем? За что и кого? Он произносит свое «прощанье с прошлым», но оно неведомо, а то и непонятно большинству из нас. Он зовет к всемирному братскому будущему в своем «Кристофе», но его будущее кажется нам наивной картинкой, прекраснодушными мечтаниями взрослого ребенка. Его слова, такие непохожие на наши, — эти апокалиптические видения с

большой буквы: Сила, Добро, Совесть, Человечество, Родина, Революция, — кажутся нам не то раскрашенными щитами, театральной декорацией буржуазии, не то одинокими буями, которые качаются на месте давно погибших кораблей. Кто он: Прометей, распятый капиталистической культурой, или Дон-Кихот? Есть что-то одновременно трагическое и смешное в этой одинокой фигуре, так своеобразно выделяющейся на нашем фоне.

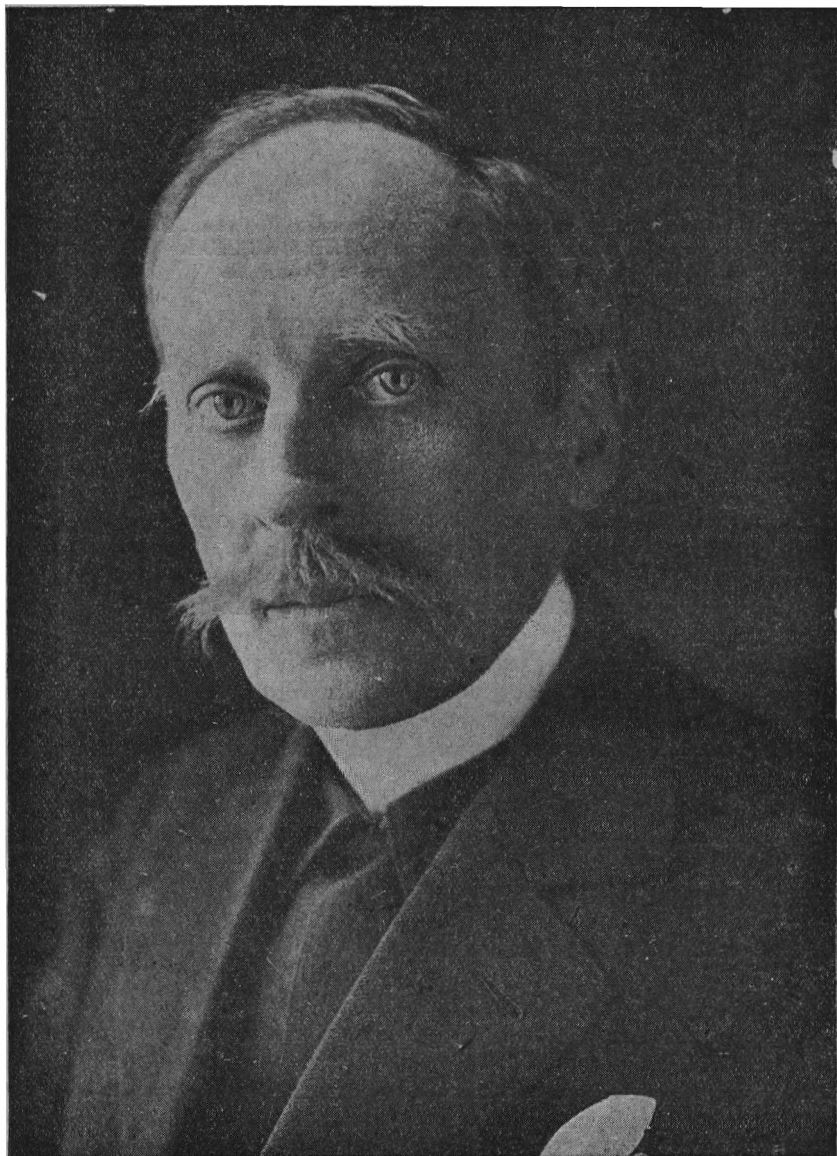
— Чего мы занимаемся этим интеллигентом с его алхимией души? — скажет какой-нибудь нетерпеливый читатель, натолкнувшийся в заводской библиотеке на темы Ромэна Роллана.

И вместе с тем первые книги, которые стал издавать в 1918—19 году победивший пролетариат, — это было в «Издагелстве петроградского совдепа», — были наравне с Лениным, Марксом, Энгельсом, Лафаргом, Либкнехтом, Жюлем Гэдом, Мериингом, Луначарским, Горьким — книги Ромэна Роллана. «Он наш, он наш союзник» — обозначало это внимание. Он не «с ними», с буржуазией? Почему же он с нами? Каким образом? В чем сущность деятельности его? Почему это верно и теперь, через десятилетие (и какое десятилетие!)?



Чтобы понять все это, надо сначала перенести образ Роллана из нашей обстановки, где он кажется таким «не-

одного современного писателя личная жизнь не переплелась до такой степени с деятельностью литературной, где искусство, мысль, мораль, быт составляют одно слитное целое... «Для меня,—писал



Ромэн Роллан

здешним цветом», в тот мир, откуда вышел он и над которым поднялся этической вершиной, к которой тянутся «чистые сердца и умы» мелкобуржуазной интеллигенции со всех концов накаленной планеты. Ни у

М. Горький,—Р: Роллан уже давно Лев Толстой Франции, но Толстой без ненависти к разуму, без этой страшной ненависти, которая была для русского рационалиста источником его великих страданий и так жестоко мешала ему

остаться гениальным художником». Действительно, не только широта творческого жеста настоящего большого художника, но и необычайная напряженность нравственного начала роднит Роллана с Толстым.

«Не словами один человек влияет на другого, а личностью своей. Кристоф изучал жизнь. Она медленно, тихо проникла, как весеннее тепло, сквозь старые стены и закрытые окна омертвевшего дома. Велика власть душ над душами» («Дома»). Эти слова Роллана о своем герое можно полностью отнести к их автору—властителю умов мелкобуржуазной интеллигенции Европы.

Я хочу представить себе Роллана в его швейцарском отшельничестве в Вильневе, на фоне этого нового Фарнезе. Или таким, каким он изображен на фотографии, присланной им самим, на балконе своей скромной квартиры на улице Буассоннад в Париже. Сзади шумят монастырские сады, дальше площадь Данфер-Рошферо. Тихий, крайний уголок Монпарнасса, дорогой и для нас, потому что там, совсем рядом, на маленькой улочке Мари-Роз, жила Ленин, там был центр парижской колонии русской революционной эмиграции. Всегда в уединении среди этой «Ярмарки на площади», одинокий среди толп, переливающихся на улицах и бульварах, чужой в модных литературных салонах, Роллан в своей уставленной одними книгами комнатке на пятом этаже (которую он тоже увековечил в «Кристофе», т. VII) год за годом в безвестности создавал свой жизненный труд, потом окруживший его имя мировой славой. Биография философа-полуотшельника, заманчивая для тех, кто носится со своей душой, как курица с яйцом.

Он вышел из буржуазии, чтобы притти к пролетариату. Он искал правду для всего человечества и нашел, что настоящая правда есть правда одного класса. И этот класс есть класс рабочих. И адрес этой правды — Советский Союз. Таковы слова, к которым пришел Роллан, пришел уже на склоне жизни, выстрадав, выболев их всем существом своим. Правда они, эти слова, еще робки, не полны, лишены классовой законченности. Роллан произ-

нес их, как бы и идеологически зажмурившись. Но они бросают знаменательный ответ на все прошлое его, они дают жовый ключ для понимания процессов, совершающихся в лучших слоях европейской интеллигенции. Они ярчайше иллюстрируют тезисы Ленина о том, что у интеллигенции нет другого пути, кроме пути вместе с пролетариатом, что все иное ведет к духовному вырождению, культурному бездорожью. И далее в стан фашизма, в лагерь прямых союзников буржуазии, на путь прямой классовой борьбы с пролетариатом. И Ромэн Роллан является сейсмографом, улавливающим «тектонические» изменения, совершающиеся в этих слоях.

Долог и, кажется нам, медленен был этот путь. В своем письме к Горькому, присланном в виде приветствия к его приезду в Москву (см. «Литгазету» от 15 мая), Р. Роллан пишет, что они оба встретились у одного источника, но он, Роллан, вышел из буржуазии и потому ему труднее было «пробиться к народу». (Отметим здесь в скобках фразеологию Роллана, к которой мы еще вернемся.) Поколение той интеллигенции, представителем которой является Роллан, стало «старую Европу» в переломную, решающую для нее эпоху, в эпоху грандиозных войн, распада капитализма и выхода на арену нового класса. В сущности каждая дата творческой биографии Роллана связана с историей последнего полувека, с историей европейской буржуазной интеллигенции. Роллан не может быть понят вне этих процессов загнивания капитализма. Рассказ о Роллане должен переходить в историю общественных движений во Франции и лишь в свете диалектики классовой борьбы и противоречий развития его социального слоя становится ясен и творческий путь Роллана. Мы возьмем эту сторону только в ее общих классовых контурах, поскольку это необходимо для понимания личного Роллана.

И здесь мы встречаемся с характерным для Запада явлением—тема исторической преемственности культуры становится для известной части мелкобуржуазной интеллигенции узлом, вокруг которого в субъективном смысле завязываются все ее социальные, фило-

софские и этические интересы. Куда деваться с писанной торбой «вечной культуры»? Идеино страшно и постыдно морально оставаться интеллигенту с капитализмом. Но что несет революция? Может быть, это «новый гунн»? Перед этим призраком сжимается сердце Гейне, и призывом отчаяния его встречает Брюсов. Творческая биография Ромэна Роллана — это типичная история попыток буржуазного интеллигента решить проблему исторической преемственности культуры, идеино оставаясь на философских позициях своего класса, попыток, закономерно приводивших к крушениям, наконец к «романтическому» признанию правды пролетариата. В сущности социальный утопизм и делается главной решающей темой всей жизни и творчества Роллана.

Сын нотариуса из маленького французского городка Кламеси в округе Ниверне (Ромэн Роллан родился 29/1—1866 г.), он получает самое изысканное, тщательное образование, какое только могли получить дети обеспеченной верхушки. В лицее Людовика Великого молодой Роллан близко сходитися с Полем Клоделем (впоследствии знаменитым по этому «для избранных», полумистиком, ныне послом Франции в Вашингтоне и одним из «бессмертных» членов Академии наук). Стефан Цвейг пишет в своей статье о Роллане, что «одна индивидуальная черта сразу наметила его будущую роль связующего, всеобъемлющего, европейского человека — склонность к музыке. Тот, кто предрасположен к музыке в глубочайших своих недрах, тот обладает глубоко затаенной и неиссякаемо изливающейся жадной гармонией». Но не это, разумеется, сделало Роллана «европейским человеком». Роллан ведет мечтательные беседы со своим другом Клоделем о философии музыки и решает посвятить себя ей. Но отец настаивает на продолжении общего образования, и Роллан поступает в лучшую школу Франции, давшую ей самых знаменитых людей, — в Эколь Нормаль (Ecole Normale). Он слушает здесь Ф. Брюнетьера, Буассье, Мсно (ученика и друга Мишле). В Ecole Normale Роллан изучает главным образом историю и философию (под

руководством Олле-Лапрюна и Брошара). Он увлекается досократиками и главным образом Эмпедоклом, и затем Спинозой, и наконец индийской философией. Влияние этих философий мы потом обнаружим в «Жане-Кристофе», раскрывающем собственное мировоззрение Роллана на своеобразной основе эстетического пантеизма.

Двадцати двух лет, получив стипендию, Роллан отправляется в Рим для завершения своего музыкального и общеэстетического образования. Италия, Леонардо да-Винчи, Микель-Анджело, «застывшая музыка» (по выражению Шлегеля) античной архитектуры — все, что чрезвычайно усиливает космополитическое умонастроение молодого Роллана, воздействуя на него с самой сокровенной стороны, со стороны гармонии форм, со стороны искусства. Впоследствии в одном из писем (от 14 апр. 1912 г., т.-е., когда уже был написан «Кристоф») Роллан сам точно определил значение Италии для него. «Пребывание в этом городе (Риме) имело для меня решающее значение. Я прожил в нем много лет, обрел здесь душевное равновесие и сознание своего художественного таланта. Я познакомился здесь с такими людьми, как Мальвида фон-Мейзенбург, последний отсвет старой идеалистической Германии 48-го года, сошелся с теми, кто был озарен заходящими лучами итальянского Risorgimento (Возрождения). Дух и светотени Рима определили до известной степени замысел и выполнение «Жана-Кристофа». С холмов Рима удобнее всего созерцать драму нашего Запада, и при взгляде отсюда вся наша национальная разрозненность сливается в одну гармонию, подобную той, какую представляет Рим в вечерние часы с высот Яникула. Мы, люди разных рас и племен, должны трудиться над осуществлением этой гармонии. Даже борьба отдельных народов между собой не должна нас отвращать от этой цели».

Теперь мы можем представить себе облик Роллана, начавшего «восхождение на высоты духа человеческого». Ему двадцать пять лет. Он музыкант, обогащенный громадным запасом знаний по истории, эстетике, философии. Его мысль бродит где-то по окраинам неба в по-

исках музыкальной гармонии мира. «Через искусство мы от несовершенств мира придем к Телемской обители, о которой мечтал еще Раблэ» — вот первая формула Роллана. Между Ролланом и Мальвидой фон-Мейзенбург, между юношей и старухой, завязывается та удивительная дружба, которая оказала сильнейшее жизненное впечатление на них обоих. В Мейзенбург Роллан обрел третий элемент всеединой Европы—Германию. Друг нашего Герцена, который долго переписывался с ней, друг Мадзини, Ницше и Вагнера, Мейзенбург увозит Роллана в Байрет. Там, в обстановке патетической вагнерианы, он знакомится с Козимой Вагнер и у могилы ее великого мужа слушает «Парсифаля». Все это производит глубокое впечатление на Роллана и укрепляет его убеждение относительно силы искусства. Мальвида фон-Мейзенбург в своей книге «На закате дней идеализма» пишет: «Знакомство с этим юношей дало мне такую радость, не только музыкальную... В молодом французе я нашла тот же идеализм, тот же возвышенный строй души, то же чуткое понимание всякого выражения духовного величия, как у избранных представителей других народов».

Наконец англо-саксонский мир раскрылся Роллану еще и в Шекспире, которого Роллан полюбил со всем своим пылом и отдал ему многие дни своих занятий. Еще раньше однако он попадает под влияние Толстого, первые вести о котором начинают проникать в широкие слои европейского культурного общества. Творец и разрушитель, гениальный варвар, Толстой производит смуту во внутреннем гармоническом мире Роллана. Толстой ниспровергает Шекспира, так как Шекспир не знает любви к людям. Толстой отворачивается от Бетховена, который своей «Крейцеровой сонатой» будит в нас чувственность. Роллан возвращается во Францию, заряженный всеми токами культуры, но еще не зная, как он сможет разрядить себя. В этом состоянии Роллан пишет письмо Толстому без всякой, разумеется, надежды на ответ. Но проходит несколько недель, и безвестный студент получает от всемирно известного писателя ответ на двух печатных листах; ответ страстный и серьезный, где Толстой

беседует с неизвестным ему корреспондентом, как равный с равным, как с братом. Давно известно и это письмо, и то действие, которое оно оказало на Роллана. Он рассказал нам сам об этом. Отныне Роллан принимает решение. Он не хочет отказаться от искусства (это значило бы отказаться от самого себя). Он будет через искусство искать связи с народом и помогать ему в его страданиях. Формой этого своеобразного эстетического «хождения в народ» Роллан избирает театр. Вместе с Жоресом он основывает «Театр для народа», где в противовес пустым эротическим пьескам парижских театров Роллан сам создает репертуар, долженствующий дать эпопею революции (одна из пьес Роллана — «Дантон» — исполнялась и у нас). «Драмы веры» относятся главным образом к 1893—1901 годам, к эпохе дела Дрейфуса. Целая серия написанных Ролланом пьес однако не имела успеха. Роллан затевал и международный конгресс для образования таких «театров для народа» во всех странах. Но действительность неизменно попирала все утопические бредни «эстетических народников», как она разметала в свое время иллюзии революционных народников в России. Тогда Роллан приступает к серии биографий великих людей. Он выпускает биографии Бетховена, Микель-Анджело, Толстого. Социальную программу своего нового предприятия Роллан излагает в предисловии к биографии Бетховена. «Мир задыхается от пошлого себялюбия. Ему мало воздуха. Раскроем окна. Дадим доступ свежему -воздуху. Будем живы духом героев. Жизнь тяжела. Подавленные бедностью, горькой домашней заботой, иссушающими душу и бессмысленными заданиями, в достижении которых бесплодно расточаются силы, большинство людей живет особенно дружно друг от друга, не имея никаких надежд, ни луча радости и даже утешения в возможности протянуть руку помощи своим братьям, когда они в несчастье... Чтобы помочь им, я собираю вокруг героических друзей, великие души, которые страдали за свое величие». И о Бетховене Роллан пишет далее не как о художнике, а как о «героической силе современного искусства».

Было бы неправильно без поправки на дату и место подойти к этим высказываниям с нашими современными политическими требованиями в отношении ясности формулировок и их классового смысла. С этой точки зрения подобные высказывания Роллана могут рассмешить у нас любого пионера. В самом деле — описывай жизнь «героев», и ты водрузишь социализм и счастье на земле. Да и вряд ли сам Ромэн Роллан вкладывал в свои слова такой смысл. Но разве не поражает каждого из нас отчетливо буржуазная установка этого предприятия Роллана. Здесь мы встречаемся только с наиболее наивным эстетическим выражением той системы фабианских примочек к противоречиям капитализма, каковая система на Западе еще и до сих пор в различных видах продолжает поражать широкие слои не только мелкобуржуазной интеллигенции, но и еще значительную часть рабочего класса. Однако «неподатливость» капитализма вовлекает Роллана в дальнейшую борьбу. Он переходит к непосредственной критике буржуазного общества. Так он принимается за «Жана-Кристофа», это, по выражению Луначарского, «евангелие европейского интеллигента». В общей сложности Роллан потратил на «Кристофа» семнадцать лет, скитаясь по Швейцарии, Англии, Италии.

В 1912 году Роллан, когда закончил «Кристофа», он уже профессор истории музыки в Сорбонне.

Стефан Цвейг писал о «Кристофе»: «Истинное, моральное величие его я вижу в том, что оно вообще создано». Действительно, Роллану, когда он окончательно принялся за свою грандиозную десяти томную эпопею, было уже 35 лет. Но он еще совершенно неизвестен как писатель, несмотря на свои драмы и биографии. Ведь он печатался без гонорара в каком-то «Двухнедельнике» и теперь совершенно не мог рассчитывать на материальную поддержку со стороны издателей. (Вспомним, что денежный вопрос для писателя на Западе является существеннейшим стимулом.) Это был в полном смысле труд «для души», во исполнение запросов творческой натуры, как того требует Гете от каждого настоящего художника.

«Жан-Кристоф», несмотря на огромность замысла, композиционно продуман автором до конца, и его последние части были написаны раньше, чем начали выходить первые книги. В центре романа — Иоганн-Кристоф Крафт, богато одаренный музыкант, немец (это обстоятельство тоже рассматривалось в свое время во Франции как «вызов отечеству»). В романе перед читателем одновременно развертывается и история героя, и широкая картина жизни культурного общества трех стран — Германии, Франции и Италии — и дается критика этого общества. «Жан-Кристоф» — это все: и философия, и смех, и слезы, и эстетика Роллана, и «символ веры», и политическая программа, изложенные в форме повествования о жизни Жана-Кристофа.

Первые томы («Заря», «Утро», «Юность») посвящены изображению складывающегося характера Кристофа, его первым музыкальным восприятиям и первой любви. Отец будущего музыканта Мельхиор, человек из почтенного буржуазного круга, натура тоже артистическая, страстная, с вспыльчивым, неудержимым темпераментом, но пьяница и в жизни беспутец. Мать Кристофа Луиза — простая служанка, «стряпуха на званых обедах», все богатство которой только в добром сентиментальном немецком сердце и беспредельной любви к сыну. Но дома нет мира, и детство Кристофа, проведенное в маленьком приречном городке, полно тревог и лишений. Рано узнает Кристоф унижение человеческого достоинства, высокомерие «сильных мира», бессердечие и зависть людей. Умирает любимый его дед, который вывез семью из Антверпена, Жан-Мишель. Отец теряет место. Нужда входит в дом. А в это время, среди этой жизненной сутолоки, растет маленький человек — Жан-Кристоф. В его биографии введены действительные эпизоды из жизни Бетховена, Моцарта, Глюка, Баха (сына Иоганна-Себастьяна), Фридемана. Удивительны страницы, посвященные формированию первых музыкальных впечатлений у ребенка (которые, как и у Бетховена, проявляются очень рано) и тех созвучий, которые открывает Кри-



стоф между собой и образами внешней действительности. После смерти отца работа о семье (матери и двух братьях) целиком ложится на почти еще мальчика Кристофа, который начинает давать уроки музыки и поступает в оркестр ко двору герцога. Здоровый физически, Кристоф полон неясных мечтаний о предстоящем ему великом будущем. Это смутное, но волнующее его убеждение, артистическая и немецки-сентиментальная восприимчивость ко всему в соединении с чрезвычайно прямым, резким, несдержанным характером, перешедшим к нему от отца, нелегкой делают жизнь для Кристофа в мещанском, душном провинциальном миреке.

Воспроизведению и художественной критике этого фарисейского мирка целиком посвящен обширный четвертый том («Бунт»). Тут маленький феодальный дворик местного герцога, тут и «высший свет», который топчется между театром, герцогской передней и ратушей, тут и мелкие подсиживания мелкой прессы, тут и сентиментальность и невежество, невежество и самомнение. Однако критика, развернутая здесь Ролланом, идет не по линии непосредственного социального протеста. В этом смысле мы найдем у Гейне куда более революционное и по-настоящему язвительное изображение немецкого мещанства. Протест Роллана даже не трубные фанфары шиллеровской романтики. Протест Роллана — протест эстетической души, ущемляемой в своих творческих интересах и вкусах. Кристоф страдает от того, что общество глумится над его музыкой, что само оно живет в пошлой, приторной атмосфере этих бесконечных *Lieder*, что само оно воспитывается на этой «травянисто-мучнисто-шафранной» кухне (как называл ее Герцен в своих путевых письмах). Нужда, страдание делают внутренним лейтмотивом Кристофа. Они подогревают его на «служение народу». Здесь мы уже наталкиваемся на очерченное выражение основной ошибки Роллана, который, подобно своему герою, не только низводит к одной гамме все роды человеческих страданий от эстетических до социальных и физических, но и думает излечить от них человечество «симпатическим» способом, то-есть устраняя субъективную боль.

Если Гаслер, знаменитый композитор, которого Кристоф хочет привлечь на свою сторону, оказывается в плену этого придворного и бюргерского общества, то истинного ценителя своего творчества Кристоф находит в лице старика Шульца, маленького учителя музыки где-то в глубине Германии. Прекрасно, с мягкой любовью и добродушным юмором описывает Роллан Шульца и его круг людей, милых и немного смешных, по-немецки восторженных, но и по-немецки глубоких, овеванных истинной «наследственной культурой». Возвратившись домой, Кристоф уже окончательно понимает, что он дальше не может оставаться в прежней среде. Случай подталкивает его. Ввязавшись в драку с солдатами на одной деревенской вечеринке, Кристоф вынужден бежать через границу во Францию.

«Ярмарка на площади» (в смысле торг, базар) (том V) — наиболее прошумевшее произведение Роллана. Личность Кристофа здесь как бы уступает место более широкой задаче — развернуть панораму современного Парижа. Сатирическая интонация крепнет. В голосе Роллана слышатся бичующие, гневные ноты. Подоснова впрочем их та же — изгнать торгующих из храма. «Ярмарка на площади» является непосредственной картиной французского буржуазного общества. Куда ни проникает Кристоф (а он попадает всюду благодаря своим разнообразным друзьям и журналисту Леви-Кэйру, издателю Гехту, депутату Русэну и др.), всюду продажность, фразерство, господство капитала и связей подавляет его. Печать, критика, еврейская финансовая аристократия, масоны, социалисты, музыканты — все одинаково толкутся на этом базаре, где души и мнения закладываются и меняются на франки, как штаны, лошади, женщины и автомобили.

Знаменитый памфлет Горького «Прекрасная Франция» гораздо беспощаднее, классово-прямолинейнее. Но нельзя не поставить в заслугу Роллану, что он, несмотря на свинцовые предрассудки, висевшие на нем, сумел разглядеть тщету парламентаризма и художественно разоблачить всю несложную в общем «машину демократизма» правящей буржуазии.

В свое время «Ярмарка на площади» была воспринята «оскорбленными патриотами» во Франции как «клевета на народ». Но опять мы должны видеть пределы критики Роллана и не делать себе иллюзий из криков, которые несутся по его адресу из лагеря буржуазии.

Кристоф готов уже разочароваться во Франции и французском народе вообще, как он встречает нового друга, который приоткрывает ему — так же, как Шульцу в Германии, — существование «другой Франции», «сосредоточенной, трудолюбивой, одинокой, облеченной в мыслящий оптимизм». Эту Францию представляет молодой поэт Оливье Жаненн и его сестра Антуанетта (их семье посвящен VI том). Оливье — это французский Вениветин или Одоевский. Антуанетта — тургеневская Лиза, но Лиза, выброшенная жизнью из своего «дворянского гнезда» и пошедшая служить в немецкую семью (Грюнебаумов), чтобы содержать себя и брата.

Отныне Оливье входит в жизнь Кристофа. Интимная дружба этих двух таких противоположных натур описана Ролланом тоже в тонах восторженно приподнятой, немного старомодной дружбы «40-х годов». Болезненный, нежный Оливье, бредящий героическим идеализмом, духовным подвигом, подобно Станкевичу, и сменяемый вечной рефлексией, однако хорошо сходится с кипучим, импульсивным, полным деятельности Кристофом. Социальный облик Оливье вполне отчетливо дан и самим Ролланом: «Музыка, как и вера, были для Оливье убежищем от слишком яркого дневного света» («Антуанетта»).

Теперь Кристоф обретает свой «дом» («Дома» называется VII том). Роллан рисует другую положительную сторону французской культуры. Эта книга является своеобразной реабилитацией родины (не забудем, что Роллан пишет ее всегда с большой буквы). Французское искусство, французский дух, ясный, вечно обновляющийся у Роллана, превращается в какое-то особое начало культуры. Женитьба Оливье на эгоистической и бессодержательной Жаклине, затем подруги Кристофа («Подруги», т. VIII) на время разделяют друзей. Но Кристоф уже знаменит. В одно прекрасное утро он просыпается, окру-

женный репортерами. Одна газета решила поставить на него ставку. Но уже ни Оливье, ни Кристофа не может поглотить одна личная или эстетическая жизнь. «Кристоф разделял мнение Мусоргского, что музыкантам не мешало бы время от времени забывать про свой контрапункт и гармонию ради чтения хороших книг и изучения жизни. Довольно музыкальных говорилен, всяких лавочек для фабрикаций аккордов» («Ярмарка на площади»).

Кристоф и Оливье пытаются сблизиться с рабочим движением, которое Роллан называет «синдикализмом». Об этом моменте их жизни рассказывается в первой половине IX тома. («Неопалимая купина»). Именно в этом пункте романа с наибольшей открытостью вскрывается социальный смысл деятельности Кристофа и Оливье. Мы можем прямо сказать, что весь интерес к пролетариату у этих утонченных интеллигентов не идет дальше самой заурядной барской филантропии, вызываемой к жизни беспокойным зрелищем нищеты, неумеренного труда и страданий. Знакомство с пекарем, затем с поэтом из рабочих Эмануэлем толкает их на «помощь бедным». Вот этот пекарь со «свистящем дыханием, с мертвенно-бледным, плохо выбритым лицом, из которого жар печи высосал всю кровь, со впалыми щеками» — такое зрелище вызывает у Оливье содрогание. «Как только Оливье, — пишет Роллан в этом своем приподнятом стиле, — открыл люк, закрывший вечный ад, он услышал вопли всех угнетенных и притесняемых». Однако идейная несоизмеримость Кристофа и Оливье с требованиями классовой борьбы обнаруживается для них самих очень скоро. «Наедине с Кристофом Оливье с волнением говорил о необходимости братского сближения с народом», но когда Оливье «сталкивался с народом, он при всем желании не находил точек сближения с ним» («Неопалимая купина»). С глубинной честностью подлинного художника Роллан вкладывает в уста своих героев весьма горькие и для него признания. «Его (Кристофа) индивидуализм восставал против синдикатов, этих опасных союзов слабых». И еще больше: «Он не мог не презирать людей, которым необходимо было прико-

вать себя к одной цепи для того, чтобы идти в бой» («Н. К.»). А ведь «цепь», о которой идет здесь речь, — классовая солидарность. И Кристоф приходит к выводу: «Пролетариат не лучше других классов». «Духовная знать напрасно ищет слияния с массой, она всегда будет тянуться к знати, к лучшим представителям всех классов, всех партий, к носителям светоча» («Неоп. купина»).

Трудно сказать недвусмысленное. Это «последнее слово» Кристофа, как мы видели, не является последним словом самого Роллана. Но, приведя своего героя (и героя для автора положительного, это надо помнить) в порядке раскрытия художественного образа к таким выводам, Роллан тем ярче вскрывает его объективно чуждую пролетариату социальную природу. Так неожиданно Кристоф смыкается с Климом Самгиным, который для пролетарского художника — Горького — фигура отрицательная, социально ядовитая. Все же художественные выводы Роллана не совпадают с его субъективным убеждением (добросовестной, но глубокой ошибкой), что Кристоф и Оливье «ошибались на том самом судне, которое несло армию рабочих и все человечество» («Неоп. куп.»), ибо человечество всегда плыло на разных судах.

Тем нелепее оказывается смерть Оливье, который случайно погибает во время первомайской демонстрации. Кристоф, убивающий во время происшедшей свалки полицейского, вынужден снова бежать, на этот раз в Швейцарию и затем в Италию. Уже в конце своей жизни он встречается с Грацией — итальянкой, которую Кристоф знал еще девочкой и которая — решает он теперь — является его избранницей. Но Грация умирает вслед за смертью своего ребенка от первого брака. Через 20 лет Кристоф снова возвращается в Париж, который он оставил «погибающим» Вавилоном. Но странное дело, он находит его «переобновленным», энергичным. Сын Оливье Жорж — представитель этой буржуазной молодежи, для которой «мускульный или идейный спорт» равно существуют для укрепления своего социального оптимизма. Эта молодежь впрочем после войны будет поставлять

кадры для Action française и фашизма. Но Кристоф не видит социального смысла этого капиталистического «цветения». Старик, он уходит в могилу, озаренный светлой надеждой, что начинается рассвет человечества («Рассвет» «Грядущий день», т. X.). Эпопея заканчивается символическим аккордом в духе блоковских «Двенадцать».

В белом венчике из роз впереди Иисус христос...

Старинный персонаж католической церкви «святой Христофор» сквозь мрак, водные стремнины несет на плече младенца. Утром он спрашивает, снимая тяжелую ношу на берегу: кто ты? — Я — грядущий день, — отвечает младенец.

«Жан-Кристоф», который сначала печатался без гонорара в том же «Двухнедельнике» («Cahiers de la Quinzaine»), приобрел затем мировой успех. Дольше всех его не хотели замечать во Франции. Но вот в Испании, затем в Италии и повсюду заговорили о Ромэне Роллане. Что определило этот успех? Дух пан-европеизма (не даром Роллан одно время качнулся в сторону «пан-европейских» планов Бриана), объединения всех рас и народов, пришел в лице «Кристофа», чтобы утишить и успокоить сердца, мятущиеся среди противоречий империализма. Для значительнейших слоев мелкобуржуазной интеллигенции «Жан-Кристоф» разрешал и обобщал их собственные сомнения, говорил «нет» этому миру торга и зла и звал куда-то вперед, где не будет этой скверны. Куда же? И вот здесь, начиная разбираться в социальных идеалах «Кристофа», мы приходим к выводу, что выход, рисуемый Ролланом, не ближе кусочка голубого неба в окошке тюрьмы. «Жан-Кристоф» зовет вообще, зовет в никуда, зовет, как утописты и христианство. Но зато он оберегает святых интеллигента — индивидуализм, права личности от посягательств всего в мире: классов, партий, государств. Самый переход в «грядущий день» «Кристоф» делает идейно комфортабельным: он позволяет обнять все и все взять с собой на этот ковчег жизни, плывущий к рассвету. И действительно даже религия находит здесь себе место

Оливье был верующим католиком. Но и весь «Жан-Кристоф» — глубоко религиозная книга. В основе этой религии лежит бог, разлитый во все сосуды природы.

«Жан-Кристоф» говорит «нег» старому миру. Но это — бунтарство внутри класса, это — бунтарство мелкобуржуазного интеллигента (с народнической, крестьянской подосновой), которому узки мешанские платья капитализма.

Хотя «Жан-Кристоф» имеет от автора широкий социальный адрес («до востребования» (последний том «Кристофа» посвящен «свободным душам всех народов, которые страдают, борются и победят»), но вряд ли он может быть воспринят какой-либо «душой» как «руководство к действию». «Жан-Кристоф» силен не своими философскими и социальными концепциями (хотя один факт появления такого огромного произведения, волнующего освободительными замыслами среди безыдейной, эстетической литературы современного Запада, есть факт нового принципиального порядка). Вереница людей проходит перед вами разных стран, народов, слоев общества, убеждений, характеров. Они рождаются и умирают, «борются и страдают», созидаемые силой художественного гения Роллана. Но в глубине этой смены форм и проявлений жизни лежит одно убеждение, пронизывающее весь этот вечно текущий мир, убеждение, сходное с таковым же великого фарнзейского старика — Вольтера, который учил в «Кандиде», что «все к лучшему». Горький очень тонко заметил, что Роллан не оптимист, «он стоик». Но в своем стоицизме, смешивающем в один напиток и счастье, и страдание, он обретает силу для борьбы. Пусть эта борьба ведется еще не нашими средствами, бьет по не нашим мишеням; но она начата и ведется в одном направлении с нами, по пути с пролетариатом. Что значит — по пути с пролетариатом? Жан-Кристоф стоит на глиняных ногах буржуазного мировоззрения и пртягивает руки к «рассвету», к грядущему социалистическому человечеству. Только на ранней стадии, для правых мелкобуржуазных слоев (таким был Роллан до войны) Жан-Кристоф мог играть общественно положительную роль. Сейчас его «по-

путничество» уже отслужило свою роль. И наоборот, философия Кристофа может стать (и становится для многих) замаскированным оружием буржуазии в ее борьбе против пролетариата, так же, как становится таким оружием теперь всякий утопический социализм.

Наконец «Жан-Кристоф» — исторический памятник и тем, кто уже сделал свое дело «вольных миннезингеров» революции и теперь уходит из истории. «Я написал, — говорит Роллан в предисловии к последнему тому, — трагедию поколения, которое скоро исчезнет. Я ничего не скрывал: ни его пороков и добродетелей, ни его глубокой печали, ни его хаотической гордости... Теперь ваш черед, люди нашего времени, молодежь. По нашим телам, как по ступеням лестницы, идите дальше вперед». Но люди нашего времени, «молодежь» новой истории, — это новый класс, который призван заложить уже новые язык и другой культуры для подножия человечества. Для нашего читателя, мало знающего Запад, «Жан-Кристоф» является еще и незаменимым источником художественной информации о культурной жизни самых разнообразных слоев Европы.

После длинного пути художественных «проповедей» — драм и наконец вереницы томов «Кристофа» — Роллан как бы чувствует себя освобожденным от части своих внутренних обязательств, и он создает неожиданную книгу, книгу полную смеха, чувственности, фламандского здоровья — «Кола Бреньона». Роллан даже пишет вместо предисловия шутовское «Предупреждение читателю»: «Читатели «Жана-Кристофа» не ожидают, разумеется, этой книги. Она застанет их врасплох не более, чем меня самого. Она является реакцией против десятилетнего гнета доспехов «Жана-Кристофа»... Я почувствовал непобедимую потребность в свободном галльском веселье, да, вплоть до непристойности. «Роллан дает выговориться» всем Кола Бреньонам, которых я ношу в своей шкуре».

Эта книга, стоящая особняком во всем творчестве Роллана, и вместе с тем книга, которую Горький назвал «самой изумительной книгой наших дней», свидетельствует, какой огромной

художественной мощи писателем является Ромэн Роллан. «Мой дед» — любовно называет Роллан Бреньона. Впрочем место действия — это родина Роллана: Нивернская Бургундия, старинный городок Кламеси. День «сретения господня». 1614 год. Кола Бреньон — простой столяр и резчик, бравый собутыльник веселой компании из таверны «Sale Bourgignon» — садится за стол. Ему пятьдесят лет, этому драчуну, но он еще силен. Не глядите на его свежловичный нос и папашино брюшко. Вот стопка доброго бургундского вина. Вот раскрытая тетрадь лежит перед ним. И Кола начинает записывать свою жизнь, не просто болтать. Ведь он неисправим, этот невоздержанный не язык старикан. То-то, пусть теперь попробуют с ним состязаться эти старые козлы — дядер Шамайль и его кум нотариус. Пусть они попробуют возразить. Он полвека ломал свои пятки на проезжих дорогах «благословенного королевства» — Франции, где хорошо лишь ездить расфранченным молодчикам в каретах. Кола — простой парень. Но он знает всякие народные штучки, да и сам он не даром тер бока.

И Кола начинает рассказывать свою жизнь. Вот его дом, его старуха, которая «наполняет дом от погреба до чердака». Вот его дети. Здоровенная Мартина, хитрая хохотушка с толстой задницей. Мартина вертит как хочет своим пирожником Флоримоном. Она — прямо сам Кола в юбке. Мальчишки, жаль, не удались: «Тут слишком помогала старуха и испортила закваску». И вот Кола живет наперекор всем этим богачам и их блюдолизам и солдатам. Он сам себе «король Франции. У него «в брюхе десять локтей кишек», и он вообще знает, что делать с этим лакомым кусочком — с кизнью. Только Ласка, милая Ласка, которая «умела так смеяться и кусаться», провела, бедствия, этого дурня, Кола. И он побоялся схватить за юбку, когда она притворилась, что будто ее сразил сон, и лежала на пороге своей хижины, «полуобнаженная и разомлевшая под пылающим небом, словно Даная». Эх, впрочем чего жалеть!

Грабительские отряды ландскнехтов проходят через Кламеси. Кола заболевает чумой во время эпидемии. И толь-

ко чудовищное здоровье выносит его к жизни да, признаться, «святая бутылочка» (Раблэ), которую эти трусы Шамайль и кум просунули в изгородь дома, где он валялся в обнимку с костлявой. И дом потом сжигают завистливые соседи под предлогом дезинфекции. Но ведь Кола может сказать патеру, что «господа бога никто не видел» и что настоящий бог, это — светлый дух, «ясное пламя» в человеке.

Кола Бреньон невольно заставляет вспомнить бессмертного «доктора медицины» Франсуа Раблэ, которого любит вспоминать и Роллан. Линия этой типично галльской литературы с ее дерзостью и смехом быющего через край здоровья идет от средневековых фарсов к Раблэ и дальше к Мольеру, Дидро и отчасти Бальзаку и изумительно снова расцветает в «Кола Бреньоне». Было бы неправильно поверить целиком Роллану в его уверении, что «Кола» выскочил «помимо его воли». Ряд глубоких причин подготовил прорыв этой блестящей струи в творчестве Роллана, которая и потом найдет себе место. Немецкий исследователь творчества Роллана Эрнст Курциус прав в своей догадке, что Роллан подсознательно стремился дать в Кола французского Кристофа, антитезу Оливье, переключив его на другой материал. Здесь еще явственнее обнаруживается та, казалось бы, далекая от рафинированного интеллигента крестьянская струя, о которой я говорил выше. Самоутверждение здоровой личности (крепкого французского «фермера») здесь, на старофранцузской теме, разворачивается свободнее и ярче, нежели на нежном фоне музыкальных глубин и философии страдания.

«Кола Бреньон» был закончен Ролланом незадолго до войны и выпущен через четыре года, уже после войны. Мировую войну Роллан встретил криком протеста и ужаса. Утопические идеи Кристофа, идеи братства народов, «культурного интернационала» интеллигенции, все это получило беспощадный удар. Роллан покидает Францию, чтобы в Швейцарии принять участие в работах Международного красного креста. Небольшой сборник статей Роллана, который вышел во время войны под общим заголовком «Над схваткой»

(«Au-dessus de la Mêlée»), онискали самую для буржуазии скандальную известность в воюющих странах и прежде всего во Франции (где выходили даже отдельные книги, как напр. кн. Ант. Массиса «Ромэн Роллан против Франции»). Нам, читающим эти статьи (которые когда-то печатались в «Журналь де Женев»), может показаться не вполне понятным, как такие фабиански-пацифистские обращения и письма к интеллигенции всех стран, эти призывы к «братьям-врагам», апелляции к началам нравственности, добра и справедливости, эти попытки одному остановить ревуший поток угарного безумия, захвативший и писателей, и профессоров, и художников, и музыкантов, и епископов, как все эти в общем безобидные для обеих сторон аргументы могли произвести такое впечатление. Но надо вспомнить это шествие смерча «патриотизма», который охватил Европу в начале войны, чтобы понять, что требовалось не мало мужества стать одному против всех, поперек этого потока. Интернационал лопнул, взорванный меньшевистскими партиями, обнаружив предательство и зловолие. Плеханов скатился к оборонцам. И лишь партия Ленина да небольшая группа циммервальдцев, пошедшая за Лениным, заняли отчетливую, боевую классовую позицию.

Идеологические причины, которые заставили выступить Роллана против войны, были однако совершенно другими при всем благородном мужестве, которое проявил здесь Роллан. Психологический путь человека европейской культуры, пришедшего к отрицанию войны и ее всевозможных лозунгов, изображен Ролланом в новом романе, законченном в мае 1920 года. Роман сначала назывался «Один против всех» («История человека со свободной совестью во время войны»). Впоследствии он был переименован автором в «Клерамбо», по имени центрального героя. Клерамбо — не автобиографический роман, но материалом его послужили переживания и ход мыслей человека, сходного с Ролланом. Поэт, идеалист, добрый буржуа, Клерамбо идет к закату своих дней в окружении семьи, хороших культурных друзей, греясь у камина своей няжкой, но серьезной славы. Война врывается в этот

дом, чтобы начать крушить от века усгавившиеся ценности. Сначала Клерамбо идет среди беснующихся толп по улицам Парижа, он пишет патриотические оды, но охлаждение приходит скоро. Смерть его сына Максима, «пропадающего на фронте без вести», производит отрезвляющее действие. Клерамбо с ужасом отшатывается от идолов войны. Но сейчас же он оказывается в окружении еще злейшего врага, нежели «боши», — буржуазного общества. Роллан очень хорошо рисует тот остракизм и презрение, которыми это «общество» окружает своего сочлена, осмелившегося выступить против общеуказанных мнений. Даже почтальон обходит дом Клерамбо, которому бывшие друзья теперь боятся и писать. И наконец он гибнет, подобно Жоресу. «Человек его лет, седой буржуа, невысокого роста» стреляет в Клерамбо на улице возле Дворца правосудия. Клерамбо умирает со словами христианского прощания на устах, пацифистом до конца, не могущим противопоставить ненависть даже своему убийце.

— Бедный друг мой, — думал он. — Враг твой в тебе самом...

Опять идеологические контуры Роллана и Клерамбо как-будто не совпадают, но идейный источник, вызвавший к жизни это произведение, — один. В «Обращении к читателю», которым Роллан впоследствии сопроводил «Клерамбо», он говорит: «Я хотел дать описание того внутреннего лабиринта, в котором ощущу бродит слабый, нерешительный, колеблющийся, податливый, но в то же время искренний и страстно жаждущий истины ум». Но уже в «Предисловии» Роллан берет в известной мере под идейную защиту своего героя. Он пишет, что предметом книги является «поглощение единой индивидуальной души пучиной души множественной. По-моему, это явление гораздо более чревато последствиями для будущности человечества, чем временное главенство какой-нибудь нации». И дальше: «Повсеместное развитие демократий, угнетаемых допотопным пережитком — чудовищной государственной пользой, — привело все умы в Европе к убеждению, что не может быть у человека высшего идеала, как стать служогом общества. А общество это определяют понятием государства». «Рискните

освободиться от увлекающего вас стада. Каждый настоящий человек должен научиться оставаться один среди всех...»

Опроверг ли Ромэн Роллан, высказанные здесь однажды мысли. Нет, не опроверг. Он просто прошел мимо них, направляясь—как ему казалось—в сторону пролетариата. А вместе с тем, что может быть враждебнее пролетариату этих мыслей. Анархический индивидуализм Кристофа приобретает здесь (в публицистической форме предисловия) политическое острие, направленное непосредственно против коллективизма, классовой солидарности пролетариата. Нашел ли Роллан впоследствии слова, которые бы заклеили по-настоящему эту философию? Нет, не нашел.

Тем не менее верный избранному пути отгалкивания от буржуазного государства, Роллан встречает приветствием Октябрьскую революцию и Ленина. Опять это было смелым, независимым актом, когда Роллан не побоялся, что буржуазия встретит его в штаны. Нельзя недооценивать этого факта, тоже сделавшего крупнейшее политическое впечатление в самых широких слоях. Свою моральную чистоту и авторитет «рыцаря без страха и упрека» Роллан связал с идеалами Ленина, и это для многих колеблющихся умов, даже в среде рабочего класса на Западе, имело решающее значение. Здесь опять сказались сила субъективного фактора, субъективной устремленности для такого человека, как Роллан, который, несмотря на чуждое пролетариату классовое содержание своего мировоззрения, хочет идти и действовать в сторону пролетариата. Так революция, точно гигантский электромагнит, перетягивает к себе соседствующие социальные слои и перестраивает внутренний строй людей. Впрочем Роллан в свете классовых требований рабочего класса еще только в начале этого процесса. Но уже и теперь он оказал ряд неоценимых услуг социализму<sup>1)</sup>.

В дальнейших художественных произведениях Роллана, так же творчески богатых и многочисленных, основной комплекс его идей не претерпевает су-

щественного изменения. В новой пьесе «Лилюли» находит продолжение та черта веселого галльского серказма, которая открылась «Кола Бреньоном». «Лилюли»—это пьеса о несостоявшейся войне двух народов: галлипулетов и гюрлюберлошей. В ней участвуют и поп, и рабочие, и господь бог, торгующий в восточной одежде маленькими домашними божками, и арлекин, и толстяки-буржуи, и юноша Альтер, «первый любовник» грядущего. Сама блондиночка Лилюли—это символ иллюзии. Пьеса, выдержанная в тонах революционного гротеска (напоминая «Мистерию-Буфф» Маяковского), сатирически куда крепче прежних вещей Роллана (хотя опять гюрлюберлоши молятся по евангелию «от Маркса» и... Бисмарка). Роман «Пьер и Люс»—это песнь торжествующей любви, которая разлита в жизни и которую обрывает смертью война. И наконец несколько лет назад Роллан начал новое многотомное произведение (пока вышло два тома—«Аннет и Сильвия» и «Лето») под наименованием «Очарованная душа». В фокусе теперь женщина, ее борьба за духовную и физическую независимость в буржуазном обществе. Сильная, страстная, целомудренная, своевольная Аннет, отдавшаяся жениху и тотчас его отвергшая из протеста против режима буржуазной семьи, такая сходная с Кристофом по своему душевному строю, она вместе с тем призвана внести в нашу культуру то начало специфического очарования, которое не может дать мужчина и что, по мысли Роллана, должно являться необходимым элементом настоящей культуры. В последнее время Роллан снова вернулся и к своим героико-биографическим работам. В «Еггоре» он публикует новые страницы о Ганди и замечательные этюды о Гете и Бетховене. (Эта монография вышла отдельным томом.)

В стилистической системе Роллана есть много особенностей, которые могут дать неправильное представление о нем. Старая французская поговорка, что «стиль, это—человек», несомненно имеет под собой материалистическую подкладку. Но мы должны расширить ее, чтобы придать ей научный смысл. Стиль, это—практика класса в ее решающих чертах, в ее внутреннем обли-

<sup>1)</sup> Роллан — почетный член Московского совета.

ке. Стилистика — это словесное — лексическое и грамматическое — оформление стиля. В манере повествования отражены не только «личные» интонации писателя, но и его интонации философские, социальные. Развитие производительных сил, «поведение» класса, весь сложный переплет социально экономических отношений опрокидывается в стили, как берега реки, среди которых она течет.

Роллан — аффективен, стилистически театрален, его метафоры непременно облачают идеи, как цветная одежда. Стиль Роллана — это стиль проповедника с установкой на интонацию трибуна, «учителя» жизни. И здесь кое-что у Роллана звучит безвкусно. Нельзя сказать, что Роллан не чувствует отрицательного оттенка, какой может приобрести этот стиль, когда он направлен на то, чтобы формой затмить существо. Так «Кристофу» театральные языки французов казались архиальными, в особенности в поэтической драме («Подруги»). И немцы Кристофу кажутся слащавыми с их сентиментальностью, какой у них — как говорил Гете — тотчас облекается идеальное, с их словесными любезностями, которые вышивают на подушках, полотенцах, рисуют на тарелках и умывальниках. Роллан не сентиментален. Но несоответствие словесной реакции, словесного выражения и вызывающего его повода, особая языковая возбужденность, так характерно сочетающаяся с эмоциональной и интеллектуальной возбудимостью всего его существа, — эта черта есть и черта стиля Роллана. Чтобы правильно понять возникновение таких например оборотов:

«Яростные порывы ветра в эпоху бурь, поднявшихся во время дела Дрейфуса, вырвали несколько умов из когтей оцепенения» («Клерамбо»); или:

«Коллективная душа пробила брешь в их башне из слоновой кости» («Клерамбо»); или:

«Безбрежная, как океан, рокотала душа Иоганна-Себастьяна Баха, ревели бури, шумели ветры, неслись облака жизни — народы пылали от радости, горя и ярости, и кроткий образ Христа, князя мира, тихо реял над ними, — города просыпались от криков сторожей и устремлялись с ликующими криками навстречу

божественному Жениху, под шагами которого сотрясался мир» («Ярмарка на площади»); или метафоры такого порядка:

«В дни выздоровления Кристоф питался молоком двух благостных кормилиц — Любви и Скорби» («Ярм. на пл.»), «Как тигры, бросились друг на друга два сочетавшиеся идола: Родина и Революция. Официальные маски были сорваны, и на минуту явились подлинны: лики Справедливости, Свободы, а также лик Силы, обеих сил: Революции и Армии, — насилие со всех сторон. Для непривычного народа ветер Правды очень опасен» («Прощание с прошлым»), —

чтобы правильно понять, повторяю, возникновение таких словесных манифестаций, мы должны перенестись в среду того народа, где этот элемент бытует во всех проявлениях его жизни, где яркие одежды, звенящие ожерелья у девушек, адвокатски патетичны речи, фельетоны газет, где кипит вечная «ярмарка на площади», где не живут только в четырех стенах, где все на улице, где принимают друзей в кафе, где кондуктор в трамвае насвистывает неизменную песенку, а шоферы рисуют уморительные рожицы на кузовах своих машин. Мы должны вспомнить и народные бродячие театры XII века, и уличные карнавалы, ми карем, и шествие «королей» всех аристократов с распущенными волосами, в цветах, верхом на золоченом Юпитере, которого влечет какая-нибудь веселая ватага прямо по Большим бульварам, задерживая движение и искривляя углы рта и брови у уважаемых англичан, которые возмущаются беспечным ажаном, взирающим на эти уличные безобразия с хитроумной и добродушной усмешкой. Мы должны наконец вспомнить и Гюго, и Бальзака, а еще раньше Руссо. Мы пойдем тогда, что этот театрализованный стиль имеет глубокие корни во французской жизни, уходящие еще в средневековье, к первым успехам торгового капитала и к феодальным дворам. Но мы не можем не отметить и классовой окраски этого стиля у Роллана, его романтической иллюзорности, подменяющей зоркость человека действия, правдивость социального переустроителя мира патетическими аллегориями и символа-



ми, которые идеи превращают в участников карнавалов, так поощряемых буржуазией в противовес классовым выступлениям. Есть еще другая характерная черта в стиле Роллана и его творческом методе—его текучесть, зыбкость, фиксация жизни в ее случайных деталях, в непрерывной смене состояний, часто вне их оформляющего принципа. Описание Ролланом душевной жизни его героев есть своего рода «стенограмма» психики, которая (психика) зыблется, как текущий поток. Здесь Роллан смыкается с Анри Бергсоном. В творческом методе Роллана явственны элементы бергсонизма с его идеалистической трактовкой сущности психических процессов.

\*\*\*

Горьким и честным признанием звучат слова Роллана в его «Привете от французского друга» («Лит. газета», № 26, 15/IV—31 г.), что не легко ему дали последние решения, к которым он пришел. «За последние 15 лет лучшие из нас не могли освободиться из своих казематов индивидуализма»... «Независимость духа», как я это понимал в 1919 году, когда я бросил свой призыв в его честь,—это замечательное дерево, которое простирает свои руки к небу. Но корни его лишены почвы».

Поиски почвы для творческого духа привели Роллана к нам. За эти годы он пережил новый перелом, более катастрофический для всего старого и более решительный. Страх социального одиночества охватил его. Наша эпоха уже не та эпоха, когда одинокие могучие умы могли лишь моральной силой своей личности светить в феодальных сумерках. Классы заговорили громко, многоголово, и множества пришли в движение.

Роллан увидел, что тот класс, который породил его, обречен историей. Ему казалось сначала, что «духовная знать», лучшие представители интеллигенции, могут, сговорившись, вынести из горящего дома «вековые ценности культуры» и передать их новому поколению, которое должно низвести «грядущий день» на землю. Война и послевоенные торжища, куда самозабвенно бросилась «духовная знать», рассеяли и эту иллюзию. И вот Роллан уже принужден констатировать недостойную мораль класса, который образовался как ее (человеческой культу-

ры) хранитель, и той касты интеллигенции, которая подготовила во Франции свержение аристократии от рождения, чтобы заменить своей «аристократией духа» и воздвигнуть на обломках правительства буржуазного класса, гордой головой которого она себя считает» («Привет»). Так должен был признать Роллан крушение и идеалов Кристофа, крушение почти всего, чем он жил всю свою жизнь.

В своей последней статье «Прощание с прошлым» («Кр. новь», № 7) Роллан пишет, что он нашел свой путь, что стрелка его «компас» показывает на цель, к которой устремляется авангард Европы и которая является залогом социального и морального перерождения всего человечества. В чем смысл последних выводов, к которым пришел Роллан? Пролетарская революция, победоносное наступление социализма поставили Роллана перед новыми фактами, перед лицом которых уже меркнет его критика буржуазного мира и неопределенные призывы к «рассвету». Этот «рассвет» несут на плечах своего энтузиазма и большевистской воли ударники, поднятые Лениным и Сталиным на пространстве громадной страны на Востоке.

Длительный процесс, полный внутренней борьбы и личной трагедии, который пережил Роллан и который обнимает целую эпоху жизни европейской интеллигенции, можно определить одним словом, приобретшим особое значение в наши дни все убыстряющихся темпов социализма,—перестройка. Да, от критики буржуазного мира Роллан вступил и на путь своей перестройки, на путь более решительной переоценки старых ценностей. Так сказывается громадное международное влияние осуществляемой пятилетки, влияние СССР, идей большевизма. Это влияние распространяется не только на западный пролетариат, но и на мелкобуржуазные слои. В этой исторической передвигке людей и целых социальных пластов Роллану принадлежит одно из почетнейших мест. Первый из западноевропейской интеллигенции, он примкнул к победившему пролетариату, он сделал это раньше и решительнее, чем многие из его поколения, как Шоу и Анатоль Франс, не говоря уже о Дрейзере.

— Нет в буржуазном мире будущего ни для искусства, ни для науки, ни для моральных ценностей человечества. Уходите от него! Прокляните его, — вот что сказал всей своей жизнью Роллан, человек утонченной культуры, человек гордой совести и личной независимости.

И вместе с тем Роллан еще наполовину там, в старом мире. Он вышел из него. И теперь, оторвавшись в своих субъективных устремлениях от него, Роллан в существе своего мировоззрения еще целиком в плену у этого уходящего мира, с его ядовитыми идеологическими миражами и словесной мишурой. Произошел разрыв, своеобразные «ножницы» между субъективными идеалами и объективной ролью их. Конечно мы не должны забывать, что процесс перестройки такого человека, как Роллан, происходит совершенно в других условиях, чем у нас. Он идет в окружении разветвленных воздействий капиталистической культуры, в условиях, когда и значительные слои рабочего класса заражены мелкобуржуазными предрассудками, и все это заставляет делать и ряд идеологических уступок. А Луначарский дает следующую социологическую формулу ролландизма: «Ролландизм есть продукт распада мелкой буржуазии, в особенности развитых ее слоев; ролландизм есть процесс выделения из мелкобуржуазной интеллигенции наиболее положительных элементов. Он может оказаться для отдельных групп и лиц этапом на пути к коммунизму, он может оказаться и иногда оказывается уже сейчас реальным нашим союзником в борьбе против реакции («Ромэн Роллан как общественный деятель»).

Правильно ли это определение? Оно неправильно, потому что обнимает одну сторону дела. Ромэн Роллан оказался попутчиком в освободительной борьбе пролетариата, потому что при посредстве своей субъективной установки он легче оказалась втянутым в круг революционного движения. В столкновении двух классов Роллан, поняв обреченность своего класса, захотел быть с живыми. Но не должны обманываться относительно классового содержания ролландизма, этого своеобразного соединения на народнической основе элементов эстетического пантеизма, со-

циальных утопий Сен-Симона, пацифизма и даже остатков мистики. Со стороны объективных социальных закономерностей ролландизм есть продукт класса, уходящего из истории.

С другой же стороны, в обстановке разгорающейся на Западе классовой борьбы ролландизм как система взглядов может стать замаскированным оружием империализма. В самом деле, философия ролландизма — это философия примиренчества, смягчения острых углов, устранения классовой борьбы.

И Роллан конечно далек еще от понимания литературы, как идеологической формы классовой борьбы. И большее, что он видит, это — противоречия, какие возникают между индивидуумом и обществом.

Как мы видим, тема исторической преемственности культуры была поставлена и решена в давних главах истории. Но по выбитым дорогам, по неверным следам еще до наших дней продолжает брести мелкобуржуазная интеллигенция, лихорадить детскими болезнями, мучиться открытием открытых Америк. Такова классовая логика, так буржуазия духовно казнит детей и воспитанников своих.

Личная философская драма Роллана родилась среди этих противоречий и изнурительных блужданий по выдуманному лабиринтам. И Роллан мог бы, подобно Гейне, повторить, что «через мое же сердце прошла великая мировая трещина, и потому я знаю, что великие боги щедро одарили меня милостями перед другими людьми и удостоили мученического венца поэта».

Вот этот социальный утопизм культурнического порядка, с одной стороны, и чувство «мученического венца», патетика страданий «свободно мыслящей личности» — с другой, возникающей как результат идейного и морального самораздирания — вот содержание и эмоциональная окраска творчества Роллана. Но разве мы не можем и не должны переключать патетику моральных поисков, одушевляющую Роллана, в борьбу за классовые интересы, в тот круговой провод классовой энергии, который соединяет пролетариев всего мира. И наконец — мысль

эта принадлежит Максиму Горькому — разве не является сам Роллан чудесным аккумулятором этой моральной силы, заряжающим своей энергией всех нас вокруг. «Говорят: Р. Роллан—Дон-Кихот. С моей точки зрения,—пишет Горький,—это лучшее, что можно сказать о человеке. В безжалостной игре непримиримо враждебных сил истории человек, который жаждет идеальной справедливости, — тоже сила, потому что неустанно напоминает о том, как необходима справедливость прежде всего для трудящихся, ибо только они могут установить ее для всего мира» («О Ромэну Роллане»).

Но и мы должны пойти навстречу Ромэну Роллану, чтобы передать ему часть той могучей силы, которую несет пролетариат. Да, Роллан наполовину принадлежит тому XIX веку, который Кропоткин назвал «веком ожиданий», но Роллан уже вступил и в новый век, век Ленина, который можно назвать «веком свершений». И пролетариат протягивает оружие критики Ромэну Роллану, чтобы

помочь ему тоже освободиться от последних путей старого мира, от тех идей-мертвецов, которые, как говорил Маркс, тяготеют над умами живых поколений, и, освобожденным, взглянуть на всю человеческую культуру глазами уже нового человека, вступить в боевые ряды творцов социализма.

Но что значит помочь освободиться? Это значит отчетливо определить и назвать классовый смысл философии Роллана. Жану-Кристофу с его ранцем путника за плечами, наполненным книжной пылью и обветшавшими идеями, нет входа в мир нового социалистического человечества.

К этому пониманию приходит и сам Роллан. Только идейная внутренняя борьба, только переход на философские позиции пролетариата, только бесстрашная, идущая до конца критика старого — действительный путь в этот мир. Ничто так не чуждо ему, как дух идейного комфорта, интеллигентская примиренность и готовность взять на борт и «чистых», и «нечистых».

## 2. О НОВИНКАХ АНГЛИЙСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

О количестве и качестве, об историях с привидениями и об американце-людоеде.

М. Зенкевич

Общий кризис капитализма отразился также и на книжном рынке Америки и Европы. Книжная торговля упала. Число выпускаемых книг значительно сократилось. Так напр. в Соедин. Штатах за первые четыре месяца 1931 г. было выпущено книг по беллетристике 843 названия, против 1830 названий, выпущенных за тот же период в 1930 г. Сокращение более чем в два раза! Кризис книжной продукции начался еще в 1930 г., так в Англии за 1930 год было выпущено 11.603 названия против 15.393, выпущенных в 1929 г. Однако и при такой сузившейся продукции число выпускаемых книг по беллетристике в Америке и в Англии огромно: около 150—200 новых романов в месяц. Цифры внушительные—новинки, новые романы сыплются сотнями! Однако, если мы перейдем от количественной стороны к качественной, то тут показатели будут уже иные. Подавляющее боль-

шинство всей этой огромной беллетристической продукции Америки и Англии почти никакого отношения не имеет к художественной литературе—это просто механическое стандартное производство легкого чтения для непритязательного обывателя. О характере этого «чтива» дают понятия уже самые названия, в роде: «Читатель, я вышла за него замуж» (Reader, I married him), «Мужчины не любят женщин» (Men dislike women) и т. д. Около половины, если не больше, выпускаемых книг составляют детективные, уголовные, приключенческие романы, так называемые «романы тайн» (Mystery stories). Тут спешка стандартного конвейерного производства дошла уже до того, что у авторов нехватает времени для выдумывания новых завлекательных названий, и они просто обозначают продукты своего изделия местом совершения преступления: «Убийство в комнате 700» (Murder in Room

700), «Убийство в редакции» (Murder in the Newsroom), «Убийство в тюремной камере» (The cell Murder Mystery), «Убийство в библиотеке» (Murder in the Library) и т. д. — число вариаций здесь почти бесконечно!

Нередки еще и истории о привидениях, преподносимые не иронически, как делал это Оскар Уайльд в известной истории о кентирберийском привидении, а вполне серьезно, даже с квази-научностью. Так, недавно вышла четырехтомная «Антология рассказов о привидениях» (The collected Chost stories by James) и сборник лучших рассказов о привидениях «Они снова бродят» (They walk again), составленный сыном известного английского поэта Вальтера де ля Мара с его предисловием. В погоне за сенсацией и за необычайным авторам приходится идти на все. Рекорд в этом отношении побил, пожалуй, известный американский журналист-путешественник Сибрук. Он пробрался в джунглях Африки к неисследованному племени людоедов, стал среди них, что называется, своим человеком и даже каннибальствовал вместе с ними. Об этом Сибрук обстоятельно повествует на страницах своей книги «Пути джунглей» (Jungle Ways). Он спокойно прожевал и проглотил свою порцию и описывает вкус человеческого мяса, при чем с гордостью добавляет, что его совсем не тошнило. Этим Сибрук доказал, как пишет о его книге один рецензент, что у него «крепкие нервы и хороший желудок». Каннибальство Сибрука не вызвало никакого возмущения. Это только способствовало распространению его книги. Ведь он ел мясо чернокожего, не белого, — вот если бы он вместе со своими друзьями каннибалами отведал мяса какого-нибудь американского миссионера, тогда было бы другое дело! Тогда стоило бы поднимать газетную шумиху!

Среди сотен названий таких новинок, сыплющихся на читателя, как конфетти, со страниц журналов и газет, только несколько десятков книг, не больше, можно отнести в той или иной степени к произведениям подлинной художественной литературы. А среди этих десятков только отдельные единичные книги представляют вместе с тем в той или иной мере также и социальный интерес,

дают хотя бы отрывочное, неполное представление о социальных сдвигах, происходящих в Англии и Америке. Рассмотрением только таких новинок, представляющих интерес и для советского читателя, мы и ограничим наш обзор. Начнем по старшинству с Англии.

### Англия или Америка?

Английская литература, так же, как и английская промышленность, со времени мировой войны находится в состоянии какой-то хронической депрессии, хронического кризиса. Еще не сошли со сцены и лишут столпы английской довоенной литературы: Гелсуорти, Уэллс, Бернард Шоу, Киплинг и др. Еще вспыхивают отдельные незаурядные таланты, связанные по большей части со школой новатора английской прозы, автора «Улисса» — Джемса Джойса. Но в общем ведущая роль английской литературы в англо-саксонских странах поколеблена, и претендентом на первое место выступила молодая, более живая и энергичная американская литература. Некоторые английские писатели, из более молодых, выступивших после войны, не только ориентируются на американский книжный рынок, но даже (как напр. Стриблинг) переселяются в Америку и из американской жизни черпают материал для своих произведений.

Кто кого — Англия или Америка? Этот спор двух капиталистических гигантов перенесен и в область литературы и разрешается, видимо, неблагоприятно для Англии.

### Очередная фантазия м-ра Уэллса

Наиболее интересен для нас, пожалуй, из появившихся за последний год произведений «корифеев» английской литературы новый роман Герберта Уэллса «Самодержавие мастера Паргэма» (The Autocracy of Mr. Parham). Остальные корифеи дали вещи довольно мало-значительные: Киплинг — обычную киплингговскую историю о собаке (The Servant a dog), Гелсуорти — подновленный сборник старых рассказов, вариаций о Форсайтах (On Forsyte change), Честертон — очередную книгу художественного детектива (Four Faultless Felons), недавно умерший Беннет — роман о роскошном большом отеле (Imperial Palace).

Роман Уэллса интересен главным образом своей темой. В нем полуфантастически, полусатирически изображена фашизация Англии и будущая война Англии с Америкой. Подход и разработка темы чисто уэллсовские. Герою романа, профессору Паргэму, горячему поклоннику Муссолини, мечтающему о сильной национальной власти и о возрождении золотого века великобританского империализма, снится на спиритическом сеансе «некий вещий сон». Ему чудится, что на него снизошел из мировых пространств «дух власти», что он, мистер Паргэм, толстый мирный профессор, перевоплотился в национального героя, английского Муссолини, великолепного гордого лорда Парамаунта. Преображенный мистер Паргэм немедленно приступает к спасению дряхлеющего льва Великобританской империи по своему рецепту создания сильной национальной власти. Он возглавляет фашистское движение, распускает парламент и делается полномочным диктатором, «самодержцем» Великобритании. Главная цель его внешней политики — изоляция СССР и подготовка совместного выступления капиталистических держав. Лорд Парамаунт делает воздушный визит в Германию, Италию, Францию и сговаривается о совместном выступлении против Советского Союза. Но искусно задуманную игру путают неожиданные осложнения с Америкой, завершающиеся грандиозным морским сражением в Атлантическом океане. Морское могущество Великобритании (так же, как и Америки) уничтожено. Европейские союзники уклоняются от выступления, доминионы — Канада, Австралия, Южная Африка — отлагаются от метрополии. Фашистская империалистическая политика мистера Паргема, его «самодержавие» терпят полный крах. Британская империя разваливается. Впрочем на самом страшном месте мистер Паргэм благополучно просыпается — все его рухнувшее самодержавие, вся грозная катастрофа оказываются только спиритическим видением, сном. Он вовсе — не грозный самодержец, а скромный мистер Паргэм, благодушный буржуа, профессор, тщетно оживающий экстравагантного миллионера с надеждой, что тот сделает его редак-

тором политического журнала. Напуганный грозной картиной разгрома и распада Великобританской империи, английский читатель-буржуа тоже успокаивается: все ведь это только очередная фантазия мистера Уэллса, в роде нашествия марсиан на Лондон! Пока еще, слава богу и королю, Великобританская империя стоит крепко!

Роман Уэллса написан с обычным его мастерством, с большим юмором. Это блестящая сатира на политику капиталистической Англии и Европы. Уэллс высмеивает не только английский империализм и фашизм в траги-комической фигуре мистера Паргэма — лорда Парамаунта, но даже (какая смелость для фабианца Уэллса!) и «рабочее» правительство Макдональда и К°. Очень едко и остроумно изображено Уэллсом их глупое растерянное поведение при разгоне гвардейцами парламента. Всех их, и Макдональда, и Сноудена, и Гендерсона, легко узнать под переименованными фамилиями. Так же сатирически изображены и другие руководители современной капиталистической Европы — Муссолини, Бриан и др.

И все же, несмотря на такую дальнорукость в политике, Уэллс остается тем же близоруким мелким буржуа, каким он выказал себя в беседе с Лениным. Уэллс совершенно не видит главной движущей социальной силы: пролетариата. Вся история лорда Парамаунта разыгрывается как бы в искусственном безвоздушном пространстве, вне реальной, классовой борьбы, без учета активного вмешательства пролетариата. Уэллс искусственно скидывает его с чашки своих исторических весов и поэтому роман, несмотря на всю уэллсовскую изобретательность, кажется поверхностным, легковесным. Спасение от грозящей мировой войны и катастрофы Уэллс ждет не от пролетариата, а от какой-то надклассовой «идеальной кучки мудрецов, философов», деятелей науки и промышленности, которые, прозрев после вещего спиритического сеанса, как миллионер Басси, откажутся осуществлять дикие фантазии мистера Паргэма и предотвратят надвигающуюся катастрофу. Уэллсу нельзя отказать в известной доле исторического прозрения: так еще задолго до мировой войны он уже описы-

вал ее в своих фантастических романах («Война в воздухе» 1918 г. и др.). «Самодержавие м-ра Паргэма» — тоже знамение времени: значит атмосфера снова сильно заряжена электричеством грозящей мировой войны, если пацифист Уэллс снова ставит ее в фокус своего последнего романа.

### Два года бесплодных скитаний

Среди нового поколения английских писателей, выступивших после мировой войны, видное место занимает ирландец Лиам О'Флаэрти. Он — один из вожаков того нового литературного движения, которое связано с автором «Улисса» Джойсом и которое пытается обновить тематически и стилистически старые консервативные формы традиционного английского романа. В этих своих новаторских попытках новая английская литература перекликается с молодой американской (Хемингуэй, Дос Пассо, Натан Аш и др.). Последняя книга Флаэрти «Два года» (Two years) — рассказ о его двухлетних скитаниях по Европе и Америке десять лет назад. Демобилизованный и разочаровавшийся в империалистической войне, на которую он, по его собственному признанию, так глупо пошел добровольцем, двадцатилетний Флаэрти не знает, что с собой делать, за какое дело приняться. У него нет ни гроша в кармане, нет никакой профессии, ему нужны работа и еще больше приключения. После нервного напряжения на фронте, после боевых опасностей ему претит скучное сидение на одном месте. Он пробует разные профессии, работает на пивоваренном заводе, ночным швейцаром в огеле, клерком на исходящем журнале в конторе, но нигде не засиживается долго. Он свободолюбив и независим, критически и иронически относится к своим обязанностям, его возмущает подчиненное положение невольника, раба капитала. Почти все его попытки служить оканчиваются скандальным внезапным уходом. Жажда приключений тянет Флаэрти в море, и он поступает помощником кочегара на небольшое старое судно, идущее в Рио-де-Жанейро. За Южной Америкой следует Средиземное мо-

ре, Смирна, потом Канада, Нью-Йорк, Бостон. Страны, города, люди, профессии, мысли автора меняются с кинематографической быстротой. Из кочегара и матроса Флаэрти превращается в лесоруба на лесных заготовках в Канаде, потом батрачит на ферме француза канадца, работает на заводе консервированного молока, скитается бродячим рабочим «хобо», на поездках безбилетным пассажиром, служит почталыоном в Нью-Йорке, пока наконец газетное сообщение о вспыхнувшей будто бы в Ирландии революции не возвращает его спешно на родину.

«Два года» Флаэрти — по форме книга очерков, воспоминаний, написанная однако настолько талантливо, что она возвышается до уровня незаурядного художественного произведения. Простота ее стиля показывает мастерство автора. Во время своих двухлетних скитаний Флаэрти видел и подметил много интересного, о чем живо и интересно, с юмором рассказывает читателю. Книга интересна не только своим материалом, но и тем, что более всех других книг Флаэрти показывает нам лицо самого автора. Флаэрти очень откровенен, и сам обнажает корни своего анархического бунтарства. Он восторженно принимает сообщение старого французского солдата о том, что «Россия больше не воюет» (Le Russe ne marche plus). Он «восхищен тем, что целая нация внезапно решила уйти домой из окопов, от смешного дебоша, который всерьез принимают все остальные нации». Но Октябрьскую революцию 1917 года он, по его собственному признанию, не понял. «Октябрьская революция 1917 года не произвела на меня никакого впечатления. В то время я был слишком большим циником и не верил, что есть какой-нибудь разумный план или цель человеческой деятельности». К большевизму и коммунизму Флаэрти, по его признанию, пришел бессознательно. «Постепенно, сам того не замечая, я пришел к заключению, что большевизм — евангелие нового бога. Что он более могущественен и здоров, чем старая мораль... Мое место — среди армии рабочих, ибо там находится та динамическая сила, которая готовится создать новое чувство прекрасного в сознании людей.

новую поэзию, новое космическое сознание. Я стал коммунистом». Однако практических следов этого обращения в коммунизм в книге Флаэрти мы почти не находим, кроме разве упоминания о том, что в Америке он сблизился с индустриальными рабочими мира и пытался вести среди канадских лесорубов революционную пропаганду, за что его быстро выслали из лагеря. Общественные взгляды самого Флаэрти так же импрессионистичны и неустойчивы, как и он сам. Многие его рассуждения, напр. о русской революции и Достоевском, о Марксе и труде, не только путанны, но и наивны, — недаром на ряду с Марксом и Энгельсом Флаэрти читал и Прудона. Двухлётнее пребывание рабочим не вытравило анархического индивидуализма Флаэрти, — он не слился с рабочей массой, остался среди нее инородным телом. «Я пытался, — признается он, описывая свою работу на пивоваренном заводе, — завязать сношения с рабочими и увидел, что они держали меня на почтительном расстоянии... Я не принадлежал к ним, и мой жизненный опыт среди них был из вторых рук». Флаэрти сам очень хорошо говорит о своем бродяжническом индивидуализме. «По своей природе я нахожу настоящее удовлетворение только в мысли и в наблюдении над жизнью... Я никогда не выполнял ни одного социального действия, если меня не побуждала к тому необходимость. Если у меня есть деньги, то я прекращаю их зарабатывать, пока не растрату всего, что имею. Так как я ношу свое честолюбие в себе самом, а не во вне, как другие люди, окруженные стенами, женами, детьми, общественным положением, то я несчастлив только тогда, когда вмешательство общества выбивает меня из круговорота моих размышлений. Даже теперь, когда я стал писателем, — профессия наиболее подходящая для моего характера, — я несчастлив оттого, что должен продавать свои рассказы, чтобы купить себе досуг для их сочинения». Несмотря на такой свой пассивно-созерцательный индивидуализм, Флаэрти ясно видит, что «для всякого писателя, художника или скульптора XX столетия совершенно необходимо пристальное изучение общественных движений... Иначе

они будут только копировать прошлое. Многие писатели и художники боятся этого. Они находят машину грубой, слишком шумной, резкой, жестокой. Они не любят новую возникшую аристократию — пролетариат. Они тащатся позади в обозе, тогда как художник должен быть всегда в авангарде». Флаэрти восторженно приветствует разрушительницу старой веры, старого бога — машину и единственный недостаток машинного труда видит в том, что при существующем капиталистическом строе рабочие «всюду рабы (за исключением одной России)». Работа батраком у французского фермера в Канаде приводит Флаэрти к заключению, что «одной из главных целей цивилизации должно быть уничтожение крестьянина, т.-е. освобождение его от рабского служения земле».

### Два новых имени: Бриттон и Грант

Начинающим писателям в Англии, так же, как и в других капиталистических странах, очень трудно пробить себе дорогу. Издатели предпочитают издавать уже апробированных авторов, на которых есть спрос на рынке, и неохотно идут на риск, связанный с изданием произведений хотя бы и очень талантливых новичков. Из таких дебютантов заслуживают внимания два новых интересных и серьезных автора: Бриттон и Грант.

Роман Лайонеля Бриттона «Голод и любовь» (*Hunger and Love*) вызвал восторженный отзыв Эптона Синклера «Такого произведения, — пишет Синклер, — я ждал в течение двадцати лет. Это действительно большое произведение пролетарского писателя нового поколения в Великобритании... В нем чувствуется божественное исступление гения, революционная пламя и в то же время всеобъемлющая широта. Книга чересчур длинна, но то же самое можно сказать о доброй половине шедевров мировой литературы... Наконец-то в Англии появился новый писатель, которого можно поставить рядом с Уэллсом и Шоу».

«Голод и любовь» Лайонеля Бриттона представляет собой огромный том,

около пятидесяти листов, в роде «Американской трагедии» Драйзера или «Улисса» Джойса, влияние которого чувствуется в композиции романа. Книга — наполовину роман, наполовину научно-популярный трактат! Бриттон очень резко критикует капиталистическое общество и современного капиталистического человека с его индивидуалистической психикой и противопоставляет им будущее социалистическое общество и будущего идеального человека с социальной психикой. Многочисленные авторские философские, социологические, биологические отступления, комментарии вплетены в ткань беллетристического повествования и служат для него то фундаментом, то надстройкой, то связующим цементом. Выбранные из текста романа, они могли бы составить особый трактат или памфлет. Но Бриттон крепко спаял их с сюжетом своего романа и с жизнью своего героя, сначала подростка, потом юноши, Артура Фелпса, приказчика книжного магазина тайком, в жажде самообразования, поглощающего разные книги и за это изгоняемого хозяевами со службы. В истории жизни и развитии Артура Фелпса несомненно много автобиографического: Бриттон сам много лет служил приказчиком в книжных магазинах. Книга Лайонеля Бриттона, изданная одновременно в Англии и Америке, обратила на себя внимание и вызвала многочисленные отзывы в газетах. Роману Бриттона нельзя отказать в значительности, но он слишком громоздок, слишком перегружен балластом и трудно читаем, к тому же многие рассуждения Бриттона, кажущиеся такими актуальными и смелыми для англо-американских читателей, для нас вовсе не являются откровениями и подчас даже могут показаться тривиальными или наивными.

Совсем в ином роде роман другого дебютанта, еще очень молодого, начинающего писателя Гранта «Спина к спине» (The Back — to Backs). Грант не прибегает ни к каким научным обобщениям, комментариям, он воздействует на читателя методом художественного показа, предоставляя ему самому делать выводы из развернутой перед ним карти-

ны жизни. Роман Гранта — горняцкий. о горняках. В английской литературе довольно много художественных произведений о горняках (Уэлш, Рис Дэвис, Хезлоп, Джо Корри и др.). Однако и среди них «Спина к спине» Гранта выделяется своим ярким мрачным своеобразием. Любопытен отзыв о романе Гранта Флаэрти. «Это первая книга автора, — пишет в предисловии Флаэрти, — о котором я не знаю ничего, кроме того, что его фамилия Грант. Это страшное предостережение для каждого мыслящего человека. Ибо, если подобное низкое рабство существует среди нас, если мы допускаем, чтобы значительная часть нашего народа жила в таких условиях, более грязных, более животных, чем пещерные люди первобытных времен, то значит крушение нашей цивилизации может быть предотвращено только одной немедленной революцией. Когда я читаю об этих горняках и вижу их во всей их наготе благодаря изобразительной силе автора книги, то я чувствую все безобразие нашей цивилизации и чувствую себя ответственным за такую нищету, раз я не взял камня и не бросил его в механизм социального строя, допускающего подобное рабство...» Если таково впечатление Флаэрти от романа Гранта, то немудрено, что читатели из породы английских твердолобых, как напр. профсоюзный чиновник, секретарь нортунберлендской ассоциации горняков Вильям Стрэккер и В. Райт, объявили книгу клеветой на горняков. «Если бы я только мог, — пишет В. Райт, — то я уничтожил бы этот роман. Это — грязная, фальшивая и тенденциозная книга, клевета на прекрасную плоть мужчины и женщины».

А между тем сам автор романа вовсе не революционер, и книгу его нельзя назвать в прямом смысле революционной. Грант — не горняк и даже не рабочий, он сын технического служащего в шахтах. В романе нет ни стачек, ни революционной борьбы горняков. Нет даже описания безработицы, ставшей хронической среди английской горняцкой массы. Горняки у Гранта пользуются сравнительным благополучием, то-есть получают ту долю материаль-



ных благ, которую им уделяют из своих прибылей капиталисты. Горняцкому поселку Хаггер, изображенному в романе, еще не грозит страшная судьба того другого, безработного, вымершего горняцкого поселка, о котором мимоходом упоминает Грант. Горняки Хаггера ютятся в коттеджах-хибарках, тесно, как курятники, расставленных «спина к спине» на грудах шахтных отбросов. Они могут выращивать в сарайчиках, на задворках порей или чеснок, могут быть членами футбольного и других спортивных клубов и разных аполитических невинных обществ, в роде общества любителей порей и разведения голубей, могут участвовать в торжественных процессиях и бить в барабаны армии спасения. Предприимчивые торговцы устраивают для них иногда ярмарочные развлечения с балаганами-аттракционами и боченками пива. Но все это только еще резче подчеркивает невыносимый кошмар их рабской жизни; наследственных, пожизненных крепостных рабочих шахты. Ярким символом этого рабства является та лямка-хомут, в которую когда-то раньше впрягались откатчики и на которой вешается ночью в тоске по своему погибшем любимом сыне старый шахтер Джордж Шильдейкс. Горняки у Гранта еще классово несознательны, дальше профсоюза и кассы взаимопомощи в своей борьбе с предпринимателями они не идут. Только в среде учителя Тен-тергарта слышатся робкие революционные отклики, но и они остаются только словами. Сам автор не делает никаких революционных выводов из своего кошмарного романа. Но эти выводы напрашиваются сами собой, и их уже, как мы видели, сделал в своем предисловии к книге Гранта Лиам О'Флаэрти.

Роман Гранта написан с удивительной для первого произведения молодого, начинающего автора художественной силой. По свежести и яркости образов, по насыщенности содержания, по выразительности языка «Спина к спине» Гранта не уступает лучшим вещам новой молодой школы англо-американской литературы (Дос Пассос, Хемингуэй, Флаэрти и др.). Образы Гранта часто

близки к гротеску по своей кошмарности, но сотканы они всегда из самых реалистических мелких черточек быта. Образцом художественного метода Гранта является глава о самоубийстве старика Шильдейкса, после которой у читателя остается такое же сильное, кошмарное впечатление, как от рассказов Эдгара По. Недаром Ричард Ольдингтон (автор романа «Смерть героя») и другой молодой талантливый писатель, вышедший из горняков, Рис Дэвис (автор переведенного на русский язык романа «Засохший корень»), сравнивают Гранта по силе фантазии с Эдгаром По и де-Квинси. Как бы ни были преувеличены эти восторженные отзывы, несомненно, у Гранта (если только он не собьется на проторенную дорожку фабрикации ходких романов и сумеет углубить социально свое творчество) есть шансы занять со временем одно из первых мест в современной английской литературе.

### „Бродячий парнишка“ Ашли и „Красная земля“ Хезлопа

Если мы от Бриттона и Гранта передвинемся левее, к левому крылу многочисленных революционных писателей Англии, то встретим там тоже новое имя: Чарльза Ашли. Правда, Чарльз Ашли не совсем дебютант в литературе. Он уже давно известен как журналист и поэт, но в прозе, как романист, он выступает впервые со своим «Бродячим парнишкой» (Rambling Kid).

Биография самого Ашли очень интересна. Он много скитался по Северной и Южной Америке, был матросом, бродячим рабочим «хобо», членом союза индустриальных рабочих мира — «вобли». Он был одним из обвиняемых на известном процессе индустриальных рабочих мира вместе с Биллем Хейвудом и др. и был как британский подданный выслан из Соединенных Штатов. Роман Ашли «Бродячий парнишка» — отзыв этих скитаний и злоключений. Герой романа юноша Джо, сын лондонского грузчика, эмигрирует вместе с семьей в Соединенные Штаты, работает сельскохозяйственным рабочим «хобо» во время

уборжи урожая, становится «вобли», т.-е. членом индустриальных рабочих мира, попадает в тюрьму, скрывается и в конце концов едет вместе с русскими революционерами эмигрантами летом 1917 г. в Россию, чтобы принять участие в Октябрьской революции.

Роман Ашли интересен по своему материалу, но написан несколько сухо-вато. Автор не сумел справиться с последней частью и искусственно оборвал ее, отправив своего героя прежде времени в Россию. Было бы естественней и интересней, если бы Ашли проеледил дальнейшее развитие своего юного героя на американской почве, показал бы шире революционную деятельность индустриальных рабочих мира и процесс над ними. Материала для этого у Ашли нашлось бы достаточно из его собственного богатого опыта. Тем не менее роман интересен и в своем неразвернутом, не совсем законченном виде. Автор показывает разорение трудового американского фермерства, опутанного банками и закладными, показывает сельскохозяйственный пролетариат и его борьбу с капиталом. Выступление Ашли заметно усиливает левое революционное крыло рабочих писателей Англии, которое на международном конгрессе революционных писателей в Харькове в ноябре 1930 г. представлял один Гарольд Хезлоп.

Последний роман Хезлопа «За бортом жизни» (Youney Beyond), в английском издании вышедший с измененным заглавием «Марта Дарк» (Marta Dark), издан уже в русском переводе, и мы поэтому говорить о нем здесь не будем. Упомянем только о другом неизданном рукописном романе Хезлопа «Красная земля» (Red Earth). Роман этот интересен своей темой: в нем автор впервые в английской литературе попытался изобразить грядущую близкую революцию в Англии. Однако с этой большой темой молодой автор явно не справился. Изображение революции у него получилось слишком схематическое, упрощенное. Следуя шаблонным традициям английской беллетристики, Хезлоп ввел в свой роман бульварную любовную интригу: любовь вождя революционеров к дочери премьера министра,

которого после переворота он должен расстрелять. Самая живая страница в романе, пожалуй,—описание разговоров горняков-депутатов на съезде советов. Тут автор в своей сфере и дает несколько колоритных фраз. Неудача Хезлопа с его последним очень революционным по теме романом (Хезлоп идет так далеко, что уничтожает весь английский королевский дом) показательна: она показывает, от какого груза буржуазных предрассудков и мещанских пошлостей следует освободиться молодому рабочему писателю, чтобы стать подлинным пролетарским писателем. В значительной мере этому причиной та тяжелая обстановка, в которой приходится работать английским рабочим писателям. Буржуазные издатели бойкотируют рабочих писателей, а если и издают, то искажают, сокращают, приспособляют. старательно тащат в болото буржуазной пошлости. Хезлоп напр. задумал новый большой роман о горняках, но издатель «Марты Дарк» заранее отказывается от печатания такого романа: опять о рабочих, о производстве, это не пойдет, неинтересно нашим читателям! Дайте что-нибудь другое, более читабельное! И нередко рабочему автору, желающему видеть свое произведение напечатанным, приходится идти на компромисс и приспособляться ко вкусам буржуазных читателей. Следы такого компромисса мы видим и в романах Хезлопа, в которых рабочее содержание нередко искажается дешевыми бульварными любовными и пр. историями. Надо пожелать английским рабочим писателям поскорей организовать свою секцию МОРП и свое рабочее издательство. Недавний конгресс в Харькове и издание «Вестника мировой революции» на четырех языках (в том числе и на английском) несомненно ускорит создание такой секции и ускорит развитие англ. пролетарской литературы, до сих пор еще очень слабой, распыленной.

### Америка на первом месте

Американская литература в нашей переводной беллетристике заняла в последние годы первое место. Мы уже говорили выше о том, что Америка начала

обгонять Англию и в области литературы. Правда, американская литература в среднем по художественному мастерству значительно ниже французской. Правда, в ней нет того сильного крыла пролетарских писателей, как в Германии. Но зато в американской литературе мы видим большое, часто громоздкое содержание, не укладывающееся в художественную форму, в противоположность французской, где обычная ювелирная обработка прикрывает надоевший адюльтер или мелкий скептицизм. В американской литературе нет почти чисто пролетарских писателей, как в Германии. И тем не менее, может быть, одного Майк Голда. Но зато в Америке мы находим сильное крыло радикальных и революционных писателей, таких, как Эптон Синклер, Дос Пассос, Агнесса Смедли, Мэри Ворс, Гаррисон и др. Американская литература близка нам своими грандиозными масштабами: в ней отражается кипучая жизнь целого молодого материка, пестрое разнообразие рас и национальностей, огромные промышленные центры и первобытные пустыни, контрасты богатства и нищеты, назревающие социальные конфликты, всегда готовые вспыхнуть огнем яростной классовой борьбы. Молодая американская литература живет кипучей, торопливой и напряженной жизнью. В ней нет застоя, и ряды ее беспрерывно пополняются новыми и новыми именами.

### „Римский праздник“ Синклера и „Рассвет“ Драйзера

Из старого поколения писателей, создателей большого социального американского романа, наиболее активны за последний год были Эптон Синклер и Теодор Драйзер. Синклер, несмотря на свой солидный возраст и болезнь, ставит настоящие рекорды работоспособности и литературной производительности. За последние два года им написаны три новых романа: «Маунтэн Сити» (Mountain City), «Римский праздник» (Roman Holiday) и третий, еще неопубликованный. «Маунтэн Сити» («Город в горах») — история бывшего мальчика ковбоя Джо Рошера, ставшего миллионером благодаря своей не-

обычайной ловкости и удачной спекуляции нефтеносными участками. По содержанию роман несколько напоминает «Финансиста» Драйзера, но менее глубокий и художественный, хотя более заостренный, сатиричен. «Римский праздник» написан в необычайной для Эптона Синклера уэллсовской манере. Действие романа развивается в двух планах: первая часть, реалистическая, современная, происходит в Америке, вторая, бредовая, фантастическая — в древнем Риме в эпоху борьбы плебеев с патрициями. Сюжетно это построено очень естественно и искусно: роман написан в форме записок, в которых герой, по совету лежившего его врача, излагает все, что с ним было, сначала в действительности накануне катастрофы на автомобильных гонках и потом в бреду, когда он лежал больной с воспалением мозга. Последние дни и ночь перед гонками герой романа, спортсмен-автомобилист, гонщик из богатой влиятельной семьи, проводит в том, что вместе с вооруженной бандой фашистской «золотой» молодежи арестовывает и изгоняет из города «красных» рабочих агитаторов — руководителей забастовки. При этом он сталкивается с девушкой, тоже «красной», революционеркой, которая производит на него сильное впечатление. В результате бессонной ночи герой разбивается на гонках и в бреду, во время мозговой болезни, ему кажется, что он разбился на конских ристалищах в древнем Риме. Семья и знакомые его преобразуются в патрициев, дядя, американский сенатор, — в сенатора римского, а «красные» рабочие агитаторы — в мятежных плебеев, последователей братьев Гракхов. После своего двухнедельного пребывания в древнем Риме герой наконец приходит в себя и снова возвращается в Америку. Сюжетно все это сделано очень искусно. Автор заранее отстраняет возможные упреки в исторической неточности. Ведь это не подлинный Рим, а тот, который чудился в бреду его герою. Это дает возможность автору сделать свой роман внешне более увлекательным и провести ряд смелых, рискованных параллелей между древним Римом и современной капиталистической Америкой. «Римский празд-

ник» имел успех, некоторое время даже числился в списке наиболее ходких книг, что для Эптона Синклера не совсем обычно. Однако для нас более значительной и интересной остается все же первая, неразвернутая реалистическая часть романа о современной Америке с мастерским описанием столкновений фашистов и красных и автомобильных гонок, а не вторая, римская часть. Читатель невольно пожалует, что Синклер не развил первой части и чересчур увлекся своими рискованными аналогиями между капиталистической Америкой и древним Римом, между современной классовой борьбой пролетариата и борьбой плебеев с патрициями.

Теодор Драйзер дал в прошлом году двухтомную «Галерею женщин» (*A Gallery of Women*), ряд рассказов, художественных портретов, разных типов женщин, книгу, несколько напоминающую его «Двенадцать мужчин» (*Twelve Men*), в русском переводе «Двенадцать американцев». Вслед за «Галереей женщин» недавно вышел «Рассвет» (*Dawn*), первый том «Истории моей жизни», дословно «История меня самого» (*A History of Myself*). В «Рассвете» списывается жизнь мальчика и юноши Тео (уменьшительное от Теодор) до 19-летнего возраста. За первым томом должны последовать другие, описывающие жизнь Драйзера-журналиста и романиста. «Рассвет» написан с присущими Драйзеру обстоятельностью, громоздкостью, серьезностью и большой искренностью. Некоторые критики находят, что рядом с «Исповедью» Руссо «Рассвет» наиболее правдивая и глубокая книга о «самом себе». «Рассвет» интересен не только как автобиография Драйзера, книга займет и, свое особое место среди его крупных художественных произведений.

### Грозовая 42-ая параллель

Из новой плеяды, послевоенных американских писателей наиболее яркое и многообещающее Дос Пассос. По таланту среди молодых с ним соперничает один Хемингуэй, который раньше его стал на путь новаторства и даже оказал на него некоторые влияния. Но Хемингуэй, несмотря на свое новаторство и блеск, бо-

лее ограничен в своем диапазоне, более аристократичен, — Дос Пассос гораздо шире его по социальному захвату. Даже в своем шумевшем, действительно ярком военном романе «Прощай, оружие» (*Farewell to Arms*). Хемингуэй не развертывает полной картины войны на итальянском фронте, а дает ее только как фон для любовной истории американского офицера и английской сестры милосердия, обрывающейся трагически — смертью героини на операционном столе после кесарева сечения. «42 параллель» Дос Пассоса — вторая часть его трилогии, продолжение «Манхаттена». Роман открывается эпиграфом о бурях, движущихся по этой параллели через весь американский материк. И действительно роман насыщен грозным электричеством, которое сыплется искрами из перебивающего повествование громкоговорителя «катушки новостей», из кратких, как стихи в прозе, жизнеописаний Билла Хейвуда, Эдиссона, Юджина Дебса, Лафайэта и др. Сюжетная канва романа построена очень сложно, — это переплетающаяся история четырех разных лиц, из которых один — рабочий, революционер, член организации индустриальных рабочих мира. Любопытен прием художественного литмонтажа из обрывков газетных сообщений, речей, реклам, втиснутых в «катушку новостей». Их резкий, металлический выкрик, как черная труба гигантского громкоговорителя, рассекает и перебивает повествование, показывая, на каком общественном фоне развертывается личная жизнь героев. О всей трилогии в целом можно будет судить только после выхода третьего, заключительного тома «1919». Но сейчас уже, судя по двум первым томам, можно сказать, что роман-трилогия Дос Пассоса — одно из значительнейших произведений американской литературы за последние десять лет.

### Кутеж в ночь казни Сакко и Ванцетти

Натан Аш, сын известного еврейского писателя Шолома Аша, вышел из новой школы американских писателей, так называемых «примитивистов», во главе которой стоял Хемингуэй. На русский язык переведен первый роман Аша из жизни нью-йоркских клерков «Кон-

тора» (Office). Интересен его последний роман «День полочки» (Payday), написанный очень остро и свежо. В романе описан один день жизни, «день полочки» молодого клерка. День этот так же ничтожен, пошл и мелок, как и сам герой романа — стандартный, ничем, кроме развлечений и женщин, не интересующийся молодой человек, типичный представитель десятков, сотен тысяч мелкобуржуазной «золотой» клерковской молодежи Нью-Йорка. День этот знаменателен только одним, — он совпадает своей датой с днем казни Сакко и Ванцетти. Но сам герой романа об этом даже не знает. Возвращаясь по подземной дороге домой, занятый мыслями о том, как бы выкроить из своей полочки деньги на кино и кутеж, переглядываясь и прижимаясь в давке к каким-то двум приглянувшимся ему девицам, он случайно в газете у соседа читает напечатанное крупно сообщение о готовящейся казни Сакко и Ванцетти. Но Джима (имя клерка) это мало интересует. Он даже не знает толком, кто они — какие-то «красные, анархисты», — раз казнят, значит за дело. Его гораздо более интересует предстоящая вечером встреча с кельнершей Еленой. Дома Джиму приходится бежать за примочкой в аптеку: его знакомую девушку-соседку ударил по голове палкой полисмен, когда она, возвращаясь со службы, случайно попала в какую-то демонстрацию протеста против казни Сакко и Ванцетти. Джим встречается вечером с Еленой, идет с ней в кино, потом в ночной потайной кабачок, где, потеряв ее в пьяной сутолоке, знакомится с другой девицей Анной и попадает в компанию кутящего со своей содержанкой, сестрой Анны, пожилого сенатора из Бостона. В ночной кутеж грозным «мemento мори» врывается время от времени весть о казни Сакко и Ванцетти, то в пьяном споре сенатора с каким-то посетителем, упоминающем о готовящемся убийстве в Бостоне, то в выкрике ворвавшегося в кабачок на рассвете мальчишки-газетчика: «Сакко и Ванцетти казнены... Сожжены час назад... Утренняя газета...»

Натан Аш пишет импрессионистически ярко, — все события, описания даны через призму скачущих непоследователь-

ных мыслей и восприятий его легкомысленного героя. Ночной кутеж и опьянение переданы мастерски, точно по радио, пестрым сумбуром отрывочных фраз, восклицаний, выкриков, действий и шумов. Несколькими штрихами обрисован «старый суккин сын» (как зовет его про себя Джим), пошляк сенатор из Бостона, самодовольно разглагольствующий в кабачке о готовящейся казни Сакко и Ванцетти: «Они бы не прожили так долго; если бы это зависело от меня... Ведь они красные, не так ли? Они большевики? Для них нет места в нашей стране...»

Описанный Ашем кутеж в ночь казни Сакко и Ванцетти вызывает негодование у читателя. Однако сам автор чересчур сузил свою тему, слишком увлекся ночными похождениями своего ничтожного героя, к которому относится, хотя и иронически, но добродушно. В сущности Джим, в изображении автора хотя и пустой, но не такой уж плохой малый, — вернувшись утром домой, он даже сочувственно вздыхает: «О, боже! Они уже мертвы!», вспомнив о казни Сакко и Ванцетти. Этим Натан Аш сильно снизил ценность своего романа и лишил его той значительности, какую он мог бы иметь при более углубленной разработке той же темы.

### Роман о стачке гастонских текстильщиков

Стачка гастонских текстильщиков — одно из замечательнейших революционных выступлений американского пролетариата за последние годы. О ней много писалось в газетах в свое время, писалось и о погроме фашистами лагеря забастовщиков и о грозившей казни на электрическом стуле жоакам забастовки по обвинению в убийстве полицейского. Описанию этого известного события посвящен роман Мэри Хитон Ворс «Стачка» (Strike).

Мэри Ворс была корреспондентом во время стачки гастонских текстильщиков, находилась в самой гуще событий — в штабе забастовщиков — и хорошо знала руководителей движения. Вся обстановка и развитие стачки, все персонажи романа вплоть до главного героя, руководителя забастовки

Фера Дина, взятые из действительности. Даже в выведенном в романе газетном корреспонденте, сочувствующем забастовщикам, легко узнать переодетую под мужчину самую Мэри Ворс. Роман дает в живой художественной форме много интересного бытового материала не только о стачке гастонских текстильщиков, но и вообще о положении рабочих Юга. Рабочая масса, в большинстве своем отсталая, классово еще несознательная, находится в положении почти белых невольников, полукрепостных. Рабочим не разрешается организовываться в профсоюзы, малейшая их попытка выступить на защиту своих самых элементарных прав подавляется вооруженной силой. Каких героических усилий, какой борьбы стоит гастонским текстильщикам в романе «Стачка» первая попытка основать свой юнион! Против них выступает не только полиция и войска, но и все вооруженное буржуазное население города. Пикеты забастовщиков, состоящие в большинстве из женщин, арестовываются и зверски избиваются. Продовольственные склады, из которых голодающие дети и семьи забастовщиков получают свой скудный паек, громятся и уничтожаются. Вожди забастовщиков постоянно, как негры, находятся под угрозой линчевания. Доведенные до крайности, выброшенные вместе со своим скарбом на улицу под дождь, забастовщики устраиваются в палатках, в лагере, — лагерь ночью подвергается налету и разгрому.

На скамью подсудимых попадают не громилы-насилыники, а руководители забастовки. Им грозит смерть на электрическом стуле за то, что в беспорядочной ночной перестрелке кем-то был убит полицейский агент.

Все эти факты были известны раньше из газет, но то были только сухие краткие сообщения, — в романе же Мэри Ворс они облекаются в плоть и кровь, становятся живой реальностью. Перед читателем проходят живые разворачивающиеся подлинныя события, художественно рассказанные очевидцем. В этом сила романа и заслуга автора. «Это первый большой роман рабочих Юга, жгучий, незабываемый эпос» — пишет о романе Ворс Майкл Голд. «Роман написан так просто и непосредственно,

что задевает вас за самое сердце» — отзыв Дос Пассоса. Нельзя сказать, чтобы Мэри Ворс вполне справилась с поставленной себе задачей — изобразить в художественной эпической форме романа стачку гастонских текстильщиков. Фактический материал романа более значителен и интересен, чем его художественная переработка, чем сам роман. «Стачка» Мэри Ворс местами написана несколько сентиментально, расплывчато. Фигура главного героя, вожака забастовки Фера Дина, чересчур выдвинута на первый план. Автор старается сделать из него не столько классово сознательного борца-пролетария, сколько мученика за рабочее дело. Хорошо показывая героизм и энтузиазм рабочей массы, в общем отсталой, еще классово несознательной, автор в то же время местами преувеличивает ее пассивность и непротивленчество по отношению к провокаторским издевательствам полиции и фашистских банд. В действительности, как мы знаем по рассказам участников, стачка гастонских текстильщиков происходила в более активной, сознательной революционной обстановке классово-вой борьбы.

### Два романа Чарльза Гаррисона

Имя Чарльза Гаррисона только недавно стало известно советскому читателю как автора военного антиимпериалистического романа «Генералы умирают в постели» (*Generals die in Bed*). По простоте и правдивости повествования, по форме (рассказ-дневник) роман этот несколько напоминает известный роман Ремарка «На западном фронте без перемен», хотя написан независимо от последнего и почти одновременно. Роман Гаррисона по силе и художественности уступает роману Ремарка, но зато более социально заострен, как показывает уже самое его название. Это история юноши, поступившего добровольцем в канадские войска и отправленного на фронт во Францию. Патриотический угар скоро выветривается из его головы, и он начинает понимать весь ужас мировой капиталистической бойни. Особенно пикантны по своим разоблачениям две последние главы книги «Аррас», где описывается пьяный разгром войсками союзников внезапно

покинутого жителями города, и «Мщение» с описанием расстрелов сдающих-ся в плен германских солдат.

Новый роман Гаррисона «Ребенок родился» (*A child is born*) описывает уже на войну, а доки Нью-Йорка, «трусобы Бруклина, около покрытого нефтью канала — Ред Гук». В семье грузчика Эдварда Робертса родится мальчик, которому дают имя Артур. Во время войны в доках много работы по погрузке военных грузов, и заработная плата грузчиков повышается. Робертс не сидит без работы, и жена его даже начинает откладывать сбережения на черный день, делая взносы агенту страховой компании. Но после заключения мира положение резко меняется к худшему—заработная плата грузчиков снижается, им грозит безработица. Профбюрократы желтого тред'юниона за спиной рабочих ведут соглашательскую, предательскую политику, — заключают соглашение с предпринимателями о снижении зарплаты. Возмущенные рабочие начинают стачку, в доки вызываются войска. Эдварда Робертса убивает на улице полиция в то время, как он пытался поднять и унести в сторону раненую женщину. Семья остается без всяких средств, пропадают даже накопленные страховые взносы, так как во время забастовки просрочен срок очередных платежей. Мать Артура поступает работницей на мешечную фабрику и оставляет его дома одного без надзора. В компании уличных мальчишек Артур ворует сласти у торговца и за это как несовершеннолетний, попадает вместо тюрьмы в филантропическое исправительное заведение. Во второй части романа Гаррисон описывает жестокий тюремный режим филантропического исправдома с варварскими телесными наказаниями, с подвешиванием на ночь в холодном карцере. Роман кончается тем, что доведенный до отчаяния Артур, рискуя жизнью, ночью во время пожара бросается в воду и плывет от острова, где помещается исправдом, к далекому манящему заревом огней Нью-Йорку.

Роман Гаррисона—ярко обличительный,—недаром в буржуазной прессе, в «Нью-Йорк Таймсе», его называли «пропагандистским». Гаррисон разоблачает ханжескую филантропию нью-йоркских «от-

цов города», устраивающих каторжные «исправительные» тюрьмы для детей пролетариата, жульническую систему страхования, отнимающую у рабочих последние сбережения, предательскую соглашательскую политику желтых тред'юнионов, провокаторскую и беспощадную расправу полиции над мирными забастовщиками. Повествование перебивается (так же, как и у Дос Пассоса) вставными цитатами из речей, газетных сообщений, своим контрастом еще более усиливающих действие романа. Так, после сцены, описывающей, как вдова убитого лишилась всех своих страховых взносов, следует речь бывшего президента на съезде во Флориде «о благах» страхования для «американского народа», о том, «что о здоровой экономической мысли нации наглядно свидетельствует ежегодное вложение биллиона долларов в страхование жизни». Артура подвешивают на ночь в холодном темном карцере, и он впадает в полубессознательное бредовое состояние, лишается представления о времени и месте, вслед за этим следуют выдержки из доклада профессора о теории относительности. Второй роман Гаррисона социально более заострен, более революционен, чем первый. Он гораздо сложнее по своей композиции, в нем чувствуется влияние школы Дос Пассоса. Актуальный разоблачительный материал преподнесен читателю с боевым задором и темпераментом. Однако зачастую журналист в Гаррисоне берет верх над художником, и повествование его становится несколько схематичным, суховатым. Рабочая жизнь автору, видимо, менее знакома, чем военная, и ему нередко приходится пользоваться материалами из вторых рук. Несмотря на эти недостатки, роман Гаррисона—заметное явление среди новинок революционной литературы.

### Новый негритянский роман

Среди американской литературы совершенно особое место занимает негритянская. Она еще моложе американской и быстро развилась за одно столетие, протекшее со времени так называемой «эмансипации» негров после гражданской войны Севера с Югом. Молодая негритянская литература насчитыва-

ет уже немало поэтов и писателей. Прошлый год дал новый ценный вклад в американскую негритянскую литературу: роман «Не без смеха» Лэнгстона Хьюза (Not Without Laughter). Это первое крупное прозаическое произведение молодого, но уже известного негритянского поэта, впервые выступившего со сборником своих стихов в 1926 г. Проза Хьюза так же свежа, лирична и непосредственна, как и его поэзия. В романе описывается жизнь негритянской рабочей семьи в одном из небольших городков Юга. В центре повествования — негритянский мальчик Сэнди. Отец его Джимбой — бродячий рабочий, скитающийся в поисках работы по разным городам и только изредка навещающий свою семью. Мать — кухарка, работающая у зажиточных белых и тайком подкармливающая своего сына об'едками с чужого стола. Бабушка Хагер — прачка, представительница старого поколения, еще помнящего рабство и полного религиозных предрассудков. Сестра Сэнди Генриэтта жадно рвется к лучшей жизни, закрытой для негров, и убегает из дома с бродячим цирком. От уличной проституции ее спасает только музыкальность и голос, — после долгих злоключений Генриэтта становится известной негритянской певицей. Сэнди рано знакомится с классовым и расовым неравенством. На кухне ему приходится в ожидании об'едков с чужого стола выслушивать, как делают выговоры его матери. В кино он должен очищать место для белых. В сад на праздничное гулянье, хотя у него и есть билет, его не пропускают так же, как и других негритянских детей. Первая работа, которую Сэнди получает в отеле, самая унижительная — ему приходится чистить медные плевательницы.

### 3. 0 „ПРОЛОГЕ“ В. КАВЕРИНА

Инт. Оксенов

В. Каверин был одним из «Серапионовых братьев», одним из основателей и членов группы, провозгласившей при своем зарождении лозунги «самостоятельности» и «независимости» искусства. «Искусство не имеет цели и смысла... существует потому, что не может не су-

ществовать» — так формулировали «Серапионы» свою литературно-общественную платформу. Об этом можно было бы не вспоминать (тем более, что теоретические высказывания «Серапионов» имеют десятилетнюю давность), если бы Каверин не был единственным из быв-



ших «Серапионовых братьев», пронесшим указанную идеологию почти в полной чистоте и неприкосновенности через все последующее революционное десятилетие.

Действительно, почти все творчество Каверина было попыткой раскрытия и воплощения этой типично мелкобуржуазной (притом конечно реакционной) формулы о бесцельности и нейтральности искусства. Подобная «установка» практически приводила к тому, что произведения Каверина при всем их формальном блеске были лишены сколь-нибудь заметной глубины, — той самой глубины, которая заставляет читателя и критика ценить писателя и считаться с ним, принимая его или отвергая. Но это не значит, что все произведения Каверина были объективно «бесцельны» и «нейтральны».

В «Конце хазы» например мы наблюдаем резкое и грубое извращение социальной действительности, социальной перспективы (бандиты-налетчики оказываются романтическими героями). В «Скандалисте» мы встречаем изображение ленинградских литературных и академических кругов, имеющее характер сатиры под определенным углом зрения, — формальной школы, с которой Каверин тесно связан своим мировоззрением. Формализм Каверина привел его к тому, что в лучшем (на наш взгляд) и наиболее популярном своем произведении «Девять десятых судьбы», тема которого — Октябрьские дни в Петрограде, писатель не сумел пойти дальше и глубже типичного авантюрного романа. К этому обзору можно еще добавить известное количество рассказов-новелл с сюжетами авантюрного, экзотического или анекдотического характера. В основном это будет все, что имелось у Каверина к началу периода «перестройки» попутнической литературы.

Как видно из нашей исторической справки, Каверина даже нельзя было бы назвать «отсталым попутчиком». Он шел большей частью совершенно иными путями, чем многие его товарищи, с боем пролагавшие себе дорогу к новому методу и содержанию. Пути, которыми шел Каверин, привели его или к созданию вещей чисто развлекающего порядка (рассчитанных на специфиче-

ского читателя), или к извращенному преломлению революционной эпохи. В том и другом случае контакта с подлинной современностью у писателя не было. Тем труднее оказалось его положение, когда настал ответственный момент творческого «переворужения».

Немногие писатели, вообще говоря, оказались готовыми к этому моменту. Только те из них, творчество которых логически последовательно развивалось в сторону наибольшего сближения с современностью (М. Шагинян, Н. Тихонов, М. Слонимский и др.), дали произведения значительной литературно-общественной ценности. Труднее же всего пришлось писателям, для которых, как для Каверина, вопрос о «перестройке» связан с коренным пересмотром идейно-философских позиций и творческого метода, т.-е. всего писательского мировоззрения в целом.

На лозунг «перестройки» Каверин ответил «Прологом» — книгой «путевых рассказов». Заглавие книги указывает, повидимому, на то, что эти рассказы являются каким-то поворотным пунктом в пути автора, «прологом» к новому этапу творчества (возможно конечно иное толкование этого названия, дело не в этом). Что же имеется в «Прологе» принципиально нового для его автора?

Новым и необычным для Каверина является тема и материал книги. «Пролог» — книга рассказов, стоящих на грани очерка и посвященных изображению жизни одного из зерносовхозов. Писатель таким образом впервые прикоснулся к сегодняшней реальной советской действительности на одном из участков социалистического строительства. В творчество Каверина вошел свежий и необычный для него материал, обладающий конечно своими специфическими социальными и бытовыми чертами, материал, имеющий наконец определенное политическое значение.

Работа на фактическом материале трудна и нередко у самых опытных писателей влечет за собой неудачи. Важно качество этих неудач. Здесь основным является вопрос о практическом методе. О методе Каверина мы говорили выше. В «Прологе» этот метод остается в основном тем же. Каверин — один из самых «книжных» наших писателей, его

творчество «пролитературено» насквозь. Прекрасно в своем роде учитывая требования литературной спецификации, Каверин в «Прологе» оказался не в состоянии учесть специфические особенности нового для него материала. В этом одно из основных качеств его неудачи, проистекающее из непреодоленного писателем идеалистического мировоззрения.

В самом деле, от конкретной действительности в «Прологе» осталось немного, а в той ее части, которая показана, перемешаны наблюдения различной ценности и значительности. Правда, Каверин говорит о трудовом героизме работников зерносовхоза, об их борьбе со степью и грязью, он говорит о «праве на биографию», которое «приходит из города в поселение землепашцев, в бродячие кочевья скотоводов».

«Оно приходит в замасленных комбинезонах, запыленное, усталое от десятичасовой работы на полях. Оно пахнет потом и керосином. Отряхивая соломенную пыль, оно просит напиток воды у становища чабана».

И на вопрос об имени, отчестве и звании оно говорит ему: «Я — право жить не так, как жил твой отец».

Отметим еще другие, не менее патетические строки:

«Да здравствует жизнь! — сказал я. — Еще не такая, какова она должна быть, но имеющая все основания стать такой, какой она должна быть!»

Неопределенность и расплывчатость этого пафоса говорят сами за себя. Никакого социально-политического синтеза явлений эти цитаты, характерные для книги, конечно не дают. Специфика общественных явлений, классовая борьба подменяются у Каверина борьбой поколений, «отцов» и «детей».

Одна из наиболее ярких сцен книги: тракторист распахивает кладбище, на котором похоронен его отец. Мы видим опять противопоставление двух поколений, но какие силы движут новым поколением, во имя чего борются «дети», этого мы не видим. Правда, автор предполагает все это известным читателю. Каверин так и заявил (на дискуссии в Ленинграде): «Что коллективизация перестраивает на социалистический лад деревню, всем известно. И если бы

мне была задана такая тема, я бы не написал книги. Нельзя писателю заранее задавать тему, он должен ее сам открыть, найти».

На это однако можно возразить, что темы многих крупнейших произведений мировой литературы были «известны» читателям еще до создания этих произведений, что несколько не уменьшает ценности и значения последних. Далеко не всегда писатель является автором своей темы. И наконец если, по Каверину, писатель должен сам «открыть» или «найти» свою тему, то в «Прологе» как раз этого и нет. В «Прологе» нет темы, нет единой, движущей и пронизывающей произведение мысли, и в этом, может быть, основная слабость книги.

Кроме того, тема коллективизации сельского хозяйства, — право же, достойная советского писателя тема! Смешно это доказывать. Каверин боится литературных штампов, но никто их и не рекомендует, наоборот, овладение современной тематикой предполагает преодоление всяческих штампованных мотивов. Дело не только в материале, дело именно в достаточно глубоком овладении темой.

Если бы тема коллективизации была поставлена автором в центр «Пролога», возможно, что это оказало бы влияние и на метод писателя, и на подбор, и освещение материала. Возможно, что эротические моменты, занимающие довольно значительное место в книге, были бы отброшены или же представлены в ином свете. Характерно, что женщины-совхозницы изображены Кавериним исключительно в плоскости их половых отношений. Писатель увидел в совхозе своеобразное решение «проблемы пола», но многое другое зато осталось у него незамеченным. Эротические эпизоды, вкрапленные в «Пролог», придают книге специфический привкус, никак не соответствующий серьезности задания.

Эстетическое отношение к материалу приводит Каверина к объективизму дурного порядка, к бесстрастному изображению разнородных явлений. Мы не чувствуем в «Прологе» личной заинтересованности автора, целевой установки книги. Сам автор проходит по страницам «Пролога» в качестве случайно-

го наблюдателя. Он «шляется» по совхозу, «не зная, куда девать себя». Если это и прием, то прием характерный.

Каверин оказался не в состоянии найти в новом материале «свою», близкую писателю тему, а неизжитый Кавериним формализм подсказал ему «условную», эстетическую трактовку материала. В этом основное качество этой поучительной неудачи. Каверинские герои «отстранены» по всем правилам старой поэтики Шкловского. Мы видим «лошадиную морду» Дерхауса или «раздутые ноздри, как ноздри монумента», Бой-Страха, но трудно понять, что это за люди, американские ли это ковбои, или советские трактористы...

Для Каверина так или иначе следует вывод: необходима самая решительная ревизия всех основ творческого мировоззрения и метода писателя. Писатель-формалист, не зажигающий читателя, не говорящий ему о нужных вещах понятным и впечатляющим языком,—такой писатель обречен на исчезновение. Каверин говорит в «Прологе» об одном из своих героев: «Его запало время, которое не прощает ни равнодушия, ни презрения». «Презрением» Каверин не грешит, но от творческого «равнодушия» ему надо избавиться, если он не хочет разделить печальную участь своего героя.

#### 4. КНИГА О СТЕНДАЛЕ

К. Локс

Имя Стендаля за последние десять лет приобрело у нас почетную и заслуженную известность. Изданы все его романы, итальянские хроники, быть может, мы дождемся издания его дневников и писем, во всяком случае не менее интересных, чем письма Флобера.

Роман А. К. Виноградова<sup>1)</sup>, посвященный изображению Стендаля и его эпохи, подводит некоторый итог его изучению и оценки. Этот большой, прекрасный изданный том, построенный на основании документального материала, делает честь автору, уже в течение ряда лет преданно работающему над Стендалем.

Стендаль — человек и писатель большой исторической эпохи и большой личной судьбы. С самого вступления в жизнь — водоворот политических событий, потрясших Европу: французская революция, потом наполеоновские войны. Огромное духовное движение, начатое энциклопедистами и законченное Байроном и Сен-Симоном. Сложившись под влиянием «идеологов» и материалистов XVIII века, Стендаль превратил отвлеченные положения и формулы в живую практику личного опыта. Конечно теория страстей и эмоций Гельвеция могла бы остаться в области чистого умозрения,

но у Стендаля она привела к сложному психологическому роману. Так складывалась его жизнь, когда отточенные афоризмы рождались на бивуаках, а газетная хроника становилась источником сюжета («Красное и черное»). Перелистайте страницы его дневников и писем. Вы будете поражены разнообразием интересов, точностью оценок, блеском отдельных мыслей, а главное их исключительной жизненностью и убедительностью. Для него человек прежде всего источник энергии, действия, как Жюльен Сорель и герои итальянских новелл. И поэтому, когда во Франции прервалась история, Стендаль находит новую родину в Италии: «Бейль чувствовал необходимость найти выход из тупика, в который завела его судьба, когда яркая и интересная действительность погасла для Франции... Жизнь страны кончилась. Эпоха, создавшая племя гигантов, миновала. Французский мещанин, лавочник, рыцарь наживы появились всюду и стали на первых местах». Тогда он думал, в Италии история еще впереди. «Из чащи лесов в Сабинских горах, из гор Апулии и Калабрии, где жили в лачугах итальянские угольщики, днем выжигавшие уголь, а ночью принимавшие беглецов, изгнанников, повстанцев, приходили на север эти рыцари тогдашней итальянской свободы, прозванные угольщиками и карбонариями. Арриго Бейль, как называли итальянцы Анри

<sup>1)</sup> А. К. Виноградов. «Три цвета времени». Роман в двух частях с предисловием М. Горького. «М. Гвард.» 1931 г., стр. 635.

Бейля, беспечно проводил время в миланском театре, слушая музыку, беседуя с друзьями, а ночью, словно живя другой жизнью, принимал у себя конспираторов. В новелле «Ванини Ванини» Стендаль дал образ такого карбонария, исполненный непреклонного мужества и страстной решимости. Встречаясь с «угольщиками», готовя для изгнания австрийцев, Стендаль в то же время работал над своими книгами, в частности над «Историей живописи в Италии». Заговор был раскрыт, и Стендаль, высланный австрийским правительством, надолго покинул Италию. Ему суждено было вернуться туда только в качестве французского консула в маленький городок Чиввита-Веккиа. Здесь прошли последние годы жизни в мечтах о несбывшемся, в работе над «Люсьеном Левеном» и итальянскими хрониками. Средину жизненного пути Бейля трудно протекать во Франции, среди книг и друзей. Безвозвратно далеки были ночи в Милане, где можно было беседовать с Байроном о судьбах поработанных народов и безнадежно любить Метильду Висконтини, подругу Уго Фосколо, отдавшую все поработенной родине. Загадочный для современников человек, наделенный редким душевным богатством, был глубоко одинок, и только страстная восприимчивость жизни спасла его от уныния и гибели. Он сам знал, что слава придет к нему нескоро, и его современники вполне оправдали эти подозрения. Книги Стендаля разошлись в нескольких десятках экземпляров, а когда он умер, «французские газеты, позабывшие о статье Бальзака, дали короткое сообщение о том, что на кладбище Монмартр состоялось погребение мало известного немецкого стихотворца Фридриха Стендаля». Такого некролога удостоился писатель, которым теперь гордится французская литература, когда каждый вновь найденный клочок его рукописей составляет событие.

Роман Виноградова построен в плане пересечения личной судьбы Стендаля и трех исторических эпох: французской революции (точнее, ее отзвуков), наполеоновской империи и реставрации. Самая символика красного, черного и белого встречается в записях Стендаля и в за-

головках его романов. Естественно, композиция книги должна была оформляться в стиле чередующихся исторических напластований. Роман начинается 1812-м годом в России<sup>1)</sup>, отступлением наполеоновской армии и бегством через Литву и Германию. Сюда, в первую часть романа, введены подлинные письма Стендаля, перехваченные казачьим разездом и найденные в наших архивах несколько лет тому назад. Это дает повод перекинуть мост к будущим декабристам. Офицер, составлявший докладную записку об этих письмах, будущий декабрист князь Шихранов, попадает затем вместе с русскими войсками в Париж. Стендаль, заинтересованный его внешностью, исписывает страничку своего дневника о впечатлениях этой встречи. Весь этот эпизод вымышленный, но хорошо и правдоподобно придуман. Вступительная часть романа наиболее искусственна по своему сюжетному строению. Здесь автор мог располагать материалом по своему усмотрению, дальше он крепче связан историческими датами и точно установленными отношениями Стендаля к другим лицам, так или иначе оставившим память в литературе и политике. Здесь Байрон и Сильвио Пеллико, Меттерних и Уго Фосколо, Мериме и Беранже, Петр Каховский и Риго. Из одного этого перечня видно, насколько широк захват изображаемой эпохи. Вся история России и Европы за первые 40 лет XIX века теми или другими сторонами и событиями вовлечена в хроникку повествования. Конечно все это так или иначе связано с Стендалем и его друзьями. Особое внимание автор сосредоточил на политических симпатиях своего героя. Его радикализм, отвращение к буржуазной реставрации несомненны и не подлежат оспариванию. Его отдельные замечания о будущем Европы и рабочем движении поражают своей проницательностью, и все же мы бы воздержались от окончательных суждений о Стендале-политике.

<sup>1)</sup> Пребыванию Стендаля в Москве посвящена отдельная новелла «Потерянная перчатка» (Изд. пнс. в Лен.). Построенная на чисто личном эпизоде, эта новелла композиционно не укладывалась в роман. Подробный разбор ее не входит в наши задачи, отметим все же, что «керосином» в 1812 г. при поджоге домов не пользовались, так как «керосин» в ту пору был еще неизвестен (стр. 82).

Полемика по этим вопросам завела бы нас слишком далеко<sup>1)</sup>, и в пределах данной статьи гораздо приятнее отметить бесспорные достоинства автора, с таким тщанием и любовью работавшего над биографией Бейля. Было например трудно вести историю литературных опытов Стендаля, принадлежащих к тому смешанному жанру, где теория соприкасается с художественной интуицией. Как рассказать о тех замечательных страницах первых глав книги «О любви», где Стендаль находит образ, сразу резюмирующий зарождение и рост любовных эмоций? Этот образ назван им «кристаллизацией», т.-е. постепенным нарождением эмоций, до неузнаваемости изменяющим первоначальное впечатление. «Кристаллизацию» автор смело и, по нашему мнению, правильно связывает со всей восприимчивостью Стендаля и его способностью видеть и понимать явления. Предоставим поэтому слово ему: «Бейль чувствовал сам впервые, как между художником и действительностью устанавливаются незнакомые другим людям взаимоотношения. Описывая Рим, Неаполь, и Флоренцию, Бейль, наблюдая за собой,

улавливал новые явления. Офицер французской конницы, Стендаль переполнен бурей небывалых чувств, окрашивающих все предметы. Он чувствовал, что впечатления кристаллизуются в его воображении и, закристаллизовавшись, получают неожиданную игру под лучами дневного света. Каждая грань кристалла была гранью тонкого и лучистого вещества, и все предметы преломлялись по-новому сквозь эту призму окристаллизованных впечатлений». Субъективизм Стендаля, или, как он сам любил говорить, эгоизм, очень хорошо передан в этих строках, именно так: исходное впечатление было всегда для него реальным, а работа воображения дополняла и видоизменяла — «кристаллизовала». Кристаллизация позволила Стендалю создать из судебного протокола замечательный роман «Красное и черное» и ряд других вещей, настолько своеобразных, что их отказывались признать современники. Нужно прибавить к этому, что все страницы, посвященные книгам Стендаля в «Трех цветах времени», дают много нового, интересного материала.

## 5. ЗАМЕТКИ О КИРГИЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.

Глеб Алексеев

### 1. Национальный эпос

Киргизы, крупнейший в Средней Азии кочевой народ, до сих пор не имеют писанной истории, за исключением разве статьи акад. Бартольда, написанной лет тридцать назад. Населяющие ныне пределы КирАССР киргизы (правильнее кыргызы) имели некогда самостоятельное великое государство, всегда вели кочевой образ жизни (но основным их скотом были лошади, а не овцы, как это указывается в некоторых источниках; овец киргизы «освоили» лишь с тридцатых годов прошлого столетия), непрерывно воевали с калмыками, угурами, казаками и кара-китаями (но не участвовали в монгольских нашествиях на Запад), держали торговый тракт на Китай, «садились на землю» под тяже-

лой пятой российского колониального сапога, а когда становилось невтерпех (как случилось то в 1916 году после знаменитого приказа туркестанского генерал-губернатора о «реквизиции киргизов» для «священной войны народов»), снимались почти всем народом и уходили в Китай.

Кочевье, войны из века в век, гнет колонизовавшего край русского сапога, хребты Небесных гор, влезające на Крышу мира — Памир, поголовная неграмотность (до революции один процент грамотных, по данным наркомпроса КирАССР) — вот факторы, в которых складывалась сначала устная, позднее письменная литература киргизского народа. А меж тем у киргизов издавна существовала письменность, о чем свидетельствуют орхонские надписи VII и VIII веков. Киргизская литература имеет произведения национального эпоса, которые являются со-

<sup>1)</sup> Подробнее о Стендале-политике см. наше предисловие к его роману «Красное и белое» (Люсьен Левен). Гихл. 1931 г.

кровищами мировой литературы, и по свидетельству востоковедов и особенно акад. Радлова, опубликовавшего отрывки на немецком языке в 1885 году, равноценны «Илиаде», «Эдде» и «Калевале». Переводов на русском языке мы не имеем до сих пор, на киргизском — основная поэма эпоса «Манас» записана лишь два года назад от последнего знаменитого певца «Манаса» «джомокчу» Сагымбая Орозбакова. Исследовательских и критических работ о киргизской литературе ни на киргизском, ни на другом языке не было ни одной, и настоящая корреспонденция, пытающаяся только в самых общих чертах осветить современное состояние киргизской литературы, является первой работой этого рода.

Киргизский национальный эпос имеет четыре больших поэмы: «Манас», «Семетей», «Сейтек» и «Эртошрук». Эти поэмы являются как бы поэтической историей киргизского народа, воспевают непрерывные жестокие войны, с кропотливой точностью отображая бытовой уклад и обычаи народа на всем протяжении второго тысячелетия человеческой эры. «Манас» и «Семетей» и др. поэмы поют не отвлеченного, божественного героя, а наоборот, с документальной точностью воспроизводят историю подвигов некогда существовавших «батырей» (богатырей), оберегавших кочевую самостоятельность народа от исторических его врагов: калмыков, казаков и китаев. Отличительными литературными достоинствами поэмы являются: изумительная сжатость — тысячу лет певцы один за другим укладывали в слова каждый отдельный эпизод, — образность, совершенно своеобразная, никак не похожая на принятые за канон классические образцы, богатство описательных картин: гор, пустынь, степей, киргизских морей — высоких горных озер, — сюжетность, обилие бытового материала и историческая точность.

Один из первых историков киргизской литературы и собиратель ее тов. Тойчинов усматривает на записанном от Орозбакова материале эпоса два наслоения разных исторических периодов.

«Самое хозяйственную жизнь киргизов до революции, — говорил мне тов. Тойчинов, — необходимо расчленить на два этапа: первый — период независи-

мости киргизского народа, второй — после завоевания края русским самодержавием. В первом периоде киргизы основным своим занятием имели скотоводство, земледелие занимало в их хозяйстве подсобное место. Торговый капитал проник в форме обмена с соседними государствами, главным образом с кашгарцами и узбеками.

Общественный строй киргизов в то время делился на три группы: 1. Батыри — родоначальники, к ним конечно призывали и баи. 2. Букара — простой народ и 3. Рабы, хотя рабства как социальной прослойки не было. Полнота власти находилась в руках родоначальников вплоть до покорения края русскими. В этот период «Манас», «Семетей» и др., воскрешавшие военные подвиги героев, родоначальников, служили прежде всего для укрепления их авторитета, и, кроме того, бойцы, так сказать, «вспоминали минувшие дни». После падения независимости сельское хозяйство стало сильно расширяться, торговый капитал, пустив в стране прочные корни, родил в ней промышленность. И тут киргизский национальный эпос, от одного рчи к другому, отражая современные им общественные настроения, приобретает иное значение. Он становится дорогим воспоминанием об утраченной независимости. Он вдохновляет на борьбу за освобождение».

Кроме четырех этих главнейших поэм, киргизский эпос имеет еще следующие сказания о народных героях: «Курманбек», «Кедей-хан», «Коджоджаш», «Джаныш-Байш», «Саринджи-Беккой». Из них «Курманбек» записан и вышел на киргизском языке в издании Киргосиздата. Из основных поэм записан только «Манас» и частью «Семетей», а «Сейтек» и «Эртошрук» все еще являются достоянием угасающего устного творчества.

Пели «Манаса» и др. «джомокчу» — этим специальным названием отличались сказители былинного в точном смысле этого слова эпоса от «рчи», что значит собственно певец, и от «джамакчи» — импровизаторов. Знаменитые «джомокчу» быстро соединяли в себе все три рода творчества, будучи и певцами, и импровизаторами на поминках, свадьбах и байгах. Однако знаменитые «джомокчу», имевшие каждые своих по-

клонников и свои школы, пели обычно одну какую-нибудь поэму, хотя знали наизусть и могли петь каждую из них.

В быту киргизского народа сказители занимали почетное положение, были очень уважаемы, пели конечно главным образом перед родоначальниками, манапами и баями—отсюда и классовое название поэм, так как «джамакчи» не скупилась на импровизации и варианты в зависимости от вознаграждения. А цена за исполнение «Манаса» например нередко поднималась до двух десятков лошадей, при чем исполнение продолжалось от десяти до пятнадцати дней, и знаменитый «джомокчу» не приступал петь, пока не собирались слушать его не меньше 40—50 человек.

Устная история устной киргизской литературы хранит в памяти четыре имени знаменитых «джомокчу»: Кельдыбек, Балык, Тыныбек и Сагымбай Орозбаков. В отношении содержания между отдельными этими сказителями, каждый из которых оставил свою школу, большого расхождения не было, они не сходились в незначительных хронологических датах, в географических названиях, в расположении отдельных эпизодов той или иной поэмы. Но в отношении художественного оформления, метода и мастерства передачи и силы импровизации разница была значительная.

Последним великим сказителем «Манаса», знаменитым «джомокчу» и «чонрчи» — большим певцом — был Сагымбай Орозбаков, умерший в 1930 году. Отец Сагымбая был трубачом у киргизского хана Урмана, его брат Алишер также был рчи, но когда младший брат Сагымбай стал петь, старший уступил ему пальму первенства. В молодости Сагымбай жил на берегу озера Иссык-Куль, затем в долине реки Чу, под конец жизни в Кочкорке, откуда во время исторического исхода киргизского народа в Китай в 1916 году ушел вместе со своим народом. Вернулся он на родину после Октябрьской революции и умер в Кочкорке. Могила его конечно затеряется, так как сейчас следить за ней некому и некогда, а через сто лет могилу этого великого (певца), бывшего Гомером своего народа, будут оспаривать многие поселения. Есть сведения, что Сагымбай знал грамоту и оставил

после себя не только «Манаса», но и песни и басни своего сочинения. Перед империалистической войной Сагымбай выступал в состязании с другим известным певцом «Манаса» — Наймамом, умершим в 1914 году, и остался победителем на литературной этой олимпиаде. В свое время состязание это было большим литературным событием и не забыто киргизами до сих пор. Имеющийся в распоряжении Киргизского научно-исследовательского института краеведения единственный список «Манаса», составляющий около 120 печ. авторских листов, записан под диктовку Сагымбая учителем Абдрахмановым, — запись продолжалась три года изо дня в день.

Ныне «джомокчу» в Киргизии почти не осталось. В Северной Киргизии нет ни одного сказителя «Манаса», в районе Каракола появился молодой «джомокчу», но поет он только «Семетей» и «Сейтека». В Кетмень-Тюбенском районе еще жив шестидесятилетний «джомокчу» Джаныбай; говорят, что он является последним человеком, который помнит текст «Манаса» (а неграмотные сказители все 120 печ. листов поют наизусть), и конечно одной из важнейших задач наркомпроса КирАССР и Киргизского краеведческого института должна быть запись текста Джаныбая для сравнения его с текстом великого певца.

Вопрос о переводе «Манаса» на русский язык до сих пор даже не ставился. Императорской России не было дела до национальных культур. Для прежних русских писателей Киргизия была столь отдаленной и непонятной страной, что киргизский национальный эпос не подвергся даже налету предприимчивых литературных проходивцев, какому подвергался, скажем, хотя бы Шота Руставели.

Переданное мною киргизским писателям пожелание издательства «Академия» издать «Манаса» на русском языке, а также известие о том, что в Москве организовалась группа «Друзей киргизской литературы», вызвало новый взрыв интереса к этому примечательнейшему произведению даже в кругах самой киргизской литературной общности. Научный институт краеведения совместно с Кир. АПП и с участием мим и Викторина Попова устроил специ-

альное совещание с чтением пробных переводов из «Манаса». Этот литературный вечер еще раз показал, до какой степени будет трудно наладить перевод «Манаса» на русский язык: киргизские писатели плохо знают литературный русский язык, ни один русский писатель, живущий в Киргизии, не знает киргизского языка. Кроме того, и киргизские, и русские писатели по горло завалены оперативной работой: Наматов, Карачев, Токомбаев, Маликов, Турусбеков, Кененсарин работают в периодической печати, служат в Киргосиздате, Тыныстанов тяжело болен, русские писатели Руднев и Дунаев работают в «Советской Киргизии» как технические работники. Бедность в работниках в Киргизии такова, что на проведение посевной был отправлен весь институт краеведения во главе с директором, историком С. Ф. Преображенским.

Необходимо упомянуть о двух крупных литературных работах предпринятых киргизским краеведческим институтом: собрание киргизских пословиц и поговорок,—их записано сейчас до 2 000, а надлежало бы собирать и песни, и басни, и сказки, и былины, — и составление киргизского словаря.

Словарь киргизского языка, насчитывающий около 30 000 слов, составляется проф. Юдахиним и Карасаевым, работающими в Ленинграде, вдали от жчного источника, составляется методом Даля и собран пока всего на две буквы, но уже сейчас при некоторой тщательности в киргизской своей части словарь грешит в части русской.

Вот примеры.

«Sabendester cogulsa, ulaqтын ceri gazы lat) переведена так: «когда соберутся искусные козлодеры, так у козленка (которого они дерут) печаль разгоняется».

«Сас elekten bol» в точном смысле значит: «получить что-либо в изобилии», а составная пословица переведена: «во время поминок или чтения корана мой хаджа, как сыр в масле, купался»...

Эта страсть к затасканным, зачастую перевернутым, очень отдаленно схожим по смыслу русским пословицам проходит по всему словарю и конечно лишает его не только художественной ценности, но и лингвистической точности. Чудесная

пословица о страхе, буквальный перевод которой мною установлен совершенно случайно, после подробного опроса у научного работника института тов. Шабданова,—«душа вышла из уха»,—в словаре переведена: «душа ушла в пятки».

Эти трудности художественного оформления при взаимном незнании языков конечно скажутся на переводе «Манаса». На пробном переводе в краеведческом институте, на котором присутствовали все наличные писательские силы Киргизии, как национальные, так и русские, мы два часа бились над освоением главы, рисующей внешность сказочного богатыря. И вот примеры. Фраза перевода «высокий лоб с длинной головой» при точнейшем рассмотрении оказалась фразой «широкий лоб за счет головы», фраза «открытая и щедрая рука» — фразой «широкая ладонь, свидетельствующая о его щедрости и удачливости в походах», и т. д. А происходит это потому, что киргизский язык часто соединяет в одном слове целое понятие, могущее быть передано по-русски только фразой, а переводчики во имя добросовестной краткости подыскивают близлежащий русский синоним. Например одно слово «сабақта» имеет три значения: 1) прокалывать опухоль сразу в нескольких местах, 2) стегать шерсть (но именно последняя стадия стегания, перед тем, как шерсть начинают валять), и 3) резвиться (но только о рыбе, когда, играючи, она выбрасывается из воды). Как в самом деле перевести слово «сабақта» по-русски?

Но конечно эти трудности—трудности собирательного периода киргизской литературы, трудности ее роста — будут преодолены. Порукой этому—ото дня ко дню крепнущая молодая киргизская литература, которая до революции насчитывала всего одну печатную книгу, литература народа, 99 проц. которого была неграмотна и которая сегодня имеет около двадцати писателей с установленными именами, объединенными Киргизской ассоциацией пролетарских писателей. И, во-вторых, порукой этому—организованный два года назад «из ничего» Киргизский институт краеведения, во главе которого стоят такие энтузиасты и собиратели киргизского языка и краеведения, как тт. Преображенский и Абрамзон.



## II. Литература октябрьского периода

В 1911 году в Уфе была издана поэма Клыча Мамарканова «Зильзеле» («Землетрясение»). Поэма эта — впечатления очевидца о том, как «тряслись горы, поднималась вода, разверзалась земля» — была издана на арабском алфавите и больших литературных достоинств не имела. В 1913 году в Уфе же была издана составленная Ешенкалы Арабаевым азбука киргизского языка, и в том же году вышла «Таары хы Киргизия» («История Киргизии») и «Таары хы Шабдания» — обе последних книги имели определенное политическое значение, являясь историей крупных манапских (княжеских, своего рода дворянских) родов. Кроме того, на киргизском языке (по транскрипции Академии наук) в 1885 году вышли «Образцы народной литературы северных тюркских племен», собранные акад. В. В. Радловым и заключающие в себе отрывки из поэмы национального киргизского эпоса «Манаса», «Семетей» и др. Отрывки эти частично были переведены на немецкий язык.

Следует упомянуть еще об особом роде письменности — письменности на могильных памятниках, которая существовала у киргизов. видимо, несколько столетий и долгое время была единственным видом киргизской письменности. Знатные манапские роды хоронили своих покойников с большой пышностью. Еще и теперь в степи можно встретить целые города могильных памятников, которые поражают глаз путника и монументальностью сооружений, и смешением архитектурных стилей. Так в Ср. Киргизии сохранились около сорока могильных памятников вымершего ныне рода Такчже. Могилники построены то по образцу русской избы, срубленной в «лапу» или в «обло», то в роде усыпальниц — круглых, сложенных как зубчатые стены крепости, то в виде саманных мулд с башенками по углам, или мазаров с куполообразными сводами и даже просто в виде земляных насыпей.

Могилники хранят сожженные, выветрившиеся надписи на арабском алфавите.

«В 14 день нового месяца Мохарема в 17... году случилось сие... да возвели-

чится из века в век имя хаджи Досмогамета Гаурзаулина. четыре раза по соизволению Аллаха посетившего Мекку и благополучно вернувшегося оттуда и почившего в праведности на 83 году жизни... Тернии странствий да будут ему как венок из роз, когда предстанет он перед лицом всевышнего»...

«Сладкозвучный голос твой умолк, и песен таких уже никто не сложит как ты, о, Сейдала Уразбаев, мирно покоящийся здесь. Пусть радостно встретит тебя многомилосердный Аллах в преддверии небесных селений, уготованных им для счастливых, подобных тебе»... — надпись на могиле очевидно погребенного здесь «джемакчи» (импровизатора).

Остальные надписи в таком же роде: мудрые бии (народные судьи), сладкогласные певцы и поэты, доблестные батыри (богатыри) — обыкновенным смертным месга на древних киргизских кладбищах не полагалось.

Четыре киргизских книги на арабском алфавите, академическая запись Радлова и намогильные надписи — вот в сущности и все литературное наследство, какое получила киргизская письменность к Октябрьской революции.

Октябрьская революция, явившаяся подлинной освободительницей киргизского народа и от колонизовавшего край самодержавия, которому не было никакого дела до национальной культуры, и от бай-манапского засилия, оставившего письменность лишь на могилах, явилась в полном смысле этого слова столбовой дорогой для молодой киргизской литературы. «Манас», «Семетей» и др. поэмы национального эпоса в свете Октябрьской революции утратили свое прежнее назначение, оставаясь лишь памятником прошлого, поэтической историей народа, с одной стороны, и с другой — сокровищницей для выработки художественно-научной терминологии, живым колодезем, из которого молодая литература киргизского народа еще долго будет черпать свои образы.

Первыми по времени, почти непосредственно вслед за октябрьским переворотом, писателями были Сыдык Карачев и Касым Тыныстанов. Первый начал писать на татарском, второй — на казакском языках, так как преподавание в школах в первые после революции

годы велось на этих языках, и по-киргизски их некому было читать. Содержание поэзии обоих поэтов в то время было сходно — оба воспевали «свободу вообще», находясь под влиянием сильной в первые годы революции в Казакстане буржуазно-национальной группировки, мечтавшей объединить киргизов и казаков в самостоятельное государство на основах национально-буржуазной республики и известной в истории революции под именем «алаш-ординцы». На произведениях раннего Тыныстанова сказались также влияние видного казахского поэта Макджана Джумабаева, от которого Тыныстанов в дальнейшем отошел к народным формам, написав поэму «Джангыл-мурза», изданную в Москве в 1925 году (лучшее свое произведение). Годы национального размежевания Ср. Азии и образования Киргизской АССР были, видимо, переломными в творчестве и Тыныстанова и Карачева. Таныстанов вступает в ряды партии, становится наркомом просвещения, выпускает несколько лингвистических трудов и учебников, переводит на киргизский язык «Интернационал» и др. революционные песни, с 1929 года вследствие тяжелой болезни, продолжающейся и до сих пор, почти не принимает участия ни в литературной, ни в политической жизни страны. Карачев работает ответственным секретарем газеты «Кзыл Пахтачи», издающейся в Оше, и пишет большой роман.

Вслед за этими двумя как бы старшими (по времени) поэтами встает целый ряд молодых талантливых поэтов и писателей, сгруппировавшихся вокруг литературных страниц киргизских газет: «Эркин-то» («Свободная гора»), ныне переименованной в «Кзыл Киргизстан» («Красный Киргизстан») и «Ленин-Чиль-Джаш» («Молодой ленинец»).

Многие из них уже теперь имеют свое творческое лицо и определились как незаурядные литературные силы. Так 27-летний писатель Баялинов, коммунист, учащийся московского КИЖ, написал отличную повесть «Арджар» (имя женщины-героини) о киргизском восстании 1916 года. Касым-Али Баялинов владеет русским языком, переводил на киргизский язык Лермонтова и др. класси-

ческих поэтов. Али Токомбаев, коммунист, редактор киргизской секции Центриздата, одним из первых выступил в киргизской литературе со стихотворениями о классовой борьбе, о социалистическом строительстве, о колхозном движении. Он написал около 300 стихотворений и два десятка поэм, из которых в художественном отношении выше других поэма «О Ленине». Б. Кененсарин вступил в литературу в самый разгар групповой борьбы в 1926 г. острым политическим памфлетом, сразу завоевавшим ему имя в широких кругах киргизской общественности. Написал пьесу «Тобурчак» («Племенной жеребец») о колхозном строительстве, которая с успехом ставилась киргизским национальным театром. Для того же театра перевел «Ревизора» и «Ярость» Яновского. Сатывалды Наматов написал повесть «Тыным-хан» о доле киргизки, получившей в Октябре свободу. Им же написано несколько книжек для детей. Шарип Коженов — учащийся в САКУ в Ташкенте, драматург, коммунист, написал пьесу «Тап Джалунда» («Пути класса»). Юсуп Турусбеков, которому сейчас 21 год, бывший батрак, ныне редактор литературно-художественного отдела Киргосиздата; Мукай Елебаев, секретарь газеты «Сабатту бол» («Будь грамотным»); Масырылы Кырбашев, Маликов, редактор комсомольской газеты; Джомарт Боконбаев, редактор газеты «Новая деревня» в Караколе; Сасык Баев, Джамгырчинов, учащийся в КУТВ; Токобаев Байджиев, Абдул Керимов — вот чьи имена не только не сходят со страниц киргизской печати, но пользуются заслуженной популярностью.

Тематика молодой литературы Киргизии общая: как социалистическое строительство меняет лицо родной земли. Классовая борьба с несдающимсЯ байством и манапством; колхозы, пришедшие на смену кочевью, те самые колхозы, какие одну из самых отсталых стран Союза — молодую Киргизию — ведут с нижайших ступеней развития человеческого общества к самым высшим, минуя все промежуточные формы развития капиталистического общества; наступающая эра индустриализации и зарождение пролетариата в кочевой стране; доля женщины, которая вчера не смела сесть

за стол вместе с мужем, а сегодня в сельсовете, в наркоматах, в Кир. ЦИК управляет страной. Но других тем у молодой киргизской литературы не может быть, ибо нужно быть в Киргизии, чтобы понять, что значил для нее Октябрь, родивший не только самый народ в его исторических границах, но родивший и его письменность, и литературу. Рабочих мотивов в киргизской поэзии еще мало: рабочий пролетариат в Киргизии рождается только в самые последние годы в связи с крупнейшими строительствами на р. Чу — «Чу-строю», угольных копей в Южной Киргизии, шелкомотальных фабрик, мясохладобоев и др., и еще не успел дать своих представителей в литературу. Современное писательство Киргизии почти целиком вышло из крестьянства, большинство писателей были батраками. Любопытно отметить, что и народные певцы, еще вчера певшие на манапских и байских свадьбах о величии манапских родов и байских состояний, нынче поют на первомаяских торжествах, поют о колхозном строительстве, о достижениях советской власти.

Молодое литературное движение в советской Киргизии развивалось стихийно в полном смысле этого слова. До 1930 года существовали две литературные организации, делившие писательство Киргизии по национальному признаку: «Кзыл-Учкун» («Красная искра»), объединявшая писателей-киргизов, и Кир. АПП, объединявшая русских писателей, живущих на территории Киргизии. Обе литературные эти организации не были связаны между собою и потому были малороботоспособными. В августе прошлого года они слились в одну — Киргизскую ассоциацию пролетарских писателей, ответственным секретарем которой избран критик и собиратель молодой киргизской литературы И. Тойчинов, секретарем русской секции — молодой пролетарский писатель Руднев, питомец иваново-вознесенского «Рабочего края». Из русских писателей, живущих и работающих в Киргизии, надлежит отметить еще молодого поэта Семена Дунаева, написавшего книгу «Песня о горных орлах», выпускаемую Киргосиздатом.

Вместе с тем книжный рынок Киргизии все еще продолжает оставаться малонасыщенным. Объясняется это двумя причинами: во-первых, писательские силы Киргизии очень молоды, и многие из поэтов например, будучи широко известными по газетам и журналам, не «добрали» материала на книгу, имея по 70—80—100 стихотворений, как Туррусбеков, Кырбашев, Елебаев и др., и во-вторых, латинизированный алфавит на котором сейчас выходят в Киргизии все книги, газеты и журналы, введен всего лишь с 1 января 1930 г. Киргизия была первой республикой в Ср. Азии, целиком и сразу перешедшей на латинизированный алфавит.

Киргосиздат, в руках которого находится все издательское дело Киргизии, возник лишь в 1926 году, но в том же году успел выпустить книги стихотворений Карачева, Тыныстанова и Баялинова. В 1927 году был издан сборник стихотворений киргизских поэтов «Кзыл Коль» («Красный цветок») — первая антология, в которой приняли участие Тыныстанов, Карачев, Кененсарин, Баялинов, Елебаев, Токомбаев и др. В 1928 году выходят уже шесть книг: поэма национального эпоса «Курманбек», записанная М. Каюмовым от певца Молдобасана Мусульманкулова, поэма Токомбаева «О Ленине», сборник рассказов Баялинова «Арджар», сборник рассказов Таниной (первой киргизской писательницы) «Джетигильген Джетыгмдор» и две книги Сыдыка Карачева «В подневольные дни» и «Зейнап председатель» (пьеса). В 1929 году вышли две первые на киргизском языке книжки для детей: Сатыбалды (Наматова) «Цыпята и удод» и Баялинова «Мурат». В 1930 году вышла из печати небольшая повесть Наматова — «Тыным-хан» и пьеса Кокенова «К новой жизни». К первому января 1931 года Киргосиздат выпустил на киргизском языке около 250 названий: отдельные статьи Ленина, Сталина, Маркса, Энгельса, много книг по сельхозхозяйству, здравоохранению и т. д. Издательский план 1931 года предусматривает выпуск свыше 250 названий. В 1931 году киргизская литература планово войдет в литературу СССР.

## Из прошлого

### НЕИЗВЕСТНОЕ ПИСЬМО В. Ф. ВЯЗЕМСКОЙ О СМЕРТИ А. С. ПУШКИНА

#### Предисловие

Публикуемое письмо сохранилось в Остафьевском архиве в черновом автографе, писанном по-французски рукой Веры Федоровны Вяземской. Последняя в дни дуэли и смерти Пушкина жила в Петербурге вместе с мужем, известным поэтом и другом Пушкина, Петром Андреевичем Вяземским.

Письмо это Вяземская писала Екатерине Николаевне Орловой, жене известного по связи с декабристами Михаила Федоровича Орлова. Орловы жили в Москве. Письмо представляет интерес как документ, писанный лицом, близким к семье Пушкина, притом лицом, наблюдавшим события непосредственно. Вяземская передает разговоры Пушкина в последние дни его жизни, описывает состояние поэта накануне смерти и самую его кончину. Вяземская в своем письме воспроизводит созданную в те дни близкими Пушкину людьми легенду о его преданности Николаю, его церковном благочестии и т. п. Муссировать такое предствление о поэте требовалось тогда интересами семьи и т. д.

Это «пристрастие» разделяли и все друзья Пушкина, к кругу которых принадлежала Вера Федоровна. Они пытались обелить Пушкина, в политическом отношении защитить его жену от осуждения. «По глубокому убеждению Бенкендорфа и вместе с ним Николая Павловича,—говорит П. Е. Щеголев<sup>1)</sup>,—Пушкин, несмотря на все его слова и действия, был человеком по меньшей мере оппозиционным правительству, а возможно и членом неведомой тайной политической партии и во всяком случае знаменем для лиц, настроенных враждебно правительству». Поэтому друзья поэта в письмах к своим друзьям, высокопоставленным лицам и т. п. усиленно подчер-

кивали приверженность Пушкина к монархии, отношение его к Николаю как к отцу, религиозность поэта и т. д. Создавая из Пушкина образ почтительно-верного слуги царю и доброго христианина, друзья подкрепляли все это фактами смерти Пушкина. Соответственно такой тенденции они освещали все поступки поэта, подгоняя их и создавая картину, очень выгодную как для поэта, его семьи, так и для круга друзей. Представители дворцовой камарильи, аристократы, высшее общество, «несколько гостиных которого, по словам П. А. Вяземского в его письме по поводу смерти Пушкина к вел. кн. Михаилу Павловичу, сделали из него (т.-е. Пушкина) предмет своих партийных интересов и споров», обвиняли друзей в политической фронде, в противоправительственной демократии. Вяземский прямо говорит об этом Михаилу Павловичу, «что выражения горя друзей Пушкина к столь несчастной кончине, потере друга, поклонения таланта были истолкованы как политическое и враждебное правительству движение». Вот почему снятие с имени Пушкина подозрений в его оппозиционности облегчало двусмысленное положение друзей и помогало им сбросить с себя эту тень. Вера Федоровна Вяземская, описывая последовательно события с вечера 27 января, не преминула отметить исповедь Пушкина у священника и истолковала ее как проявление искренней набожности поэта, она подчеркнула признательность Пушкина Николаю и т. д.

Другой мотив семейно-бытовой—оправдание жены поэта. Признавая ее поведение легкомысленным, автор письма сумел тонко провести защиту ее от лица самого Пушкина (подр. см. в тексте). Такую двойную задачу преследовала Вера Федоровна, как и сам Петр Андреевич в письме к вел. кн. Михаилу Павловичу, и разрешили ее обдуманно и сообща.

<sup>1)</sup> «Друзья Пушкина», 2-е изд., П. 1917 г., стр. 210.

Понятен отсюда смысл слов Вяземской Орловым: «Не верьте поэтому никаким сплетням относительно вдовы, так и относительно бедного покойника». Но несомненно, что Вяземские знали больше. Так, им обоим (через Веру Федоровну,—см. ее заявление об этом в начале письма) было известно заранее о письме Пушкина Геккерну, были известны «намерения» Пушкина о дуэли, в чем некоторые исследователи этого вопроса сомневались (П. Е. Щеголев).

Поправки, сделанные в французском оригинале письма П. А. Вяземским, не

отмечаем особо, так как эти поправки многочисленны, незначительны, и притом во многих случаях их трудно отличить от поправок самого автора. Почерк В. Ф. Вяземский очень неразборчив; из знаков препинания она пользуется только запятой и изредка точкой. Текст письма поэтому сливается, и фразы отделяются иногда с трудом. В некоторых местах текст не поддается прочтению из-за неразборчивости почерка. Слова, подчеркнутые в подлиннике, набраны разрядкой.

*Н. Бельчиков.*

**Письмо (черновое, собственноручное, с поправками рукой кн. Петра Андр.) княгини Веры Федоровны Вяземской, адресованное в Москву; письмо могло быть отправлено на имя Екатерины Николаевны Орловой \*).**

Дорогая моя подруга! Вот рассказ о печальном и роковом происшествии, которое только-что произошло у нас. Лживые рассказы, которые ходят здесь и еще более в Москве, куда они доходят все более и более искаженными, заставляют меня изобразить в подробности все то, что я видела, передать вам искреннее мое сострадание (крик сердца моего) к несчастной Натали.

С понедельника, 25-го числа, когда все семейство <sup>1)</sup> провело у нас вечер, мы были добычею (жертвою) самых живых мучений. Было бы вернее сказать вам, что мы находились в беспokoйстве в продолжении двух месяцев, но это значило бы начать очень рано. Пушкин вечером, смотря на Жоржа Геккерна, сказал мне: «Что меня забавляет, так это то, что этот господин веселится, не предчувствуя, что его ожидает по возвращении домой!» — «Что же именно? — сказала я,—вы ему написали?» Он мне сделал утвердительный знак и прибавил: «Его отцу». «Как, письмо уже отослано?» Он мне сделал еще знаки. Я сказала: «Сегодня?» Он потер себе руки, повторяя головой те же знаки. «Неужели вы думаете об этом?» — сказала я.—«Мы надеялись, что все уже кончено». Тогда он вскочил, говоря мне: «Разве вы принимаете меня за труса? Я вам уже сказал, что с молодым человеком мое дело было окончено, но с отцом — дело другое. Я

вас предупредил, что мое мнение заставит заговорить свет». Все ушли.

Я удержала В[ельгoрского] <sup>2)</sup> и сказала ему об отсылке письма. Мой муж возвратился в два часа утра, я ему тоже сказала, но что делать? Невозможно было действовать. На следующий день, во вторник, они (т.-е. Пушкин и Д'Аршиак) искали друг друга, объяснились. Дуэль с сыном была назначена на завтра. Пушкин отправился на бал к графине Разумовской <sup>3)</sup>. Постучавшись напрасно в дверь всего семейства Г[еккерна], он решил им дать пощечину, будь то у них (на дому) или на балу. Они были предупреждены и не поехали туда.

В среду 27-го числа, в половине 7-го часа пополудни, мы получили от г-жи Геккерн <sup>4)</sup> ответ на записку, написанную моей дочерью. Обе эти дамы виделись сегодня утром. Ее муж сказал, что он будет арестован. Мари попросила разрешения у его жены навестить ее, если это случится. На вопросы моей дочери в этом отношении г-жа Г[еккерн] ей написала: «Наши предчувствия оправдались. Мой муж только что дрался с Пушкиным; слава богу, рана [моего мужа] совсем не опасна, но Пушкин ранен в поясницу. Поезжай утешить Натали».

Письмо это повергло мою дочь в сильное волнение, которое мы успокоили общими нашими усилиями. Ее муж и отец решили, что в таком состоянии она не может ехать. Я отправилась вместо нее. В передней прислуга остановила меня, го-

\*1) Заглавие написано вероятно лицом, принимавшим участие в разборе Остафьевского архива.

вора, что мне нельзя видеть Натали. Я им отвечала, что я знаю, что случилось, и пошла. Я нашла ее (т.-е. Натали) в ее гостиной с сестрой ее Александриной и с ее теткой З[агряжской] <sup>3)</sup>, ее подругой и благодетельницей. Натали находилась в удрученном состоянии и с беспокойством ждала Арендта, хотя ее муж уже имел около себя докторов. Он (т.-е. Пушкин) вернулся домой около 6 часов вместе со своим секундантом Данз[асом]. Пушкин перенес большие страдания во время переезда. Несмотря на это, когда жена его, еще не зная о случившемся, но мучимая основательными предчувствиями, вошла в его кабинет, он собрал все силы и голосом спокойным и громким закричал ей: «Не входите, дорогой мой друг». Доктор, первый оказавшийся под рукой, в это время исследовал его рану и сказал ему, что она тяжелая: пуля, пробив ребро, вышла в нижнюю часть живота и застряла во внутренностях. Пушкин зовет своего секунданта и посылает его к своей жене, чтобы сказать, что он (Пушкин) ранен в бедро, как он сам думал некоторое время, и, не беспокоясь за себя, спрашивал, останется ли он хромым. Когда он увидел Натали, то первыми его словами были: «Как я счастлив, я жив и нахожусь с тобой!» Она вернулась к себе после прихода второго и третьего докторов, друзей ее мужа. В эту минуту я приехала. Моя карета должна была отправиться за Арендтом (разыскивать Арендта), но он пришел. Я осталась в передней в беспокойстве. Его верный взгляд, его талант и опытность должны были служить приговором, и приговор состоялся: он мне сказал, что рана смертельна, и нет совершенно надежды или мало надежды. Я написала эти слова мужу. Арендт вернулся еще раз к смертному ложу и еще раз исследовал состояние больного и сказал ему отчасти. Пушкин просил его поехать к императору получить у него прощение себе (Пушкину) и своему секунданту. Арендт передал мне также его просьбу послать за Жуковским, прибавив, что, быть может, он не переживет ночи. Я написала. Мой муж приехал и не вошел к больному. Жуковский увиделся с ним; минуту спустя Пушкин сказал Арендту: «Я жду доброго слова от царя, чтобы умереть спокойно». Жуковский уехал уже, вы-

званный императором. Пушкин звал часто жену к себе на несколько минут и не хотел допускать к себе никого из нас, но желал, чтобы мы были с его женой. Он запретил говорить ей об его опасном положении.

Жуковский возвратился с милостивым [?] поручением императора, который через Арендта даровал ему прощение и выразил свое желание, чтобы он выполнил свои последние христианские обязанности. Пушкин был тронут и в ту же минуту потребовал священника. Через четверть часа привели старичка священника из соседней церкви. Священник оставался наедине с ним; когда он вернулся к нам, мы увидели его взволнованным.

Пушкин исповедался и приобщился с усердием. Его жена не знала об этом. Она часто подходила к нему, все им призываемая и все нежно им принимаемая. Наступила ночь. Мой муж и Данз[ас] оставались в комнате соседней с кабинетом. Мы четверо — в гостиной, одна заделанная дверь отделяла нас от комнаты больного, которого мы предполагали довольно спокойным. Дикая крик, заглушенный, ужасный, сбросил меня с моего дивана. Мы схватились с Александриной одна за другую; тетка пошла посмотреть туда, что там жена [Пушкина] спала около двери. Второй—третий крик вывели меня из себя. Я тоже пошла посмотреть, что там такое, но остановилась неподвижно в передней, видя тетку, моего мужа и других тоже окаменелых, как я. У меня оставалась только способность молиться, и я обратилась с молитвой к богу,—в ней не было ничего определенного, но я страдала и молилась. Не будучи в состоянии там оставаться, я возвратилась к дамам и конвульсивно опять обнялась с Алекс[андринной].

Последний крик больного разбудил его жену, но она не понимала, что случилось. Открыв глаза, она нам сказала: «Пушкин... Я отвечала: «Страда е т. о ч е н ь, о ч е н ь!» С ней сделался нервный припадок, что было уже с ней несколько раз повторно в течение вечера. Утром в 5 часов состояние больного ухудшилось, послали за Арендтом, который тотчас явился. Он прописал средства, которые, увы, не производили никакого действия. Вообще с той минуты, как ему сообщили о его положении, он был всегда

спокоен, говорил только, чтоб жаловаться на судьбу своей жены. «Она чиста,— говорил он,—и все-таки свет ее съест, свет съест. Скажите ей все: она у меня не притворщица. Ее осуждать будут в холодности, если мое положение не будет известно ей». В ужасных мученьях ночью он повторял: «Бедная жена! Бедная жена!» Днем доктора получили некоторый проблеск надежды. Пульс больного, казалось, увеличился. После исповеди он велел записать под свою диктовку долги, которые он оставлял без векселей. Мы были, как души осужденных, [ходили] из угла в угол, не смея отдаться этой жажде надежды, которая нас мучила. Пульс опять ослабел. Но жена все уверяла, что он будет жив, что она в этом уверена, и от состояния самого ужасного беспрестанно переходила к надежде. Положение ее было ужасное, наше положение невыносимо, и никто из нас не мог связать двух мыслей. Мы ужасно страдали.

Второй день был еще более ужасный, чем первый. Мы имели некоторый проблеск надежды: Император и императрица, великий князь и наследник изъясляли величайшую заботливость о больном, и [император] обеспечил судьбу жены, детей; нашим единственным моментом отдыха были слова утешения, участия и благоволения, которые поочередно Арендт и Жуковский привозили от [императора], и благодеяния, которыми он осыпал семью.

Болезнь прогрессировала. Пушкин сам был уверен, что ему остается жить только два дня. Он вспоминал о своем друге, раненом так же, как и он, и умершем в конце этого срока. Воспаление увеличивалось. Ему поставили пиявки или, вернее, он сам их поставил к себе: он не позволял уже более прикасаться к своей ране. Утром во время самого сильного приступа страданий (после того как он попросил опиума, желая покончить с жизнью скорее) он простился со своими детьми. Каждого из них он благословил по три раза и прикладывал тыльную часть кисти руки к их губам, потом простился со своими друзьями, со мною. Мне он пожал руку крепко, но уже похолодевшей рукою и сказал: «Ну, прощайте!»—«Почему прощайте?» сказала я, желая за-

ставить его усумниться в его состоянии. «Прощайте, прощайте», — повторил он, делая мне знак рукой, чтобы я уходила.

Каждое его прощание было ускоренное, он боялся расчувствоваться. Он несколько раз спрашивал о Карамзиных. Когда пришла очередь г-жи Карамзиной<sup>6)</sup>, она, прощаясь с ним, перекрестила его издали. «Подойдите ближе,—сказал он,—и перекрестите хорошенько». Он благодарил за заботы Даля, Данзаса, которые плакали и целовали ему руки, Жуковского и Михаила Вьельгорского, которых он искренно любил. Моему мужу он сказал: «Будь счастлив». Все, которые его видели, оставляли комнату рыдая.

Квартира была все время полна друзей, знакомых и незнакомых людей. Участие было всеобщее. Он был этим очень тронут, но забота о жене и признательность к императору преобладали над всяким другим чувством. За несколько часов до смерти он попросил морошки, которую всегда особенно любил и от нетерпения сердился, что ее нет; наконец, ее принесли. Пушкин хотел, чтобы его кормила его жена. Поистине это было зрелище душу раздирающее видеть фигуру этой молодой и прекрасной женщины, на коленях у дивана, на котором лежал ее муж, смертельно раненый и умиравший за нее. Страх, горесть, надежда поочередно выражались в ее прекрасных чертах, которые оставались прекрасными, несмотря на ее ужасную горесть. Он решился попрощаться также и с ней. Единственные слова, которые они произносили, были слова прощания. Благословляя ее, он сказал: «Прощаю и умираю любя». В другое время на вопрос, который ему сделали касательно его желаний относительно Геккерна, он сказал: «Запрещаю кому бы то ни было мстить ему за меня. Хочу умереть христианином. Я прощаю». Невозможно было предвидеть для человека с сильными страстями и с такой бурной жизнью, как его жизнь, такую спокойную и прекрасную кончину; всякое желание мести, так сказать, всякое воспоминание об оскорблении, о ненависти исчезло. Пушкин даже не говорил о своей дуэли. Он умирал, казалось, на лоне любимой семьи смертью самой спокойной. Когда врачи приглашали его не держиваться от стонов, он отвечал: «Нет, не надо предаваться никакой слабости».

Вечер прошел в страданиях, но с некоторой надеждой. Мой муж опять остался на ночь с Данзасом. Жуковский и М. Вьельгорский были также тут почти всю ночь. Мы спали почти все. Но пробуждение было ужасно. Силы больного значительно ослабели. Он призывал жену еще несколько раз; говорил с ней одной наедине; просил часто льду, которым тер себе виски, говоря: «Чудо!» Слыша его любимые слова, произносимые с каким-то удовольствием, такие восклицания, как «Сусе Христе»,—манера, которая поразила его в устах людей из простого народа и которую он себе усвоил с тех пор; видя все его чувства так хорошо сохранившимися, потому что он отлично узнавал походку тех, которые входили и выходили, вкус совершенно неизменившимся, голову совершенно ясную, было невозможно не предаваться некоторой надежде, которой не было уже более у людей понимающих,

В полдень я вошла в [его] комнату. Одно колено у него было поднято, а рука заложена за голову. Печального выражения не было, и я себе сказала, что он проживет этот день. Движения его рук были очень судорожны. Мой муж пробыл немного с ним и ушел, принужденный отправиться в департамент). Чтобы предупредить начальство о причине своего отсутствия. Он боялся, что не найдет его более в живых. Предчувствия его оказались верными. Больной спросил о часе, в который он должен умереть; заметил, что его дыхание сделалось более тяжелым, что озноб и икота возобновлялись чаще. В два часа он попросил переменить его положение. Когда его положили на правый бок, он сказал: «К о н ч е н о». Один из врачей, думая, что он говорит о приведении в порядок его подушек, сказал ему: «К о н ч е н о», а потом спросил: «Что кончено?» П[ушкин] ответил: «Ж и з н ь». Через несколько минут после этого он прибавил: «Ды х а н и е п р е к р а т и л о с ь». Это были его последние слова. Пригласили его жену войти. Я подошла к ложу искупительных страданий, и я слышала или, лучше сказать, не слышала возвращения дыхания. Это одно указывало, что сердце, столь сильное в своей любви и в своих антипатиях, совершенно перестало биться. Голова его склонилась на правое плечо, рот слегка

полуоткрыт, глаза закрыты, ничего кроме торжественного в выражении лица. Жуковский справедливо сказал, что он имел такой вид, как будто получил, наконец, разрешение какой-то задачи или какую-то новую идею, которая открылась ему в эту минуту. Я услышала, как вошла его жена. Я бросилась к ней и остановила ее в дверях: она посмотрела на меня с ужасом. «Что? Кончено?» спросила она меня. Я не отвечала. Она повторила те же слова и хотела пройти. Тогда я сказала ей: «Нет еще». Она испустила ужасный стон и упала навзничь. Вьельгорский и тетка ее вынесли. Я оставалась еще около Пушкина; невольно я дожидалась проявления признака жизни. Слезы, которые проливались всеми вокруг, вывели меня из моего печального уныния. Я опять подошла к Натали, которую нашла, как бы в безумии. — «Пушкин умер?» Я молчала. — «Скажите, скажите правду!» — Руки мои, которыми я держала ее руки, отпустили ее, и то, что я не могла произнести ни одного слова, повергли ее в состояние какого-то помешательства. «Умер-ли Пушкин? Все ли кончено?» — Я поникла головой в знак согласия. С ней сделались самые страшные конвульсии: она закрыла глаза, призывала своего мужа, говорила с ним громко; говорила, что он жив; потом кричала: «Б е д н ы й П у ш к и н ! Б е д н ы й П у ш к и н ! Это жестоко! Это ужасно! Нет, нет! Это не может быть правдой! Я пойду посмотреть на него!» Тогда ничто не могло ее удержать. Она побежала к нему, бросилась на колени, то склонялась лбом к оледеневшему лбу своего мужа, то к его груди, называла его самыми нежными именами, просила у него прощения, трясла его, чтобы получить от него ответ. Мы опасались за ее рассудок. Ее увели насильно. Она просила к себе Данзаса. Когда он вошел, она со своего дивана упала на колени перед Данзасом, целовала ему руки, просила у него прощения, благодарила его и Даля за постоянные заботы их об ее муже. «Простите!» вот что единственно кричала эта несчастная молодая женщина, которая, в сущности, могла винить себя только в легкомыслии, легкомыслии, без сомнения, весьма преступном, потому что оно было одной из причин смерти ее мужа.



Мы послали за разными художниками и за скульптором<sup>8)</sup>, чтобы попытаться сохранить черты, которые стали прекрасны по своему серьезному и торжественному выражению. Наконец, его обмыли и одели; он был положен в черном фраке,—костюме, любимом им всегда, но в особенности со времени той антипатии, которую он стал испытывать к мундиру, который его ставил в уровень со всеми мальчиками, начинающими свою блестящую карьеру, и этим справедливо был неприятен для его самолюбия. Желание его жены и наше общее желание всех, знавших эту слабость, было худо истолковано. Забывают, что этот человек не был уже лицеистом 18-ти лет, что этот человек, взятый из ссылки императором, возвращенный в общество им же, обязанный благосостоянием своей семьи ему же, не мог, конечно, более быть фрондером; его энтузиазм и преданность императору были так же искренни, как и глубоки; что энтузиазм и преданность всех его друзей императору также всем известны, как и глубоко прочувствованны, и никто не покинул могилу этой несчастной жертвы своих страстей и несчастных обстоятельств, которые погубили эту семью, не благословив имени государя.

Его похороны и энтузиазм всего города дали повод к разным толкам, которые было бы бесполезно опровергать. Ложь падает сама собой, а правда свободная и законная проявляется рано или поздно сама по себе. Не верьте поэтому никаким сплетням как относительно вдовы, так и относительно бедного покойника. Однако, если вы интересуетесь, обратитесь к нам, предложите вопросы, и вы можете быть уверены в том, что получите верные объяснения. В оправдание жены я вам скажу только одну фразу священника Бажанова, который видел ее каждый день после ее несчастья, который ее исповедывал и который после ее причастия, которое происходило сегодня в домово́й церкви князя Голицына, сказал тетке ее: «Я борюсь с собой, чтобы оставить ей полезное чувство ее вины; по мне, она ангел чистоты».—Не будем же мы более

строгими по отношению к ней! И так как служитель милосердного бога ее оправдывает и разрешает ей грехи, то поступим так же и мы: прощение и забвение этой роковой истории! Что же касается фатального героя этой фатальной истории, предоставим его также самому себе. Мне было бы тяжело говорить вам о нем подробно. Он убил Пушкина, чтобы не быть самому убитым. Это правда. Но черепица, падающая на дорогое нам существо, не стоит того, чтобы я тщательно ее сохранила; я ее удалила бы из поля своего зрения.

Мы делаем также. Для меня было бы невозможно посетить уби́цу друга, тем более, что ничто не вызывает интереса к нему. Он ранен легко; он женат на женщине, которую никто ему не предлагал (она его выбор); она выбрана им или, по крайней мере, его приемным отцом; они богаты и не подвержены строгости законов, так что они спокойны (за себя). Да будет господь им судьей, он знает, что в глубине их сердец. Преддим их и самих себя правосудию и милосердию божию<sup>\*)</sup>.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1) «Семейством» Вяземская, повидимому, называет себя с мужем и дочь Марью Петровну (1813—1849) с ее мужем Валуевым (1814—1890), в то время служившим чиновником в соб. е. и. в. канцелярии.

2) Вьельгорский М. Ю., граф (1788—1856), занимал видное положение при дворе, был близок к литературным кругам и артистическому миру, композитор-дилетант.

3) Разумовская, Мария Григорьевна, гр. (1772—1865), урожд. Вяземская, вдова одного из сыновей последнего украинского гетмана.

4) Геккери, Екатерина Николаевна (1809—1843), ур. Гончарова, сестра Натальи Николаевны Пушкиной.

5) Загряжская, Екатерина Ивановна (1779—1842), фрейлина, сводная сестра Н. И. Гончаровой, матери Пушкиной.

6) Карамзина, Екатерина Андреевна (1780—1861), вдова известного историка.

7) Петр Андреевич Вяземский в те годы (1833—1858) служил в департаменте внешней торговли в должности вице-директора.

8) Маска была снята Палацци.

\*) На этом черновик письма заканчивается.

# Наука и жизнь

## ЗАГАДКА ЭЛЕКТРОНА

В. Е. ЛЬВОВ

**Б**уровая скважина, заложенная современной физикой в глубокую подпочву материи, остановилась к 1931 г. на электро-не. Мельчайшие частицы вещества, скрывающиеся под этим названием и обнаруженные на опыте еще в 1898 году, представляют собою, как известно, не просто результат механического дробления материи, но имеют и определенное качественное содержание. Этим особым качеством электрона, а тем самым и первичным свойством всякой материи, первичной пружиной всего мирового бытия<sup>1)</sup> является электрический заряд.

Конкретное проявление этого последнего во внешнем мире определяется следующими двумя фактами, хорошо памятными из школьной физики: «одноименные заряды отталкиваются друг от друга», «разноименные» же притягиваются. При чем притяжение и отталкивание подчиняется здесь простому математическому правилу, известному под названием «закона Кулона»<sup>2)</sup>. Как также хорошо известно, электроны обладают отрицательным зарядом. Заряд же положительный встречается лишь у более массивных образований материи, а именно: носителями этого заряда являются в 1847 раз более тяжелые, чем электроны, «протоны» (они же—ядра атома водорода). Сущность полярности электрического заряда (расщепление его на «плюс» и «минус») разъяснена в одной из наиболее замечательных работ 1930

года (П. А. М. Дирак. Англия), о которой уже сообщалось нами на страницах «Нового мира»<sup>1)</sup>.

Заслуживает далее величайшего внимания то обстоятельство, что заряд электрона является источником потенциальной энергии (проявляющейся, как указывалось, в кулоновском притяжении и отталкивании). Это обстоятельство отображает то основное положение диалектического материализма, согласно которому имманентным свойством всякой материи на всех ступенях ее сложности является способность к деятельному бытию, к развитию, к изменению. Таким образом, именно величина, называемая «зарядом» электрона, а не величина, именуемая «массой», является истинной мерой содержащегося в электро-не количества субстанций. Что касается до массы, то она—вопреки ходячему мнению—является отнюдь не первичной характеристикой вещества, но играет чисто пассивную роль, выражая собою то сопротивление, которое оказывает каждый кусок вещества возмущающему влиянию внешних сил на скорость и направление его движения. Тем самым впрочем масса—в приближении—является пропорциональной количеству материи (и потому ее практически и считают за меру последнего). При очень больших скоростях однако масса становится заметно зависящей от скорости, и пользование ею как мерой количества вещества в физике теряет всякий смысл. В общем итоге приходится согласиться с историческими словами немецкого физика Зоммерфельда (1922): «Заряд благодаря своему постоянству представляет нам в

<sup>1)</sup> Не исчерпывающегося, разумеется, этим свойством, но на всех своих качественных ступенях включающего его в себя в виде одного из слагаемых.

<sup>2)</sup> Закон Кулона устанавливает, что сила электрического взаимодействия зарядов пропорциональна произведению величин этих зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.

<sup>1)</sup> «Разгадка положительного электричества и последние события в физике». «Новый мир», № 4, 1931.

противоположность массе как истинная субстанция. При этом заряд и масса непрерывно связаны: отрицательный заряд — с массой электрона, а положительный — с массой протона».

Итак, обладая одноименными электрическими зарядами, отдельные электроны должны отталкиваться друг от друга. Это отталкивание может быть легко обнаружено на опыте посредством так называемой вильсоновой камеры — ящика, наполненного насыщенными водяными парами. Прорезая пары, отдельные электроны (испускаемые например помещенным в камеру кусочком радиоактивного вещества) осаждают вдоль своего пути водяные капельки, что дает возможность фотографировать траектории этих электронов. На большинстве фотоснимков, получаемых таким способом, бывает отчетливо видно, как две электронные траектории, случайно подойдя на близкое расстояние друг от друга, круто расходятся под углом, определяемым соответственными скоростями.

В этом явлении на первый взгляд нет, разумеется, ничего выходящего из рамок самых элементарных сведений, сообщаемых школьной физикой, и читатель, может быть, уже посетует на отвлечение его внимания подобными «пустяками». В этих «пустяках» и скрывается однако отправной пункт величайшей загадки, занимающей в течение вот уже 30 с лишним лет умы физиков и червотой сдвигами в истории естествознания, может быть, оставящими далеко позади все наиболее поразительные события в физике последних лет.

Мы начнем с вопроса: кулоновы силы электрического взаимодействия, действующие между отдельными электронами, не должны ли очевидно действовать и внутри каждого электрона в отдельности?..

Уже в словах «очевидно» и «внутри» вдумчивый читатель усмотрит шаг большой познавательной ответственности. В этих словах, на самом деле, мы постулировали не больше и не меньше как существование «нутра» электрона. Но могут ли быть, спрашивается, какие-нибудь сомнения на этот счет?!. Электрон как реальная составная часть реальной материи должен иметь опре-

деленный конечный размер. Должен занимать определенный пространственный объем. Целый ряд экспериментальных и теоретических исследований позволил в действительности определить средний поперечник электронного объема, оказавшийся равным одной десятиллионной, или сокращенно  $10^{-10}$  сантиметра. Но вот вслед за этими столь «простыми» и «очевидными» соображениями под ногами физики и разверзлась пропасть, в которую нужно было иметь смелость заглянуть...

Если электрон имеет конечный объем, то действующие внутри этого объема кулоновы силы отталкивания должны разорвать этот электрон на части. Электрон существовать не может. Но он существует!..

Первым, приходящим на очередь «выходом из положения» является здесь конечно допущение, что некие неизвестные еще составные части электронов («суб-электроны») удерживаются в равновесии помощью комбинаций неких неизвестных еще «сил сцепления».

Однако это допущение, как ясно, не снимает, но лишь отодвигает прорыв. Ибо, «удержав» электрон с помощью суб-электронов, мы приходим к проблеме внутренних сил сцепления суб-электронов, а вслед за тем и «суб-суб-электронов» и так далее, до бесконечности!

Еще иначе говоря, разрываемая кулоновыми силами материя не может существовать во все: в результате действующих внутри каждого электронного осколка сил отталкивания этот осколок должен разрываться на еще более мелкие пылинки, эти последние на еще более мелкие и так далее, пока мы не получим материальную «пыль», состоящую из материальных точек, т.е. «пыль», попросту растворившуюся в небытии.

Ведь математическая точка, имея объем, равный нулю, представляет собою непротяженное «ничто», имеющее лишь воображаемое, но не реальное существование. Не смущаясь однако этим обстоятельством и гипнотизируемая лишь призраком «взрываемой» изнутри — кулоновскими силами — материи,

физика метнулась было в сторону гипотезы «точечного электрона». То-есть вопреки всем требованиям материалистической реальности объявила массу и заряд электрона «сконцентрированными в точке» (и тогда: раз не имеется электронного объема, то значит нет и электронного «нутра», где могли бы действовать кулоновы силы, и «ничему» тогда и «разрывать»!).

Пройдем однако вслед за физикой мимо этой идеалистической гримасы. Беглый взгляд на кулоновскую формулу был достаточен, чтобы убедиться в том, что подстановка в эту формулу радиуса электрона, равного нулю, сразу же делает потенциальную энергию электрона бесконечно большой<sup>1)</sup>. «Точечный электрон» становится не только теоретико-познавательным, но и физическим абсурдом. Нелепая посылка, отомстив сама за себя, привела к абсурдному выводу.

Достоин внимания между прочим тот поразительный факт, что указанное противоречие молчаливо просуществовало в течение всех 30 лет, истекших со дня открытия существования электронов Станеєм и Лоренцом. Противоречие, разедающее по сути дела самый фундамент электронной теории, относительно которой каждый грамотный человек, хотя бы по наслышке, знает, что именно в ней «вся суть» современной физики, что именно она принесла те гигантские открытия, которые перевернули физику и реализуются сейчас в технике на наших глазах. И в то же время самый «герой» этих физики—электрон—при ближайшем рассмотрении оказывался чем-то в роде спиритического призрака, расплывался в пустышку, в невидимку, в материализованный абсурд! Было от чего радостно потирать руки многочисленной поповствующей своре, всегда кишащей, по-

<sup>1)</sup> Для читателей, не боящихся математики, поясняем: закон Кулона в общей форме записывается  $F = K \frac{e e'}{r^2}$ . Для внутренних сцепления электрона, т.-е. для электрона, взаимодействующего «с самим собой», сила  $F = K \frac{e^2}{r^2}$ . Работа этой силы, т.-е. потенциальная энергия электрона  $E = f \cdot r = k \frac{e^2}{r}$  сразу видно, что при  $r = 0$   $E = \infty$

добно навозным червям, вокруг лагеря естествознания...

Но этому положению рано или поздно должен был наступить конец.

В настоящий момент, загадка электрона близка к своему решению, и наука обязана этим событием замечательной работе молодого советского физика Д. Д. Иваненко (в сотрудничестве с В. А. Амбарцумианом), только что вышедшей в свет в одном из последних номеров центрального журнала европейской физики: «*Zeitschrift für Physik*».

Предпошлем этой работе следующее необходимое введение.

Основной диалектико-материалистической идеей, под знаком которой развивается вся новая физика, начиная со дня ее рождения—с исторической речи М. Планка в 1900 г.,—этой идеей является вскрытие единства прерывности и непрерывности, как движущей пружины всех без исключения физических процессов. Однако, отталкиваясь от чистой непрерывности, господствовавшей в физике XIX в.—физике «эфира», «сплошной материальной среды» и тому подобных вещей,—наука диалектически должна была предварительно пройти период чистой прерывности. Период, составивший всё содержание работы физики за последние 30 лет и только в переживаемые дни сменяемый третьей стадией синтеза, первые, пока еще робкие шаги которой (например в учении о единстве волны и частицы) принесли уже крупнейшие экспериментальные и теоретические результаты.

Итак, прерывность закономерно выдвинулась на первый план и мысль эта сама по себе не была новой. Об атомах, т.-е. о прерывности протяженности (дискретности) материи, учили еще Демокрит и Лукреций в древности. Однако, только начиная с вышеуказанного исторического труда Планка, физика убедилась, что прерывно, дискретно ведет себя не только материя, но и энергия. Энергия—как выяснил в своем докладе Планк—поглощается и отдается телами не непрерывным потоком, но отдельными порциями, получившими на-

звание квант (quantum—лат. «количество»).

И так как все процессы в природе представляют (по крайней мере в одном из своих качественных слагаемых) не что иное, как переход вещества с одного уровня энергии на другой, то принцип прерывности должен был последовательно проникнуть во все без исключения уголки материального мира. Все процессы должны совершаться не непрерывным потоком, но прерывными толчками «от кванта к кванту». Всюду же, где органы человеческих чувств и приборы экспериментальной физики воспринимают явления как непрерывное течение, там имеет место своеобразный «обман зрения», зависящий от крупных размеров (макроскопичности) человеческого тела и сконструированных им приборов. Так, сидя в кинематографе, мы невольно сливаем в одно непрерывное целое развертывающиеся на белом полотне картины, в то время как на самом деле они подаются на экран мелкими толчками—прерывно следующими друг за другом «кадрами». И точно так же, держа в руках камень, стакан или ложку, мы воспринимаем их как сплошные тела, в то время как они представляют собою прерывные «решетки», что обнаруживается немедленно же после того, как глаз вооружается более тонкой аппаратурой рентгеновского просвечивания.

Основной работой физики XX столетия, как было сказано, и явилось вооружение экспериментального инструментария и математического анализа физики настолько тонкими средствами, чтобы распознать «решетчатость» «толчкообразную» природу всех без исключения представлявшихся ранее на непрерывном фоне вещей и событий. Эта процедура получила особое название «квантования», и ей подверглись последовательно: 1) свет, чей непрерывный поток («волны») раздробился теперь на рой отдельных зернышек—«квантов света»; 2) электричество, расквантовавшееся в отдельные «электроны», оказавшиеся в то же время, как мы знаем, и квантами единой материи; 3) магнетизм, чье ранее непрерывное «поле» расчленилось на отдельные порции магнитной силы, «магнетоны», и т. д.

Наконец само механическое движение частиц материи в пространстве — этот классический образец непрерывности, предельно, казалось бы, очевидный и наглядный, как постепенно выяснилось (особенно после последнего (1930) гениального анализа Шрёдингером так называемого «уравнения Дирака») — представляет «оптический обман» принципиально того же типа, что и «киноиллюзии», о которых упоминалось выше. Камень, кинутый со всего размаха, описывает плавную непрерывную параболу в воздухе, но отдельные электроны, из которых состоит этот камень, не описывают, как оказалось, в те мгновения никакой параболы, но движутся мелкими толчками, «рывками», зигзагообразными «прыжками», сливаемыми нашим восприятием в одну непрерывную кривую.

Но какова внутренняя причина этих странных «рывков»? Что заставляет электроны прыгать с кочки на кочку в пространстве? И как, с другой стороны, можно вообще говорить здесь о «прыжках», когда между конечным и исходным положением «прыжка» расстилается непрерывная последовательность точек пространства, через которую всё равно ведь электрону приходится пробегать! Изгнанная в дверь непрерывность возвращается как будто через окно.

Но именно в этом пункте давно пришедшая уже, может быть, читателю в голову мысль, как молния, озаряет проблему.

— Не прерывно ли само пространство?! Может ли, заранее говоря, существовать в проквантованной от начала до конца вселенной<sup>1)</sup> хотя бы одна чистая непрерывность? Не следует ли проквантовать и пространство?

Колоссальная трудность отчетливого

<sup>1)</sup> Еще раз подчеркиваем, что на данном этапе физики речь шла о выявлении только момента прерывности в том диалектическом единстве прерывности и непрерывности, каким на самом деле является мир. Другое дело, что вслед за этим этапом должна наступить и наступает уже стадия синтеза. Однако в учении о пространстве только сейчас, с запозданием, начинается «антитезис» прерывности. Познательная ценность квантования в этой области, таким образом, вне сомнений.

понимания этой полной глубокого содержания мысли ясна заранее.

Ибо всё дело заключается в том, что ощущение пространственной непрерывности представляет для нашего восприятия нечто большее, чем простой логический вывод из определенных математических построений. Это ощущение укрепилось на физиологическом и трудовом опыте сотен поколений, поскольку всё поведение человеческого тела (будь то простое перемещение или мускульная работа) связано с движением определенных частей тела или всего тела в пространстве.

Движением, воспринимаемым нами вследствие макроскопических масштабов нашего тела именно как непрерывным движением по непрерывным же траекториям. Еще иначе говоря, мы воспринимаем например движение собственной рукой как «плавное», а не как «толчкообразное» движение. И вот именно эта плановость и является источником бессознательной уверенности в существовании непрерывного многообразия точек, окружающих наше тело со всех сторон.

Как результат: всякий промежуток между двумя материальными телами, даже заведомо незаполненный никакими физическими агентами — электрическим и магнитным полем, лучами света и так далее, — инстинктивно заполняется нами некоей невещественной промежуточной средой: «непрерывным пространством».

Так возникло представление об «абсолютном пустом пространстве» (бесконечной «комнате без стенок», в которой движутся планеты, звезды, атомы). Представление, легшее в основание формальной геометрии, впервые вошедшее в физику при Ньютоне и содержавшее в своей основе глубоко идеалистическую мысль о независимости пространства от материи.

Действительно: поскольку нет и не может быть никакого реального бытия, обособленного от существования материи, постольку, как хорошо известно, не существует и никакого пространства, отдельного от ма-

терии. Но: пространство является одной из форм существования материи. Положение, впервые в гениально ясной форме высказанное 300 лет тому назад Декартом, сделавшим однако одновременно ту ошибку, что пространство («протяжение») он объявил единственной формой существования материи, единственным всеисчерпывающим ее качеством.

Развивая это положение, мы обязаны тогда сказать, что единственно реальное существование имеют только те объемы пространства, которые заполнены в данный момент материей. Реальны только те «точки» пространства, которые квартируют в заполненных материальной массой областях вселенной. Меропредделение (метрика) которой подчиняется многообразию этих точек в материальных областях и является единственно реальной геометрией мира. Все же остальные «точки» и объемы вселенной, которые наложены на «пустоту» и на «ничто», являются порождением иллюзорной «психологической потребности» человека, существуют только в воображении геометров, и им не соответствует никакая конкретная реальность.

Но, разумеется, если вся бесконечная материя мира представляет собою единый и непрерывный, сплошной массив, распростертый в бесконечности, тогда не может возникнуть вопроса о разделении всех «точек» мира на реально и нереально существующие. Весь непрерывный массив материи охватывается тогда непрерывным же многообразием точек, и бесконечное мировое пространство реально существует как следствие бесконечной непрерывности мировой материи.

Именно так поставила вопрос материалистическая физика в XIX веке, сдав в архив «пустую комнату» Ньютона и выдвинув на ее место гипотезу о «мировом эфире», как тончайшей материи, сплошь и бесконечно заполняющей всю вселенную.

«Эфир» давно уже покоится в том же музее физических древностей, в котором нашли себе упокоение «флотистон», «теплород», «невесомые электрические жидкости» и прочие порождения наивной фантазии младенческого периода

физики. Нужно было сделать из этого все необходимые теоретико-познавательные выводы. Эти выводы и сделали Д. Д. Иваненко и В. А. Амбарцумян.

Нет пространства вне материи. Но как быть, если ни в межпланетном пространстве, ни в звездах, ни в туманностях, ни в отдельных физических телах мы не имеем никаких сплошь заполненных материей объемов, но имеем «зернистое» заполнение этих объемов отдельными дискретными электронами. Что это значит? Это значит, что в промежутках между электронами нет никакого пространства. Нет однако и никакой мистической и бессодержательной «пустоты». В этих промежутках находится ничто. Вместо непрерывного мирового пространства, сплошь заполненного непрерывной же материей, физика закономерно должна была прийти и только теперь в работе наших молодых товарищей пришла к образу квантованного, т.е. «решетчатого», «сетчатого» пространства, чьи «узлы» совпадают с сидящими в этих узлах электронами, а в междуузлиях находятся островки «ничто». Из этого основного положения, гласящего, что «дырки» в мировом пространстве совпадают с промежутками между отдельными электронами, сразу же следуют между прочим два вывода:

Первое: электроны, как и все в мире, ни на одно мгновение не остаются в неподвижности, но меняют свою локализацию, подобно жужжащему в воздухе мушкетеру рою. Следовательно: мировое пространство не представляет собою никакой вечно неподвижной «сети», брошенной на вселенную. Иначе говоря, не существует никакого неизменно застылого «рисунка плетения» этой «сети», но эта «сеть» непрерывно пульсирует всеми своими «узелками», непрерывно меняет «узор» своего сплетения. в зависимости как от мелких и быстрых вибраций отдельных электронов, так и от перемещений целых небесных тел и звездных агрегатов вдоль по вселенной.

Во-вторых: взаиморасстояния узелков пространства, другими словами «плотность сплетения» сети, не являются сколько-нибудь равномерными, но меняются на разных участках мира в зависимости от концентрации электронов. Гуще и плотнее всего эта сеть в объемах, зани-

маемых твердыми остывшими небесными телами, реже — в раскаленных звездах и в газообразных туманностях, еще реже — в заполненных космической пылью областях так наз. межпланетного и межзвездного пространства.

Сделав эти замечания, мы можем двинуться дальше. Говоря до сих пор о строении пространства в областях, сплетенных из отдельных электронов и этими электронами заполненных, мы можем теперь вслед за Д. Д. Иваненко поставить вопрос о пространстве, находящемся внутри самого электрона, подходя тем самым вплотную и с совершенно новой стороны к той крупнейшей загадке физики, с которой была начата эта статья.

Вся суть принципа квантования заключается — вспомним — не только в том, что всякий непрерывный процесс и всякий сплошной кусок субстанции разлагается на прерывные «скачки» и «зерна». Но в первую и основную очередь дело заключается в том, что при последовательном дроблении субстанции или процесса на все более и более мелкие интервалы и зерна это дробление останавливается на некотором предельно-и конечно-малом отрезке (кванте). В количестве, меньшем кванта, субстанции не существует. В рамках меньшего, чем квант, интервала процесс не идет. Меньше кванта ничто.

Итак, должен существовать нераздробимый и предельно-малый по количеству субстрата (по заряду и массе) квант материи. И так как во всем экспериментальном багаже физики никогда, нигде и никем не наблюдались (хотя тонкость аппаратуры вполне обеспечивала такую возможность) частицы материи, меньшие по заряду, размеру и массе, чем электрон, то имеются все основания принять электрон за квант материи. Из этого положения и исходил в своей работе Д. Д. Иваненко.

Поразительные выводы последовали отсюда один за другим.

Если электрон есть квант материи, тогда тот пространственный объем  $10^{-30}$  кб. см., который занимает электрон, есть квант пространства. Следовательно узелки той пространственной

сети, которую сплетает электроный рой вселенной, являются наименьшими из возможных в природе объемов. И тогда сразу разъясняется вышеупомянутая антиномия, смысл которой заключается в невозможности выбора между электроном-«точкой» (абсурдным по своей сути и приводящим к бесконечной энергии) и электроном-«шариком», в первое же мгновение «взрываемым» кулоновыми силами.

Мы видим однако теперь: 1) что электрон не есть точка, так как он обладает вполне определенным квантом объема, а именно  $10^{-39}$  куб. см.; 2) что электрон не может быть «разорван» никакой причиной в мире, так как его осколки оказались бы меньшими, чем  $10^{-39}$  куб. см., что невозможно. Таким образом электрон удерживается в своем объеме не какими-либо таинственными силами сцепления, о которых гадали физики еще 5—10 лет тому назад (и которые, как мы знаем, ничего не могли бы спасти), но «удерживается» самою структурой пространства. «Загадка электрона» падает!

Разработка той же идеи приводит и к ряду других замечательных физических выводов. Так, подсчет Д. Д. Иваненко той максимально тесной «упаковки» электронов и протонов в единице объема, какую только допускает квантовая структура пространства, позволил вычислить максимальную теоретическую плотность материи. Эта плотность оказалась с большей степенью точности совпадающей с плотностью упаковки электронов и протонов в ядре атома урана—92-го и самого тяжелого («последнего») элемента периодической системы Менделеева. Таким образом, предположение о существовании неоткрытых еще элементов тяжелее урана (в частности этим элементам приписывалось пребывание вблизи центра земли) должно будет, повидимому, отпасть. Нынешняя таблица периодической системы оказывается тогда охватывающей все без исключения атомные комбинации электронов и протонов, какие только возможны в природе.

Таковы общие контуры открытия Д. Д. Иваненко и В. А. Амбарцумиана. Однако громадная часть работы еще остается впереди. Речь должна будет

пойти в ближайшем будущем не больше и не меньше, как о полнейшей революционной перестройке современного аппарата геометрии. Аппарата, целиком обслужившего до сих пор процессы, воспринимавшиеся на фоне непрерывного многообразия точек, и — значит — неприспособленного к описанию микро-физических процессов мира. Для точного описания этих последних — как мы видели — требуется уже учет квантовой — «дырявой» — структуры пространства. До сих пор впрочем в чисто вычислительном отношении удавалось приспособлять старый и привычный аппарат непрерывной геометрии к описанию поведения отдельных атомов, протонов и электронов. Вычислительно-математически, повторяем, здесь все сходило гладко. Другое дело, какую цену покупалось это по сути дела оппортунистическое «удобство» для физики! При всякой попытке экстраполировать на физический реальный мир те выводы, которые получались тут в результате, как из рога изобилия начинал сыпаться ворох самой невероятной абракадабры, в роде «пси-волн, распространяющихся в 3-мерном пространстве», «принципа ненаблюдаемости», «упразднения причинности» и тому подобных вещей, которые сейчас на устах у всех и под печальным знаком которых — к торжеству и злорадству поповствующей своры — живет и работает физика вот уже скоро 10 лет.

Применение прерывной геометрии к прерывным процессам, разыгрывающимся в глубоких недрах материи, а вслед затем и синтезирование прерывности и непрерывности в рамках новой диалектической геометрии ближайшего будущего с величайшей очевидностью должны будут разогнать все спиритические призраки современной физики с такою же легкостью, с какою рассеялся кошмар «взрываемого» кулоновыми силами электрона, при первой же попытке квантования пространства, предпринятой молодой советской физикой. Создание новой диалектической геометрии — такова очередная историческая задача советской физической теории.



## Книжное обозрение

1. БОРИС ЛАПИН „Набег на Гарм“. Н. Матвеева. — 2. ПАВЕЛ ВЯЧЕСЛАВОВ „Уровень“. И. Поступальского. — 3. А. КОПЕЛОВ „Ферпосты социализма“. Бориса Гроссмана. — 4. АРАГОН „Красный фронт“. Я. Фрида.

Борис Лапин.—«Набег на Гарм». Хроника. Изд. «Федерация». М. 1931 г. Стр. 104. Ц. 75 коп.

Для очеркистов формалистского толка характерно стремление во чтобы то ни стало сдвинуть очерк с его привычных позиций. Задача, вообще говоря, безвредная, если она не ведет к курьезам. Автор занимательного очерка (названного почему-то им хроникой) «Набег на Гарм», старательно и в отдельных случаях безуспешно разнобразя форму своего сочинения, в некоторых местах добился удивительного... однообразия: в записную книжку впечатлений из предпринятого им по поручению газеты путешествия в Таджикистан он вписывает фрагменты своих черновых записей, ничем существенным не отличающихся по содержанию от «чистовиков». Получилось: тех же щей, да пожиже влей... Курьезность подобного приема в том и заключается, что он ничуть не оживляет очерка. Если же автор хотел, так сказать, приоткрыть завесу над лабораторией своего творчества, то для этого надо бы выбрать другой материал.

Более похвально желание Б. Лапина обойтись в своих впечатлениях без «вымысла», ибо, как он пишет, «говорить правду... и писать только о том, что видел,—самое трудное искусство на свете». Эти трудности однако его не смущают. Но читателю все же становится как-то неловко за автора, который, по его признанию, уже однажды здорово нагрешил, описав по личным впечатлениям в каком-то апокрифическом «дневнике» Индию, в которой он... не был. Вот и разберись тут! Мы совершенно простодушно задаем вопрос Б. Лапину: не является ли его «Повесть о стране Памир», где есть глава об Индии, этим самым «дневником»?

Разнообраз, да знай же меру! Неловко делается еще и потому, что самые интересные моменты «Набега на Гарм», посвященные вторжению басмачей в 1929 г., как оказывается, вовсе не были увидены автором, который при первом же появлении врага «быстро вскопил на копы и поскакал в горы... гнал, гнал... не оглядывался». Здесь автор говорит правду.

Другой пример неудачной ломки жанра заключается в следующем. Глава «Я смотрю с точки зрения будущего» («Я» в очерке звучит вообще победоносно) должна дать примерный образец того, как будет автор писать о событиях 1929 года по прошествии многих лет. И в третий раз становится неловко за Б. Лапина: образец этот очень похож на обычное описание событий, делаемое по свежим следам.

В книжке содержится однако интересный по политическому и бытовому характеру материал. Героическая оборона осажденных, расправа басмачей, своеобразие обстановки, весь антураж восточной зверской контрреволюции, типы бандитов—все это, несмотря на формалистские трюны, успешно пробивается в книжке. Б. Лапин—свалифицированный фельетонист и умеет ухватиться за характерную деталь, обыграть ее, порой образно выразиться, выдержать нужный, в восточном стиле колорит («Старец достиг той степени славы, когда не делают ни одного движения без посторонней помощи»). Но и тут Б. Лапин непростительно спотыкается, на этот раз уже о грамматику, не очень-то падкую на несообразные «новшества» такого например вида: «Если, пройдя годы, месяцы, дни, я буду еще здоров и жив, я желал бы написать книгу...»; «Таджикистан готовился пойти в развернутое наступление по кулаку»; «Облака стелились бы у подножья»... Автору, знающему Восток, наверно известна одна восточная мудрость, что сито нужно не только для просеивания муки от отрубей, но и для просеивания слов.

Н. Матвеев.

Павел Вячеславов.—«Уровень». Первая книга стихов. Изд. «Федерация». М. 1931. Стр. 94. Ц. 1 р.

Видеть в печати стихи П. Вячеславова нам уже приходилось, но не было в них ничего такого, что заставило бы следить за молодым (рожденным в 1911 г., если считаться со стихотворными признаниями) поэтом более бдительно. Первая книга стихов П. Вячеславова также не дает оснований

для каких бы то ни было предположений о будущем поэта.

Разрабатываемый П. Вячеславовым материал однако не лишен значения. Книжка посвящена области Коми, стране лесов и сплавов, одичалой земли и тракторов. Славословия лесорубу, агроному, медичке порождаются основным пафосом поэта, пафосом покорения природы. Но необходимо указать, что в данном случае перед нами — только пример подмены мировоззрения тематикой. «Уровень» П. Вячеславова — книга по тону и социально неоформленная при всем обилии в ней апелляции к колхозам, республике и т. д. Ни на одной странице не нашли мы серьезных попыток автора разобраться в причинах этого нынешнего, восплаемого им прогресса земледелия или лесного дела. Люди в их общественных взаимоотношениях и классовых реакциях на происходящее оказались вне поля зрения поэта. У П. Вячеславова — молодежь против стариков, а не борьба классов; овладенье природой вообще, а не покоренье ее в целях социалистического переустройства и т. п. Этот коренной недостаток книги в соединении с предварительным профессиональным уменьем поэта заставляет сказать, что изд-во «Федерация», не слишком удачно ведущее работу по изданию современных стихов, лавров своих опубликованием «Уровня» не умножило.

*И. Поступальский.*

**А. Коптелов. — «Форпосты социализма».** Очерки. Изд. «Федерация». 1931 г. Стр. 176. Ц. 90 коп.

Очерки тов. Коптелова отличаются целеструенностью. Автор хочет, чтобы его книга была не архивным документом, он хочет, чтобы она носила оперативный характер.

В самом деле, разве богатства недр Алтая, которые заждались исследователей, или молодые творческие (литературно-художественные) силы Ойротии, или эпизоды классовой борьбы в деревне, или политической уровень школьников и женщин, — разве это и многое другое, о чем весьма конкретно (с цифрами и фамилиями) пишет А. Коптелов, не интересно и не может помочь борьбе за укрепление и создание новых и новых форпостов социализма?

Безусловно должно и может. Беда (вернее ошибка) автора заключается в том, что он не отобрал из уймы эпизодов и людей главное, наиболее характерное. Он записал как бы все подряд, не заботясь о том, чтобы записи были сконцентрированы, подчинены теме, чтобы в том или ином очерке (особенно это относится к «Золотым горам») тема была уточнена, сужена. Материал не организован, люди забываются. Думается, что такой подход к очерку ошибочен. Оперативность очерка заключается вовсе не в количестве цифр и фактов и не в дидактическом тоне, который слышится в «Форпостах». Количество описанных фактов, записанных цифр явно повлияло на качество книги. Впечатление создается такое: автор торо-

пится, ему некогда углублять тему, углубить рассмотрение того или иного вопроса. Факт записан, цифра — тоже, мораль (коротко) — тоже, — поезжай дальше.

Очерки тов. Коптелова, несмотря на ценность фактического материала, являются одним из образцов порочности метода, которым они написаны.

*Борис Гроссман.*

**Арагон. — «Краеный фронт».** Поэма. Перев. с франц. Семена Кирсанова. ГИХЛ. М.—Л. 1931. Стр. 16. Ц. 15 коп.

Осенью 1930 г., после раскола группы сюрреалистов, ее ядро (Арагон, Бретон, Элюар и др.) вступило в международное объединение революционных писателей. Литературной программой этих сюрреалистов продолжал быть мистический «второй манифест сюрреализма» А. Бретопа, и было ясно, что долго такое «сочетание» революционности с мистикой существовать не может. Действительно, произошло дальнейшее расслоение. Бретон и его единомышленники исключены из группы сюрреалистов и теперь довольно комично «сводят счеты» с... III интернационалом. Арагон же видимо окончательно отказался от мистической теории сюрреализма и, не удовлетворяясь больше одними революционными лозунгами, перешел к реконструкции своего творческого метода.

За поэму «Красный фронт» берешься с некоторым опасением: не поверхностна ли эта реконструкция? И сразу же замечаешь, что попытка серьезна. В «Красном фронте» нет ничего «истинно сюрреалистического». Вместо «пассивного отражения высшей реальности внутреннего мира» — активное отношение к внешнему миру. Революционный подъем на Западе, строительство социализма в СССР, пятилетка — вот темы темпераментной, мужественной поэмы, урбанистический стиль которой ближе к поэзии Сандра, чем к творчеству Арагона прежних лет.

Пою неистовую власть пролетария  
над буржуа,  
власть, ликвидирующую буржуазия,  
уничтожающую буржуев власти!  
Прекраснейший памятник, достой-  
ный площади лучшей,  
Самая волнующая из всех названных  
статуй,  
колонна наитончайшая и самая сме-  
лая,  
арка, сравнимая с дивной призмой  
дождя, —  
ничто  
перед великолепной хаотической гру-  
дой,  
которая рождается из динамита и  
церкви.

А нутка, попробуйте, что получите!

Арагон прежних лет — попутчик. Арагон «Красного фронта» — союзник. Несмотря на отдельные срывы, поэма — вклад в современную мировую революционную поэзию. Перевод С. Кирсанова хорош там, где переводчик не отступал от подлинника. Места

ми удачно динамизирован синтаксис (напр. в подлиннике: «чтобы убедить, попробуйте», в переводе: «а ну-тка, попробуйте, что получится!»). Иногда образ перевода сильнее того же места в подлиннике («когда ржавели от ужаса золотые салоны», у Арагона — «когда воцарился ужас...»). Но там, где Кирсанов пересказывает или «подправляет» подлинник, имеем вместо: «пролетариат, подготавливает день восстания» — «ждет, когда день придет».

Я. Фрид.

**Т. П. Пассек.**—«Из дальних лет». Воспоминания. Под общей редакцией А. В. Луначарского. Вступ. ст. и комментарии И. Я. Свистунова. Изд. «Academia». М.—Л. 1931. Стр. 460. Ц. 2 р. 90 к.

Воспоминания Пассека не принадлежат к числу шедевров нашей мемуарной литературы. Они громоздки, растянуты, не содержат в себе ни обильного фактического материала, ни ярких бытовых зарисовок. С этой точки зрения включение их в серию «Памятников литературного и общественного быта» вообще представляется нам безусловной ошибкой. Но если уж и можно было выпускать их, то во всяком случае в очень тщательной обработке, которая выдвинула бы на первый план то, что еще может быть признано в них сколько-нибудь интересным и ценным: ряд мелких, по большей части второстепенных и третьестепенных штрихов, рисующих житейскую обстановку герценовского круга, ряд незначительных бытовых и психологических подробностей из юношеской биографии самого Герцена. Под таким углом зрения воспоминания Пассека, пожалуй, еще и могут быть как-нибудь использованы, если не широким читателем, то по крайней мере читателем, специально интересующимся той эпохой.

К сожалению, редактор воспоминаний ни в какой мере не сумел учесть этой специфики обрабатываемого материала. Для него воспоминание — полновесный, документальный источник по истории русской общественной мысли сороковых годов. Эта в корне ошибочная установка предопределила полный провал всей работы, еще более усугубленный тем, что работа в целом обна-

руживает вообще полное неумение редактора сколько-нибудь грамотно обращаться с обрабатываемым текстом. Об этом достаточно красноречиво говорят все сокращения и урезки, проведенные им совершенно механически, без всякой заботы о том, как отразятся они на конструктивной цельности и законченности воспоминаний. Смелым росчерком пера из текста выброшены не только целые абзацы, не только отдельные фрагменты, по порою даже целые главы, содержание которых тут же приводится языком ученических изложений прочитанного. Вот например как выглядит глава одиннадцатая: «Отец Т. Пассек женился второй раз. Это вначале произвело на нее тяжелое впечатление, рассеяв ее под влиянием ее первого увлечения. Поверенным в этом полудетском романе был А. Герцен. После описания связанных с этим перипетий Пассек вспоминает королеву Николая I». Вот и все. Коротко, ясно, чего же вам еще нужно.

Если редакционная обработка текста воспоминаний стоит на самом низком качественном уровне, то комментарий носит уже вполне первобытный характер. Компетенции редактора хватает еще на то, чтобы с грехом пополам перевести встретившееся иностранное выражение или объяснить, что пиретрум — это персидский порошок. Но как только дело выходит за пределы этих, с позволения сказать, «реалий», он гибнет окончательно и бесповоротно. Вот в примере характеристика Растопчина: «главнокомандующий в Москве во время войны 1812 года. Ретроград, консерватор, ярый защитник крепостного права. Приобрел известность своим насилием над населением» (?!). Характеристики Руссо, Гегеля — образец упрощенства, граничащего с невежеством.

Не говорим уже о том, что план комментариев не продуман, что распределение пояснительного материала между подстрочными сносками и примечаниями, отнесенными в конец книги, непонятно, что наконец абсолютно неясна адресованность комментариев.

В общем выпуск этой книги — безусловная ошибка издательства.

И. Сергиевский.

# Содержание журнала „НОВЫЙ МИР“ за 1931 год<sup>1)</sup>

## РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ:

- Бабель И.** Гапа Гужва, из книги «Великая Криница». X—17.  
**Бабель И.** В подвале, из книги «История моей голубятни». X—22.  
**Буданцев Сергей.** Дом с выходом в мир. Рассказ. I—16.  
**Веселый Артем.** Россия, кровью умытая. Главы из романа. X—5. XI—9.  
**Виноградов А. К.** Повесть о братьях Тургеневых (главы) XII—5.  
**Воронский А.** Героические новеллы: 1. Из старых писем. 2. Бомбы. II—27.  
**Гроссман Леонид.** Апрельские бунтари. Главы из романа о Достоевском. XI—68.  
**Завадовский Леонид.** Мамка. Рассказ. VI—9.  
**Зарудин Ник.** Неизвестный камыш. Рассказ. I—96.  
**Левман С.** Торопливые рассказы. III—75.  
**Левман С.** Три рассказа. VI—66.  
**Левман С.** Закон жертвы. Рассказ. XII—48.  
**Лидин Вл.** Могила неизвестного солдата. Повесть. III—18.  
**Лидин Вл.** Дождь переходит в ливень. Повесть. VII—33.  
**Лидин Вл.** Зимний ветер. Повесть. VIII—5.  
**Малеев Иг.** Кукла Пантагрюэля. Рассказ. IV—78.  
**Никулин Л.** Записки спутника. Воспоминания. VII—80. VIII—53. IX—75. X—55.  
**Новиков-Прибой А.** Бегство. Повесть. IV—5. V—5.  
**Ракитников Ал.** Бык. Рассказ. XI—52.  
**Рудин Илья.** Точка опоры. Повесть. IX—5.  
**Рыкачев Як.** Величие и падение Андрея Полозова. Повесть без диалогов. V—27.  
**Ряховский Василий.** Чужой век. Рассказ. XII—29.  
**Сергеев-Ценский С.** Сказочное имя. Рассказ. V—91.  
**Смирнов Ник.** Зирка. Из книги «Человек и жена». IX—48.  
**Соколов-Микитов И.** Рассказы о походе «Седова». VI—39.  
**Соколов-Микитов И.** Море, люди, дни. (Из книги «Поход Седова»). IX—38. X—26. XI—20.  
**Соловьев Л.** Василий Сергееч. Рассказ. II—17.

- Спасский Сергей.** Новогодняя ночь. Повесть. VII—5.  
**Топстой Алексей.** Черное золото. Роман. I—5. II—42. III—64. IV—64. V—62. VI—53. VII—106. VIII—90. IX—63. X—91. XI—41. XII—71.  
**Финн Константин.** Ограина. Рассказ. XII—56.  
**Шагинян Мариэтта.** Гидроцеатраль. Роман. Часть вторая. II—5. III—5. IV—26.  
**Ширяев Петр.** Земля. Рассказ. VIII—45.  
**Яковлев Александр.** Повороты. Главы из романа. I—51. II—62. III—86. VI—22. VII—68.

## СТИХИ:

- Антокольский П.** Армия в пути. Куски поэмы. VII—65.  
**Багрицкий Э.** Автобус. V—26.  
**Борисов Дм.** Пятиконечная. V—103.  
**Браун Ник.** Трамвайный сосед. I—66.  
**Васильев Павел.** К портрету Р. IX—108.  
**Голодный Мих.** Путешествие в Сибирь. VII—104.  
**Голодный Мих.** Облава. X—52.  
**Голодный Мих.** Партизан Мельников. X—52.  
**Голодный Мих.** Партизан Грач и его адъютант Фрейман. X—53.  
**Голодный Мих.** Жеребец. X—53.  
**Железнов П.** На курорте. X—103.  
**Зенкевич М.** Машинная страда. Часть поэмы. VI—5.  
**Инбер Вера.** Яблочко. VI—80.  
**Инбер Вера.** Ядовитый газ. VI—81.  
**Корнилов Борис.** Качка на Каспийском море. II—54.  
**Короткий Максим.** Авария водопровода. II—24.  
**Луговской Вл.** На смерть химика С. II—83.  
**Луговской Вл.** Англия. XI—7.  
**Любин Вл.** Экспедиция. III—109.  
**Мандельштам О.** Армения. Двенадцать стихотворений. III—62.  
**Обрадович С.** Новый дом. IV—77.  
**Ойслендер Александр.** Сквозняк. X—104.  
**Опендер С.** Вечер. III—84.  
**Опендер С.** Вступление к поэме «Красная гвардия». X—89.  
**Опендер С.** Испанская песнь. XII—105.  
**Осин Д.** Ненависть. IV—93.  
**Павличенко Е.** Скрипка. VII—122.  
**Пастернак Борис.** Смерть поэта. I—117.  
**Пастернак Борис.** Лето. IV—63.

<sup>1)</sup> Содержание составлено в алфавитном порядке. Римские цифры обозначают номер книги, арабские — страницу.

- Пастернак Борис. Другу. IV—63.  
 Пастернак Борис. Новые стихи. VIII—40.  
 Пастернак Борис. Кавказские стихи. XII—54.  
 Приблудный Иван. Неотосланное письмо брату Максиму. I—67.  
 Прокофьев Александр. Авиатор. IX—62.  
 Прокофьев Александр. Определение профессии. IX—62.  
 Рождественский Всеволод. Вступление к Днепрострою. I—118.  
 Рождественский Всеволод. Дид Днипро. VII—64.  
 Рудерман Мих. Здесь паутиною—дремота. VIII—108.  
 Саянов Вис. Пролог к поэме. IV—25.  
 Саянов Вис. Лес «Рублевики». IX—35.  
 Саянов Вис. Царь Николашка. IX—36.  
 Саянов Вис. Отцы и дети. IX—36.  
 Сельвинский И. От Палестины до Биробиджана. III—42.  
 Сельвинский И. Баллада о барабанщике. XI—107.  
 Семьянин В. Краснозвездцы. III—110.  
 Сидоренко Н. Полустанок. IV—94.  
 Ситковский Арк. Шустрый дождь, сырое небо. VIII—80.  
 Ситковский Арк. Истина. XII—69.  
 Тарусский Ник. Турксиб. I—15.  
 Тарусский Ник. В могилу тех, кто не слышит гула миров. VI—38.  
 Тарусский Ник. Прочь, старость! VI—38.  
 Тарусский Ник. Разумный мир, не светопреставленье! X—90.  
 Тарусский Ник. За 20-й век! За мировое. XI—67.  
 Тарусский Ник. Я осенью болею. XI—67.  
 Тарловский М. Фергана. IX—109.  
 Ушаков Н. Украина глухо волновалась. V—78.  
 Ушаков Н. Земотдел в б. гостинице. V—79.  
 Штейнберг Аркадий. Взморье. II—25.
- ВОСПОМИНАНИЯ, ПИСЬМА, МАТЕРИАЛЫ:**  
 Аросев А. На боевых путях. I—80. II—84. III—45.  
 Ашукин Н. Наследство Некрасова. IV—188.  
 Вальден Н. А. В польском плену. V—80. VI—82.  
 Неизвестное письмо В. Ф. Вяземской о смерти Пушкина, с предисловием Н. Бельчикова. XII—188.  
 Письма Н. П. Огарева. Вступит. статья, редакция и примеч. Н. Мендельсона. V—170.  
 Салтыков-Щедрин М. Е. Незданный рассказ, с предисловием Н. Яковлева. VII—184.  
 Ульянов Н. Мои встречи. Л. Н. Толстой. XI—55.
- СТАТЬИ И ОЧЕРКИ:**  
 Аграновский А. Почему воют. I—135.  
 Адалис. Записки о казакских колхозах. VI—134.  
 Аксельрод-Ортодокс Л. Пролетарское искусство и классики. III—147.  
 Алексеев Глеб. Заметки о киргизской литературе. Национальный эпос. XII—181.  
 Алашин А. Вступившие, очерк. I—33.  
 Асеев Н. Работа Мезковского. IV—154.  
 Благий Д. Социология творчества Тютчева. VI—162.  
 Большаков К. Балахна, очерк. IV—95.  
 Борисов С. В горах Тянь-Шаня, очерк. XII—106.  
 Буданцев С. Балахна, очерк. IV—95.  
 Вильямс Альберт-Рис. Из наблюдений иностранца. VI—93.  
 Воробьев Петр. Парафин белый, очерк. XI—120.  
 Вульф Э. В еврейских колониях Крыма, очерк. II—120.  
 Гайдовский Г. Джизакский рейд, очерк. IX—135.  
 Гальперин С. По всему свету, очерки международной политики. I—191. III—181.  
 Гальперин С. Английский тушик. VI—188.  
 Гальперин С. SOS мирового капитализма. VII—188.  
 Гальперин С. Подвиги генерала Урибуру. IX—198.  
 Гальперин С. Рушащиеся устои, очерки международной политики. X—198.  
 Гальперин С. Под национальной этикеткой (после английских выборов). XI—202.  
 Гатуев Дзаох. Два перевала, очерк. IX—111.  
 Глаголев Арк. Заметки о журнальной беллетристике. II—138.  
 Глаголев Арк. О «Новой земле» Ф. Гладкова. III—166.  
 Глаголев Арк. О «Соти» Л. Леонова. V—162.  
 Глаголев Арк. Литературные заметки на тему об интеллигенции. VII—150.  
 Глаголев Арк. «Гидроцентральный» М. Шагиная. IX—158.  
 Глаголев Арк. О повести Митрофанова. XI—170.  
 Глинка Глеб. Преобразователи жизни, очерки. VI—103.  
 Гнедин Е. Революция в Испании. V—195.  
 Гнедин Е. Лето 1931. IX—185.  
 Гольцев В. Александр Блок, как литературный критик. I—163.  
 Григоров Г. Гегельянство В. Г. Белинского. XI—128.  
 Грюнер М. Очерки советского Приморья. XII—130.  
 Губер Борис. Неспящие, очерк. II—104.  
 Далин С. У тихих фиордов. II—176.  
 Данилин Ю. Столетие «Немезиды» VII—169.  
 Данилин Ю. «Красный человек», к столетию первого лионского восстания. XI—194.  
 Дерман А. Проблема живой речи в художественной литературе. V—144.  
 Жеребцов Б. Заметки о сибирской литературе. IV—170.  
 Замошкин Н. О смежных и касательных сторонах диалектико-материалистического метода в литературе. (Заметки). XI—175.  
 Зелинский К. Столетние люди, очерк. V—104.  
 Зелинский К. Колхозные страницы. VIII—81.  
 Зелинский К. Творческий путь Романа Роллана. XII—147.  
 Зенкевич М. О новинках английской и американской литературы. XII—163.  
 Зивельчинская Л. О плакате и его роли в социалистическом строительстве. IX—166.  
 Зингер М. Полярные люди, очерк. IV—114.  
 Ибрагим. Австро-германское соглашение и Европа. VI—197.

- Ивин А.** Борьба двух миров (к событиям в Китае). VIII—193.
- Изгоев Н.** Харбин. I—185.
- Изгоев Н.** На озере Ханка, очерк. VI—112.
- Ингулов С.** Советское в международном. VII—194.
- Калязин Н.** Из новой литературы о Толстом. I—181.
- Катаев Иван.** Тихий омут, очерк. III—111.
- Книпович Евг.** История одной дружбы. II—148.
- Козин В.** Деталь совхоза, очерк. VI—121.
- Крептюков Д.** От мышц к машине, очерк. VII—132.
- Ланн Евг.** Томас Гарди. I—173.
- Ланн Евг.** Из английской литературы. IX—173.
- Лебедев Вс.** Земля и коммуна, очерк. I—139.
- Лебедев Вс.** Санчихеза, очерк. VIII—152.
- Лежнев А.** В городе спичек, очерк. VII—141.
- Леонов Л.** Речь на дискуссии в ВССП. X—123.
- Локс К.** В лаборатории Достоевского. VIII—180.
- Локс К.** Книга о Стендале. XII—179.
- Ломов Г.** О генплане электрификации. VI—180.
- Лосев Вп.** Семь тысяч революционных очерков, письма из Шанхая. IV—196.
- Львов В. Е.** Разгадка положительного электричества и последние события в физике. IV—180.
- Львов В. Е.** Альберт Эйнштейн в союзе с религией. X—186.
- Львов В. Е.** Загадка электрона. XII—194.
- Малеев Игн.** Ковчег, очерки. XI—108.
- Мещеряков Н.** О социалистических городах СССР. VIII—161.
- Мугуев Хаджи-Мурат.** Ингушетия, очерки. V—126.
- Мур З.** Пацифисты. VI—174.
- Оксенов Инн.** Монстры и натуралии Юрия Тынянова. VIII—175.
- Оксенов Инн.** Пушкин и советская литература. X—165.
- Оксенов Инн.** О «Прологе» В. Каверина. XII—176.
- Павленко П.** Речь на дискуссии в ВССП. X—143.
- Парфенов П.** Бывшая Лупиловка. XII—141.
- Пиксанов Н.** На пути к гибели (Пушкин сто лет назад). VII—157.
- Пиксанов Н.** Как учился молодой Горький. IX—146.
- Пильняк Борис.** Очерки. III—132.
- Платонов Алексей.** Порыв, очерк. II—114.
- Подкопаев Н. А., проф.** Современное состояние учения о поведении с точки зрения основных рефлексов. III—175.
- Полонский Вяч.** Концы и начала, заметки о реконструктивном периоде советской литературы. I—119.
- Полонский Вяч.** Проблемы марксистского литературоведения. Статья первая: Сознание и творчество. IV—127. Статья вторая: Сознание и творчество. VI—140. Статья третья: Об интуиции. XI—141.
- Полонский Вяч.** Магнитострой, очерк. VIII—109.
- Полонский В.** Две речи на дискуссии в ВССП. X—128. X—147.
- Полонская Л.** Из еврейской литературы. III—170.
- Полякова М.** Социальная природа героев Достоевского. IV—145.
- Пришвин Михаил.** Зооферма, очерки. I—69.
- Радек Карк.** Брюнинг — паук у пулемета. VIII—189.
- Ракитников А.** Колхозники и поэт Тивья. очерк. IV—105.
- Рашковская Авг.** Литература молодой Германии. VIII—185.
- Рашковская Авг.** Без руля и без ветрил. новосты французского романа. IX—178.
- Риза-Заде Ф.** Проблема буржуазной интеллигенции и пролетарской революции в немецкой литературе. IV—175.
- Сейфуллина Л.** Речь на дискуссии в ВССП. X—125.
- Слетов П.** Япбнские концессии на Сахалине, очерк. VII—123.
- Слетов П.** Речь на дискуссии в ВССП. X—139.
- Смирнов-Кутаческий А.** «Чапаев» Фурманова и современность. II—171.
- Стонов Дм.** На сухонских предприятиях. очерк. I—154.
- Стонов Дм.** Верный путь, заметки. IX—126.
- Тайгин И.** Японские силуэты. III—190.
- Тан-Богораз В.** Учеба и ученость в Америке. II—191.
- Туров Вас.** Летуны, очерк. V—120.
- Успенская О.** Из воспоминаний о В. В. Маяковском. IV—166.
- Фибих Даниил.** Бой за мясо, очерк. X—111.
- Фрид Я.** Сюрреализм. II—158.
- Хвойник Игн.** Мещанские тенденции в оформлении советской массовой посуды. X—169.
- Чичерин А.** Люди нашего севера, очерк. XII—121.
- Чуковский К.** Бобровка на Саре, очерк. II—128.
- Юрезанский Владимир.** Комсомольская лава. очерк. X—105.
- Эгарт Марк.** Павла из Чулышманской долины, очерк. III—120.

## КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

- Анибал Б.** Время, дела и люди. Изд. «Федерация». 1930. Стр. 134. III—208.
- Я. Бучилов.**
- Арагон.** Красный фронт. Поэма. Перев. с франц. Семена Кирсанова. ГИХЛ. М.—Л. 1931. Стр. 16. Ц. 15 коп. XII—202.
- Я. Фрид.**
- Ашурин Н.** Литературная мозаика. Очерки—неизданные материалы. «Московское т-во писателей». 1931. Стр. 211. XI—208.
- К. Локс.**
- Бахметьев Вл.** Медленная стрела. Изд. «Недра». 1931. Стр. 335. VII—205.
- Арк. Глаголев.**
- Бонди С.** Новые страницы Пушкина. Стихи, проза, письма. Изд. «Мир». 1931. Стр. 208. V—207.
- И. Сергиевский.**

- Бытовой Семен.** Улица стачек. ГИХЛ. 1931. Стр. 64. VII—206. Инн. Оксенов.
- Винкильсон Эппен.** Схватки. Роман. Пер. с англ. Изд. Гиз. 1930. II—206. К. Локс.
- Вячеслав Павел.** Уровень. Первая книга стихов. Изд. «Федерация». М. 1931. Стр. 94. Ц. 1 р. XII—201. И. Поступальский.
- Галяу М.** Муть. Пер. с татарского. ГИХЛ. 1931. Стр. 238. XI—208. Борис Гроссман.
- Гезлоп Гарольд.** За бортом жизни. Пер. с рукописи Л. Слонимского. ГИХЛ. 1931. Стр. 230. VII—208. К. Локс.
- Гельц Макс.** От белого креста к Красному знамени. Пер. с нем. А. Ромм. Изд. «Зиф». 1930. Стр. 278. II—206. Я. Фрид.
- Гиппиус Андрей.** Записки главноуговаривающего 293 пехотного Ижорского полка. Изд. Гиз. 1930. Стр. 126. II—204. Борис Гроссман.
- Гитович Александр.** Мы входим в Пишпек. Стихи. ГИХЛ. Стр. 64. V—203. И. Поступальский.
- Гольдони Карло** — мемуары, содержащие историю его жизни и его театра. Том I, перевод и примеч. С. Мокульского. Изд. «Asademis». 1930. Стр. 585. I—206. П. Марков.
- Готопп Альберт.** Баркас ли Г. Ф. 13. Роман. Пер. с немецкого. ГИХЛ. 1931. Стр. 256. VIII—203. Инн. Оксенов.
- Гринеvский А.** Железо и хлеб. Изд. «Московское т-во писателей». 1931. Стр. 200. VIII—202. Борис Анибал.
- Иорте Давид.** Парад. Пер. с франц. ГИХЛ. 1931. Стр. 159. IV—208. Я. Фрид.
- Долгий А.** Кривая. Повесть. Изд. «Федерация». 1931. Стр. 182. II—201. Т. Николаева.
- Дроздов А.** Три колена. Изд. «Федерация». 1931. Стр. 216. V—204. Н. Виленская.
- Жид Андрэ.** Путешествие по Конго. Пер. с франц. Изд. «Федерация». 1931. Стр. 347. X—207. Я. Фрид.
- Записные книжки Ал. Блока.** Изд. «Прибой». 1930. Стр. 253. V—207. Вс. Малеев.
- «Земля и фабрика».** Альманах. № 11. ГИХЛ. 1931. Стр. 300. VIII—200. Ю. Добрaнов.
- «Земля советская».** Сборник. Изд. «Зиф». Стр. 61. I—201. Т. Николаева.
- Инбер Вера.** Чувство локтя. Изд. «Пролетарий». Стр. 169. I—204. Н. Виленская.
- Иринин Михаил.** Земля. ГИХЛ. 1930. Стр. 94. VII—206. Инн. Оксенов.
- Каменский Василий.** Путь энтузиаста. Изд. «Федерация». 1931. Стр. 270. VIII—201. Н. Тарасов.
- Клягин Константин.** Горбун. Повесть. Изд. «Федерация». 1930. Стр. 202. I—204. Борис Гроссман.
- Козин Владимир.** Солнце Лебаба. Очерки. Изд. «Зиф». 1930. Стр. 119. IV—205. Н. Матвеев.
- Колоколов Н.** Повелитель. Повесть. Изд. «Федерация». 1931. Стр. 168. V—204. Я. Бучилов.
- Колычев Осип.** Книга стихов. ГИХЛ. 1931. Стр. 94. X—207. И. Поступальский.
- Коптелов А.** Форпосты социализма. Очерки. Изд. «Федерация». 1931 г. Стр. 176. Ц. 90 коп. XII—202. Борис Гроссман.
- Копылова Л.** Первое стихотворение. Изд. «Пролетарий». 1930. Стр. 127. I—204. Н. Матвеев.
- Короленко В. Г.** Письма к П. С. Ивановской. Ред. и примеч. А. Б. Дермана. Изд-во политкаторжан. 1930. Стр. 280. VI—208. Н. Прянишников.
- Кофанов Павел.** Станицы в огне. Повесть. Изд. «Федерация». 1931. Стр. 141. III—207. Арк. Глаголев.
- Крыленко Н. В.** В неизведанные выси. Гиз. 1930. Стр. 235. IV—207. Виктор Гольцев.
- Кудашев Василий.** Кому светит солнце. «Московское т-во писателей». 1931. Стр. 262. IX—203. Т. Николаева.
- Кудрейко Анатолий.** Сердце мира. ГИХЛ. 1931. Стр. 64. IX—206. И. Поступальский.
- Лампель Петер-Мартин.** Черный рейхсвер. Роман. Пер. с немец. Изд. «Московский рабочий». 1930. Стр. 175. II—206. Я. Фрид.
- Ланн Евг.** Литературная мистификация. «ГИЗ». 1930. Стр. 224. V—206. Я. Фрид.
- Лапин Борис.** Набег на Гарм. Хроника. Изд. «Федерация». М. 1931 г. Стр. 104. Ц. 75 коп. XII—201. Н. Матвеев.
- Левин Б.** Жили два товарища. ГИХЛ. 1931. Стр. 175. IX—203. Т. Николаева.
- Лидин Вл.** Путина. Очерки. Изд. «Федерация». 1930. Стр. 79. VI—207. Д. Фибих.
- Лукицкий Павел.** Переход. ГИХЛ. 1931. Стр. 86. VII—206. Инн. Оксенов.
- Москвин Николай.** Гибель реального. Роман-хроника. ГИХЛ. Стр. 304. XI—206. Борис Анибал.
- Мышковская Л.** Работа Толстого над произведением. Создание «Хаджи-Мурата». Изд. «Федерация». 1931. Стр. 164. VIII—205. Н. Моисеев.
- Мэнн Жюль.** Сокровище града Китежа. Изд. «Коммуна писателей». Стр. 220. VIII—202. К. Локс.
- «Недра».** Литературно-художественные сборники. Книга двадцатая. Изд-во «Недра». 1931. Стр. 291. VII—204. Ю. Добрaнов.
- Никитин Михаил.** Второй гигант. Очерки. Изд. «Федерация». 1931. Стр. 129. IV—208. Борис Гроссман.
- Новиков Ив.** Город, море, деревня. Три повести. Изд. «Федерация». 1931. Стр. 352. IV—206. Т. Николаева.
- Новикова-Вашенцева Е.** Маринкина жизнь. Повесть. Изд. «Зиф». 1930. Стр. 286. II—204. Т. Николаева.
- Олунский П. А.** Красный шаман. Пер. с якутского. Изд. «Якутгосиздат». Стр. 55. VI—207. А. Смирнов-Кутаческий.
- Остроумов Лев.** Фабрики разговоров. Роман. Изд. «Федерация». 1931. Стр. 250. VI—206. Т. Николаева.
- Оськин Д.** Записки прапорщика. Изд. «Федерация». 1931. Стр. 350. VI—206. Борис Анибал.
- Панч Петро.** Без козыря. Повести. Авториз. перевод с укр. В. Юрезаянского. Изд. Гиз. 1930. Стр. 213. II—205. Борис Анибал.
- Пассек Т. П.** Из дальних лет. Воспоминания. Под общей редакцией А. В. Луначарского.

- Вступ. ст. и комментарии И. Я. Свистунова. Изд. «Academia». М.—Л. 1931. Стр. 460. Ц. 2 р. 90 к. XII—203. И. Сергиевский.
- Пильчевский А.** Голубая искра. Изд. «Коммуна писателей». 1930. Стр. 295. I—205. Арк. Глаголев.
- Писатели — ударникам.** Сборник. Изд. «Федерация». Стр. 115. I—201. Т. Николаева.
- Платонов Алексей.** Макар—карающая рука. Повести и рассказы. Изд. «Федерация». 1930. Стр. 174. I—205. Борис Гроссман.
- Пливье Теодор.** Кули кайзера. Роман. Пер. с немец. ГИХЛ. 1931. Стр. 327. VIII—204. З. Мур.
- Пол и мужики.** Русские народные сказки. Под ред. Ю. М. Соколова. Изд. «Academia». 1931. Стр. 212. VIII—206. Н. Прянишников.
- Пушков Валерий.** Весна трех. Изд. «Московское т-во писателей». 1931. Стр. 172. VIII—202. Дм. Гельман.
- Рихтер Зинаида.** У белого пятна. Изд. «Федерация». 1931. Стр. 240. V—205. Макс Зингер.
- Рудин Илья.** Галаган. «Московское т-во писателей». 1931. Стр. 193. IX—204. Дм. Гельман.
- Рудин Илья.** Дикое. Изд. «Федерация». 1931. Стр. 264. IX—204. Дм. Гельман.
- Ряховский Василий.** С гор потоки. Роман. Изд. «Федерация». 1930. Стр. 252. II—202. Борис Гроссман.
- Савин Лев.** Юшка. Роман. 1930. Стр. 243. V—203. Борис Анибал.
- Савин Лев.** Юшка в тылу. Роман. ГИХЛ. 1931. Стр. 248. V—203. Борис Анибал.
- Смирнов В. Гарь.** Роман. Изд. «Московский рабочий». 1930. Стр. 240. I—202. Арк. Глаголев.
- Соколов-Страхов К.** В горных долинах Афганистана. Изд. «Московское т-во писателей». 1930. Стр. 78. V—205. Н. Константинов.
- Сологуб В. А.** Воспоминания. Ред. С. Шестерикова. Изд. «Academia». 1931. Стр. 654. IX—208. И. Сергиевский.
- Спасский Сергей.** Особые приметы. Стихи. «Изд-во писателей в Ленинграде». 1930. Стр. 80. VII—207. И. Поступальский.
- Ставский В.** Разбег. ГИХЛ. 1931. Стр. 239. X—206. Я. Бучилов.
- Телешов Н.** Литературные воспоминания. «Московское т-во писателей». 1931. Стр. 170. X—208. Н. Седов.
- Тихонов Н.** Анофелес. Рис. В. Конашевича. «Изд-во писателей в Ленинграде». 1930. Стр. 142. III—207. Н. Матвеев.
- Тихонов Н.** Кочевники. Изд. «Федерация». 1931. Стр. 208. IV—205. Н. Матвеев.
- Толстой Л. Н. и Ге Н. Н.** Переписка. Статьи и примеч. С. Яремича. Изд. «Academia». 1930. Стр. 218. II—207. К. Локс.
- Тотоенц Ваан.** Жизнь на древнеримской дороге. Перевод Н. К. ГИХЛ. 1931. Стр. 110. IX—207. К. Локс.
- Третьяков Сергей.** Месяц в деревне. Изд. «Федерация». 1931. Стр. 256. IX—205. Арк. Глаголев.
- Турек Людвиг.** Пролетарий рассказывает. Пер. с немецкого. ОГИЗ. 1931. Стр. 344. VII—208. З. Мур.
- Уксусов Иван.** Двадцатый век. Роман. Книга 1-я. Изд. «Прибой». 1930. Стр. 208. II—201. Арк. Глаголев.
- Фефер И.** Сборник стихов. ГИХЛ. 1931. Стр. 108. IX—206. К. Локс.
- Фиш Геннадий.** Дело за мной. Стихи. ГИХЛ. 1931. Стр. 72. VI—205. И. Поступальский.
- Форш Ольга.** Сумасшедший корабль. «Изд-во писателей в Ленинграде». 1931. Стр. 187. XI—206. Ю. Добранов.
- Цыкунов В. и Чертова Н.** Огненная земля. Изд. «Федерация». 1931. Стр. 235. X—206. Борис Анибал.
- Цявловский М. А.** Книга воспоминаний о Пушкине. Изд. «Мир». 1931. Стр. 383. IX—207. Гроссман.
- Чаган З.** Еще раз рожденные. Очерки. Изд. ГИХЛ. 1931. Стр. 119. III—208. Борис Гроссман.
- Чистяков А.** Боковой ход. Роман. ГИХЛ. 1931. Стр. 296. X—205. Т. Николаева.
- Шарев Адам.** Без отчества. Пер. с немец. Изд. «Московский рабочий». 1930. Стр. 228. I—206. Я. Фрид.
- Ширяев Петр.** Внук Тальони. Роман. Изд. «Зиф». 1930. Стр. 221. I—203. Н. Седов.
- Шухов Иван.** Горькая линия. Роман. Книга 1-я. Изд. «Федерация». 1931. Стр. 268. VIII—201. Арк. Глаголев.
- Юргин Н.** Перпендикуляр. «Изд-во писателей в Ленинграде». 1931. Стр. 162. XI—207. Я. Бучилов.
- Юрезанский Вл.** Алмазная свита. Роман. Изд. «Пролетарий». 1931. II—203. Н. Седов.
- Юрин Сергей.** По исхоженной тропе. Очерки. Изд. «Федерация». 1931. Стр. 124. IV—207. Д. Фибих.
- Экслер И.** Гренландские гости. ГИХЛ. 1931. Стр. 120. VIII—203. И. Шорин.
- Списки книг, поступивших на отзыв.** I—208. II—208. VIII—208.